Владимир Солоухин Олепинские пруды

Владимир Солоухин

Олепинские пруды

Владимир Солоухин

Олепинские пруды




НОВИНКИ·СОВРЕМЕННИКА·

Владимир Солоухин

Олепинские пруды

«Современник» Москва. 1973

Р2
С60

Солоухин Владимир Алексеевич

С60 Олепинские пруды. Рассказы. М., «Современник», 1973.

352 стр.

Лиричностью, реалистическим рисунком письма отмечены рассказы Владимира Солоухина, вошедшие в этот сборник. Герои рассказов — люди искренние и добрые, непримиримые к любой фальши и несправедливости. Жизнь автор знает глубоко, потому так живы и колоритны образы людей, созданные писателем. Присущая автору неторопливая манера рассказа позволяет ему обстоятельно, ненавязчиво раскрывать характеры, изображать типичные приметы современной жизни.

С $\frac{0732-100}{106(03)-73}$ 17-72 **Р2**

I

Золотое зерно



Три белоснежных хризантемы

Ни здесь в Париже, ни потом в Москве, никто не мог объяснить мне, почему Шаляпин похоронен на кладбище Батиньоль. Большинство людей, спрашиваемых мной, вообще не знали, на каком он покоится кладбище. Называли наугад либо Сент-Женевьев де Буа, либо уж Пер-Лашез.

И правда, оба кладбища были бы понятнее и объяснимее в рассуждении могилы Шаляпина, нежели это самое Батиньоль.

Сент-Женевьев де Буа (Cainte-Genevieve des Bois) — некрополь русской парижской эмиграции. В небольшом, красивом, лесопарковом местечке Сент-Женевьев, к югу от Парижа (у нас это могли бы быть Салтыковка, Переделкино, Малаховка, Перхушково, Абрамцево, Голицыно...) княгиня Мещерская приобрела замок и устроила там своеобразный пансион, который назывался «Русским домом». Занимались в этом пансионе, по выражению князя Александра Львовича Казым-бека, полировкой светских девиц. Не только русских. Среди клиенток попадались дочки миллионеров. Заведение процветало. Тем не менее (не знаю в результате какой эволюции), в замке оказываются уже не молодые девицы, а, напротив. престарелые эмигранты, инвалиды, человек двести—триста. Нечто вроде богадельни высшего типа. Старички начали умирать. Их начали хоронить на местном кладбище. Сент-женевьевский муниципалитет (горсовет — по выражению Александра Львовича Казым-бека) понял, что тут таятся большие материальные перспективы. Отведена земля. Кладбище стилизуется: березки, белая сирень, белая церковка, построенная одним из Бенуа, похожая

на Покров на Нерли. Уголок России по виду (поскольку стилизован) еще более русский, чем любое российское кладбище. Светятся березки, осыпается на тихие дорожки золотая листва. В оформлении и содержании могил русское благолепие соединилось с западной образцовостью. В перекрестии могильных крестов и в нишах памятников теплятся негасимые лампады, мерцают эмалевые иконки. Тишина. На безлюдных аллеях редкие прохожие, например старички в черном. Могилы, могилы, могилы. Фамилии на надгробных плитах все больше знакомые. Оболенские, Волконские, Шуваловы, Шереметьевы, Меньшиковы, Воронцовы, Мещерские, Мусины, Гончаровы, Толстые, Потемкины, Сперанские, Трубецкие, Муравьевы, Щербатовы, Пестели, Одоевские, Олсуфьевы, Васильчиковы, Шуйские, Оленины, Арсеньевы, Кутузовы, Салтыковы, Раевские, Ермоловы, Борятинские... Сотни других фамилий, которые могут показаться еще знакомее только что перечисленных. Фамилии знакомы не потому, что мы лично знали людей с такими фамилиями, но потому, что каждая из них что-нибудь нам напоминает. Там строки ломоносовского послания: «Не правы те, Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов», там державинский возглас: «Куда, Мещерский, ты сокрылся?», там лермонтовское стихотворение «На светские цели, на блеск утомительный бала» (Щербатовой). Одоевский — друг Лермонтова, Раевский — герой Отечественной войны, Борятинский — пленитель Шамиля... вспоминаешь то о роли Шуйских во время великой смуты, то пушкинскую лирику («но сам признайся, то ли дело глаза Олениной моей»), то вдруг — белогвардейские генералы (ну, скажем, Деникин), потом, отдельно, как бы сохраняя воинский строй, белогвардейцы-алексеевцы, корниловцы, эмблемы на могильных плитах (череп и две кости), скорее перейдешь к могилам художников (Коровин, Сомов), поникнешь головой около каменного остзейского креста над прахом Ивана Алексеевича Бунина.

Могилы, могилы, могилы среди белых березок. Каждую неделю прибывает 6—7 свежих могил. Каждый день в стилизованной русской церковке звучат панихиды. Эмиграция вымирает. Постепенно умрут все русские люди, живущие в Париже, молодежь переменится, растворится в прекрасной Франции. Будут ли и тогда гореть негасимые лампады над могилами в Сент-Женевьев де Буа?

Итак, на русском кладбище Шаляпина нет. Не захотел. Мотивы такого решения никому не известны, о них можно только гадать. Но остается еще знаменитое кладбище Пер-Лашез, достопримечательность Парижа наряду с Эйфелевой башней, собором Парижской богоматери, Елисейскими полями, Лувром, Пантеоном, Монмартром, самой Сеной и многими еще достопримечательностями такого же ранга. Пер-Лашез!

И хотя предприимчивый трактирщик через улицу, против входа на это кладбище, начертал на своем заведении, завлекая туристов: «У меня лучше, чем напротив», все же, если уж лежать в земле знаменитому человеку, то, казалось бы, лежать ему надо на Пер-Лашез. Великие писатели и поэты, художники и музыканты, великие лицедеи и политики — все лежат там.

Тут уж нет той благоговейной тишины, которая окружает могилу Бунина. Разноплеменные, разноязыкие туристы толпами валят и валят, протискиваются, толкаются, глазеют, текут говорливыми потоками мимо замшелых каменных надгробий, либо подернутых зеленой патиной бронзовых монументов.

Федора Ивановича Шаляпина среди знаменитостей и звезд Пер-Лашеза нет. А ведь сколько бы людей остановилось и вздохнуло, сколько цветочков было бы положено к мраморной черной плите. Да, но походя, мимоходом, по пути от Дюма к Бальзаку и от Мопассана к Эдит Пиаф. «Смотрите, Шаляпин! А я и не знала, что он тоже на Пер-Лашез!»

Нет уж, если теперь кто-нибудь придет к Шаляпину на могилу, то придет только к нему.

Я решил поехать к Шаляпину на кладбище Батиньоль. Парижское метро, хоть и неказисто на вид, замечательно тем, что пронизывает всю землю под Парижем, как паутина. Остановки короткие, как у Московского троллейбуса. Спустившись под землю в любой точке Парижа, можно попасть в любую другую точку.

Покинув наземный Париж на бульваре Сен-Жермен, невдалеке от того места, где на него выходит рю дю Бак, я вынырнул на поверхность на северной, трудовой окраине французской столицы.

Вместо оживленной и как бы праздной толпы, вместо бесчисленных кафе и устричных корзин перед ними, вместо ярких машин — белых, красных, серых, вишневых,

оранжевых, черных, голубых, изумрудных, перламутровых, кремовых, шоколадных — коловращающихся по тесным для них каменным кровеносным сосудам города и образующих на каждом перекрестке тромбы, называемые в городском обиходе пробками, вместо громких транзисторов, сливающихся с клаксонами автомобилей и с гулом прохожей толпы, создающих впечатление, что вся эта парижская толпа не просто движется по Парижу, но танцует фантастический беспрерывный танец, вместо пестрых газетных и табачных лотков, вместо разнообразных витрин — ярчайшая зелень, ярчайшие рыбы, ярчайшее мясо, ярчайшие платья, ярчайшие драгоценности, ярчайшая обувь, ярчайшие меха, ярчайший старинный фарфор — вместо всех этих фронтонов, порталов, атлантов, кариатид, капителей, фонарей, куполов, башенок, разновековых завитушек на фасадах зданий, я увидел вокруг себя прямоугольные, казенные, серые и черные громады домов, закоптелые вплоть до стекол, от одного вида которых просыпается около сердца противная холодная пиявка. Отвратительно шевельнувшись, она прилипает своим присоском к сердечной стенке и, не делая больно, но делая тоскливо, неуютно и зябко, начинает сосать.

В руке у меня были три белоснежных хризантемы, купленные еще в разноцветном центре Парижа.

Я думал так: времени у меня много, буду бродить один по французскому кладбищу, пока не набреду на великую русскую могилу. В том, что я на нее набреду, сомнений не было. Во-первых, она чем-нибудь выделяется. Во-вторых, спрошу у людей — каждый знает. Да и не было у меня как будто другого выхода. Если бы я пригласил в этот «поход» кого-нибудь из парижских знакомых, мы плутали бы по кладбищу вдвоем и, может быть, нашли бы могилу быстрее, но мне хотелось прийти к ней одному, совсем одному.

Много мне приходилось видеть разных кладбищ. На некоторых бываешь по необходимости, хороня собратьев по перу, родственников, друзей. На иные заходишь ради любопытства, ради туристского интереса: замечательные памятники, известные люди, черты эпохи, традиций, религиозных представлений.

Наше деревенское кладбище — сосновый лесок над песчаной кручей, огороженный пряслом в две жерди, изобилующий летом перезрелой земляникой, которую никто

по понятным причинам не собирает. Пошли теперь в ход сварные оградки и сварные из узких железных полос кресты, окрашенные в серебряную, в голубую, в зеленую краску. В кустах кое-где валяются банки из-под краски, износившаяся масляная кисть, водочные бутылки. Тишина нарушаемая посвистыванием синичек, трава выше колен, прополотая внутри оградок.

Иногда из окна выгона, около поселка уже перерастающего в город, на отшибе, на голом месте успеешь вглядеться во многое множество фанерных пирамидок тоже то голубых, то серебряных, то под бронзу.

Магометанские кладбища, похожие на покинутые людьми города, куполообразные мавзолеи над могилами. Плоские камни, осененные полумесяцами, испещренные арабскими письменами. Сверх того на камне высечено иногда изображение предмета, говорящее о бывшей земной профессии правоверного: расческа или ножницы, если брадобрей, кинжал иль винтовка, если воин. На одном камне я видел сразу три предмета: кувшин, очки и клюшку. Мне пояснили: кувшин — символ чистоты, опрятности, благочестия; очки говорят о том, что покойный был начитан и мудр, хорошо знал Коран; клюшка свидетельствует о преклонном возрасте. Итак, из трех предметов вырастает цельный и законченный образ человека, тремя предметами, без слов, сказано все главное о нем.

Около местечка Ружаны в Белоруссии, выйдя во время прогулки из молодого соснового леса, я увидел необыкновенное зрелище. Ровное поле поросло суховатой, степной, а еще вернее, седой травкой. Из земли торчало множество небольших, заостренных кверху камней. Восточная вязь на них. Видно, что место давно оставлено людьми, либо переселившимися, либо вымершими. Получалось впечатление встречи с иной, неизвестной цивилизацией. Ни заборов, ни цветов, ни тропинок. Заостренные камни, ровная сухая земля, седоватая травка.

Перенаселенные, дефицитные, уплотненные кладбища Москвы. Малогабаритные могилы — бочком кое-как протиснуть гроб в глубину ямы, где устроено для него экономное нишеобразное расширение.

Беломраморные и черномраморные, похожие больше на выставки надгробий, музейной чистоты кладбища, скажем, Вены, Мюнхена, Ниццы. Много их, кладбищ на

земле. И вот еще одно — Батиньоль, которое мне предстоит сейчас увидеть.

Меня поразила геометрическая четкость его планировки. Могилы образуют каре, прямоугольники по сорок — допустим — черных мраморных плит в каждом каре. Каре называются эскадронами. Эскадроны пронумерованы, как и каждая могила внутри эскадрона. Только по номеру и можно отыскать нужную тебе могилу.

Сначала я шел не торопясь, и безмолвные эскадроны проплывали мимо меня справа и слева, однообразные, четкие, не нарушая своего безупречного строя. Мои азы во французском языке пе позволяли бегло, на ходу схватывать глазами надгробные надписи. Надо было останавливаться и вчитываться. Через четверть часа я понял, что тут проходишь и день и два и не найдешь могилы Шаляпина. Разве что последовательно, с первого до последнего обойти по рядам все эскадроны, которых хватило бы на целую армию Наполеона Бонапарта.

Посетителей в этот час (дело шло к шести вечера) на кладбище Батиньоль уже не было. Одинокая пожилая женщина попалась мне навстречу. Она шла к выходу и, как показалось мне, очень спешила.

— Shalaipine? Le grand Russe? Je ne sais pas...— и она пожала плечами.— Не думаете ли вы (по-французски, конечно), что он покоится на Пер-Лашез?

— Нет, я не думаю, я точно знаю, что он лежит здесь.

Француженка еще раз пожала плечами и еще больше заторопилась к выходу. Дело мое казалось безнадежным. Конечно, будь здесь живая толпа, столь же многочисленная и необъятная, и находись в этой толпе живой Шаляпин, и бурли и коловращайся эта толпа, словно нижегородская ярмарка, насколько легче было бы увидеть в ней Шаляпина, нежели теперь отыскать его среди неподвижных и черных плит. Вероятно, он сразу бросился бы в глаза, широкий, огромный, яркий, ни на кого не похожий, единственный среди всех людей — Шаляпин. Но одинаковы черные плиты, и на чужом языке сделаны скорбные надписи на них, и день склоняется к вечеру, и надо мне искать теперь не могилу, а кладбищенскую контору.

Француз, похожий на кинокомика Бурвиля, выслушал меня, и его лицо приняло озабоченное выражение.

— Est ce passible, que monsieur ne sait pas... Господин, возможно, не знает, что наше кладбище закрывается

ровно в шесть часов. Сейчас без четверти. Успеет ли господин? Разумеется, я дам гида, может быть, господин успеет...

Молодой человек, в свою очередь, похожий на кого-то из французских киноактеров, вышел ко мне из другой комнаты. Не откладывая дела, я протянул ему десять франков, он сказал «о!» и посмотрел на ручные часы.

— Остается двенадцать минут. Пять минут туда, пять минут обратно, две минуты... Может ли господин бегом?

Да, рисовало, рисовало еще сегодня утром мое воображение эту встречу двух русских людей. Раздумчивое брожение по печальным скорбным дорожкам. Найти, положить хризантемы. Постоять. Прислушаться к набегающим мыслям и чувствам, к их неизбежной последовательной цепочке. А направление цепочки будет зависеть от изначального толчка. А толчок будет необыкновенный, редчайший — могила Шаляпина. В Париже! Посидеть, пока не стемнеет. Уйти, унося устоявшуюся за эти часы печаль, мысли, ставшие более четкими, чувства, ставшие более определенными.

— Умеет ли господин бегать бегом?

— Умеет, умеет.

Мы побежали сначала легкой трусцой, еще словно смущаясь бега, еще пробуя собственную резвость. У гида была сложная задача, обусловленная его французской деликатностью, самой должностью кладбищенского гида и, кроме того, десятифранковой бумажкой, которую я ему заранее дал. Бежать не слишком быстро, чтобы не утомить господина, и все-таки бежать, чтобы успеть к закрытию кладбища.

Эскадроны мчались мимо нас на рысях. Мы поворачивали под прямым углом, и навстречу нам бросались новые, доселе неподвижные эскадроны. Мы дышали тяжело, как, бывало, во время хорошего кросса. Внезапно ведущий остановился. Я оглянулся в растерянности, не видя ничего выдающегося или хотя бы заметного. Вокруг лежали все такие же эскадроны и эскадроны. Но я скользнул взглядом по короткой нисходящей прямой — от полуопущенных глаз гида до черной плиты — и увидел надпись: «Le grand fils de la terre russe...» — «Великий сын земли русской...»

Понял, что я нашел то, что мне было нужно, гид отошел на три шага и повернулся к нам (ко мне и к могиле)

спиной. Он смущенно сложил руки на животе и опустил голову. Он стоял в такой позе, не поворачивая головы, ровно две минуты, как и было условлено. Он не оборачивался, понимая, что если человек пришел к могиле, то ему нужно побыть с ней наедине. И мало ли? Бывает ведь наверно, в кладбищенской практике, когда опускаются на колени, кланяются земными поклонами или даже падают на землю плашмя, прижимаясь щекой к холодному мрамору и гладя его руками.

Сгущались сумерки. Они размывали графику трех белоснежных цветков на черной, как полированный каменный уголь, плите.

По истечении двух минут проводник встрепенулся, и мы в том же ровном, но энергичном темпе побежали к выходу с кладбища.

Иногда спрашивают у меня, когда расскажешь этот полупечальный, полу... Нет, все-таки просто печальный эпизод: неужели, держа в уме побывать на могиле Шаляпина, я не отвез ему горстку русской земли в целлофановом мешочке и в чистой белой тряпочке?

— А что ему горстка? — отвечу я.— Вся русская земля принадлежит ему, так же как и он принадлежит ей. Возможно, состоится когда-нибудь торжественно-скорбная церемония, еще одно, последнее путешествие. Между прочим, кладбище Батиньоль,— в рассуждении этой будущей церемонии, облегчает задачу высоких договаривающихся сторон, по сравнению с кладбищем Пер-Лашез и даже с Сент-Женевьев де Буа.

Золотое зерно

Время течет и вымывает из памяти сначала более легкие впечатления, а потом добирается до основных и тяжелых. Согласен, что самое тяжелое останется на дне и, может быть, даже не шелохнется, но хорошо, когда оно предстает постороннему глазу в оправе сопутствующих ему в действительной жизни впечатлений. Лучше цельный и стройный колос (хотя он наполовину мякина), чем просто горстка земли. Есть у меня в памяти между прочих такой колос и одно из зерен в нем — золотое.

Я согласился участвовать тогда в десятидневной, как раньше бы сказали, благотворительной поездке и вылетел в Новгород, откуда эта поездка должна была начаться. Предстояло выступить с чтением стихов в нескольких концертах, сбор от которых — отчисление в какой-то там фонд. Мира? Очередного молодежного фестиваля? Охраны памятников? Понятнее было бы в последнем случае, почему концерты начинались в древнем Новгороде и каким образом организатору удалось «заполучить» для участия в концертах великого русского певца с точнейшим и чистейшим лирическим тенором.

Многие, тотчас догадавшись, о ком идет речь, опротестуют титул, самовольно данный мной певцу, но, думается, что я прав.

После Собинова, о котором мы уже не стесняемся говорить «великий», у нас два тенора выходят из ряда вон так решительно и далеко, что другие, тоже замечательные теноры остаются все же внизу и сзади. Если время в течение ближайших лет не произведет какого-нибудь уникума, который затмит все и вся, то эти певцы — Лемешев и Козловский — так и будут представляться

пам сереброголовыми великаньими вершинами в ряду пусть и высоких, но не достигающих все же оледенелой, незыблемой славы гор.

Проезжая от аэродрома к гостинице, я увидел, что Новгород пестрит афишами, на которых крупными красными буквами написана фамилия знаменитого певца. Ниже, в два столбца, меленько обозначены остальные участники благотворительных, шефских, как теперь говорится, концертов.

Это афишное распределение невольно получалось и в жизни: в гостинице, на улицах города, если мы все выходили на прогулку, в ресторане, где мы обедали, при осмотре древностей, когда экскурсовод рассказывала нам о Спас-Нередице, о Николе на Липне, о Федоре Стратилате на Ручью.

Сколько бы ни было нас, хоть двадцать человек, все равно прохожие на другой стороне улицы останавливались ради одного человека, и доносился до нас их восторженный с придыханием шепот: «Козловский, Козловский, Козловский...»

Работники обкома и облисполкома не ради нас все время обретались в гостинице и гостиничном ресторане; черный обкомовский «ЗИМ» не ради нас дежурил около подъезда; лучшие экскурсоводы не ради нас вызывались на работу в неурочное время; повар не ради нас вытворял чудеса, в том числе и такое, ежедневное, можно сказать, дежурное в те дни чудо, как судак, начиненный грибами.

Если бы рядом с Козловским ездил другой певец, приблизительно того же ранга, заслуг и такой популярности, а все кричали бы «Козловский, Козловский, Козловский!..», другому певцу, вероятно, было бы обидно, его самолюбие уязвлялось бы на каждом шагу.

Но мы ощущали себя как свита короля или патриарха, когда не надо даже и думать, почему все восторженные взгляды обращены не на тебя, а на другого человека. Именно потому, что он король, патриарх.

Итак, мы несли бремя его славы легко, грелись в ее лучах и даже веселились, находя для этого разные поводы. В первый же день мы получили прекрасный повод для шутки, которая сопровождала нас потом во все время поездки. Репортер местной газеты, улучив момент, подошел к другому певцу из нашей бригады (его фамилия была Вильнис) и спросил:

— Семен Иванович, нельзя ли у вас взять интервью?

Трудно даже сказать, которая из двух одновременных ошибок репортера потешила нас больше: та ли, что он принял Вильниса за Козловского, та ли, что он назвал его Семеном Ивановичем вместо Ивана Семеновича. Но с этого часа мы уже не называли за глаза предводителя нашей группы иначе, как Семеном Ивановичем.

— Семен Иванович еще не обедал?

— Надо бы зайти за Семеном Ивановичем.

— Семен Иванович сказал, что с нами он не поедет.

Мне было легче других еще и потому, что с самого начала я понял одну простую вещь. Только вот как ее пояснее выразить? Скажем так. Мы нервничаем у телефонной будки, если «тип», занявший ее, говорит лишние десять минут, но мы не дергаем и никого не ругаем, если междугородный разговор нам дают через час. Мы не мечемся и не пишем жалоб, если вылет самолета по метеорологическим условиям задерживается на полдня. Мы тем более не злимся на то, что после лета не сразу наступает зима, но бывает еще и дождливая осень. Если поискать, можно найти и более абсолютные примеры неизбежных, данных, не зависящих от нас обстоятельств, которые так и надо принимать со всей их заведомой неизбежностью.

Когда машины стояли уже около тротуара на солнцепеке и все уже сначала уселись в машины, но потом вышли из них в нетерпении, и стоят, и глядят на окна предполагаемых гостиничных комнат, когда отъезд назначен на 9.30, а на часах дело продвигалось уже к 11, когда все кипели и шипели, исторгая вместе с проклятьями слово о «неуважении к коллективу», я оставался спокойным и ждал появления «метра» не более нетерпеливо, нежели ждал бы в жаркое лето дождя, который радует, если он наконец пошел, но все же не пьешь валерьянку, если на небе пока ни облачка.

Кроме того — случай необыкновенный. Человеку достался от бога удивительный тончайший музыкальный инструмент, драгоценность такого порядка, когда она не может уже быть принадлежностью одного человека, то есть достояние всех — общенародное, общечеловеческое достояние. Однако казус состоит в том, что по-будничному, по-повседневному, драгоценность эта находится все же в распоряжении одного человека, и он волен распорядиться ей как захочет. Он может ее пропить, испортить

(для этого достаточно попеть на морозе или хватить ледяного пива), унести от людей в преждевременную могилу путем беспорядочного образа жизни.

Но человек правильно понял свою задачу носителя и хранителя редкой, а точнее, единственной в своем роде драгоценности. Он смолоду образовал свой голос, поставил его, настроил свой музыкальный инструмент. Он обогатил природный дар воспитанием в себе прекрасного музыкального вкуса и приобретением большой музыкальной культуры. Наконец он понял, что все — и жест, и манеры, и внешний вид, и поведение в человеческом общежитии,— все это тоже есть лишь прикладное к единственному и главному и может быть либо оправой, еще больше украшающей редкий алмаз, либо мусором и грязью, мешающими видеть его во всей чистоте и блеске.

Я вижу талантливого поэта (тогда ему не было еще пятидесяти, а теперь его давно нет в живых), который в восемь утра дрожащими руками наливал себе полный стакан водки и выпивал его натощак, и сознание туманилось, а душа (инструмент, данный ему) становилась пустынной и липкой, а мозг (инструмент, данный ему) превращался в мыло самого низкого качества.

Я вижу другого талантливого поэта, пятидесятилетнего тогда (а сейчас он в могиле), уснувшего на стуле в приемной главного редактора «Литературной газеты». И как секретарша, краснея от стыда (за поэта), застегивала ему (ходят люди, а он все-таки живой классик) пуговицы на брючной прорехе.

Я вижу превосходного драматического актера, которому играть бы еще да играть, а он не может зашнуровать ботинок, потому что нагнуться мешает безответственно раскормленный живот.

Я вижу талантливых молодых ребят: Володю Морозова, Диму Блынского, Ваню Харабарова, Колю Анциферова, которые все теперь лежат в земле сырой единственно потому, что не поняли вовремя своей роли носителей редкого дара, находящегося по некоторой случайности в их распоряжении, но являвшегося не только их достоянием.

— Подожди, подожди! — скажут со всех сторон.— Уж будто?.. Уж мы-то знаем... вспомни...

Я и сам знаю, что я не ангел. Но тем более могу ли я не уважать восторженным уважением семидесятилетнего,

седовласого человека, содержащего свой музыкальный инструмент, свой дар в полной сохранности, в прекрасном состоянии, во всегдашней готовности, в безукоризненном порядке?

Мы должны ехать осматривать древности Новгорода и окрестностей. Да, суетливо мы собрались ровно в девять. Хотя все равно некоторые «тянулись» и присоединялись к нам с опозданием, но с каким-то суетливым опозданием. Мы одеты все кое-как (не концерт же сейчас!), мы нервничаем и ругаем семидесятилетнего старика за то, что он опаздывает и тем самым как бы не уважает нас. Но я его все равно уважаю. И когда он появляется, высокий, подтянутый, красивый, вежливый, не повышающий ни при каких обстоятельствах своего голоса, в ослепительно-белой рубашке, в изысканной «бабочке», безукоризненный, одним словом, во всех отношениях, я понимаю, во-первых, что и он уважает себя, а вернее тот дар, который носит в себе, и то имя, которое существует уже как бы отдельно от него, как такового, я понимаю, во-вторых, что он уважает тех людей, которые будут видеть его на улицах Новгорода. И все мы в своих безгалстучных одноцветных рубашках с расстегнутыми воротниками, с пиджаками и куртками «на руке», в ботинках, чищенных в последний раз, еще в Москве (а кое-кто даже и не побрился!), кажемся приготовишками рядом с метром, плебеями, челядью, уличной толпой. И поделом нам! И вот образец, к которому надо присмотреться, если еще не поздно тебе присмотреться. Да, конечно, демократизм. Но как же быть в исключительных случаях? Неужели идти на поводу у этого самого демократизма?

Мы завтракаем в ресторане при гостинице. В углу стоит приспособление под названием «Меломан». Меломан! То есть любящий музыку до самозабвения. Можно ли еще злее насмеяться над этим понятием, как назвать меломаном то чудовище, которое стоит в углу ресторана. Оно молчит пока. Но сейчас сунут ему в пасть металлическую монету и что-то дрогнет, щелкнет внутри чудовища, оно проснется, задвигаются его рычаги. Один рычаг бесстрастно понесет черный диск, положит его плашмя, еще раз-два что-то щелкнет, и всех нас, мирно жующих и беседующих, оглушит дикая музыка.

Музыка — духовная пища. Доказательств не надо. Притом, наиболее тонкая, наиболее изысканная духовная

пища. И наиболее концентрированная. Значит, если в приеме всякой пищи должен быть какой-нибудь порядок (едим 3—4 раза в день), то тем более должен быть порядок в приеме пищи духовной. И тем более в такой, как музыка.

До радио и телевидения, до патефонов и «Меломанов», то есть когда в мире стояла музыкальная тишина, человек мог сам распоряжаться потреблением такого сильного духовного экстракта, как музыка. Скажем, раз в неделю — концерт. Народное гулянье в праздники. Церковная служба, обеденная месса в определенные дни и часы. Ну, или как неожиданное лакомство — уличная скрипка, военный оркестр, шарманки, певички.

Представим же себе, что какую-нибудь еду (какую бы ни было) мы будем поглощать с утра до вечера в полном беспорядке и ежедневно. А между тем потребление музыки нами именно таково. Музыка по радио, в телевидении, в кино, транзисторные приемники, магнитофоны, радиолы и вот еще — «Меломаны». Как если бы вы сидели спокойно, но вдруг подходит посторонний человек и собственной рукой внезапно запихивает вам в рот жирный блин или целую порцию мороженого.

Мы обожрались музыкой, мы ею пресыщены, мы, к счастью (к горькому счастью), перестаем ее воспринимать? А как быть тому, кто обладает повышенным и утонченным восприятием музыки?

Хороший музыкант должен беречь свои уши от плохой музыки, как дегустаторы вин берегут свое обоняние, не куря, не употребляя спиртных напитков, специй и даже не беря одеколона после бритья.

Я видел, как мучительная гримаса невольно искажала лицо Козловского, когда раздавалось громкое щелканье в утробе «Меломана» и рычаги приходили в движение. Я встаю, подхожу к «Меломану» и решительно его выключаю. Но тут вступает в силу эта самая демократия. Всегда найдется в ресторане в Новгороде (в Москве, в Тюмени, в Тбилиси) человек, который скажет:

— Мало ли что — Козловский! А я вот хочу слушать музыку. Я пять копеек туда пустил. Козловский! Подумаешь, цаца!

Приходилось искать распорядителя, директора, представителя из обкома. Нет, демократия демократией, но иногда хорошо, когда найдется и власть!

...Козловский появлялся, и около машин начиналось

движение. Все рассаживались. Кроме нас, так сказать, самостоятельных участников концертов, но тоже невольно игравших роль как бы свиты при главном действующем лице, была у Ивана Семеновича и своя непосредственная свита: аккомпаниатор на пианино, молодая, милая женщина, с которой певец находился в постоянной шутливой пикировке, аккомпаниатор на скрипке, певец для дуэта, местные люди, которым поручено сопровождать, организовывать, обеспечивать.

Все это рассаживалось по машинам. Впереди черный «ЗИМ», сзади четыре «Волги».

Однако поезд не трогался с места, шла там, во флагманской машине, какая-то «торговля», и я догадывался — какая. С самого начала Козловский высказал желание (всегда настаивал на нем), чтобы я и моя жена ехали с ним в голове колонны. Мы ловчили и увиливали от этой почетной обязанности вовсе не потому, что нам было бы неприятно или неинтересно, но, во-первых, потому что еще не сложилось той легкой непринужденности, когда можно и помолчать и не будет это молчание неловким и тягостным, а во-вторых, Иван Семенович, боясь за свое горло, ездил с поднятыми стеклами, и было душновато, и нельзя было по своему усмотрению опустить стекло. Но машины не трогались с места, и все ждали, и приходилось смиряться.

— Вы знаете молодого поэта Семибратова (фамилия условная)? — спрашивал, например, Козловский.

— Нет. А чем он хорош, что вы запомнили его имя?

— Своеобразный человек, оригинальные убеждения. И характер. Ну, как вам сказать? У меня в квартире телефон, а жить надо. Вполне понятно, что я не всегда подхожу к трубке. Бывает, что директор консерватории. Ну и что. Вы — директор, а мы тоже... Итак, вот одно то, что этот молодой человек до меня все-таки дозвонился... Нет, вы познакомьтесь с ним, он будет вам интересен.

Иван Семенович говорил всегда тихо, вовсе не напрягая и не утомляя своего голоса. Слушая его тихий разговор, казалось странным, что в том же горле, производящем эти глуховатые, серые, пожалуй даже бесцветные звуки, может возникнуть по желанию владельца могучий, высокий, чистый радостный звук, который не похож ни на какие другие звуки и который называется в человеческом обиходе голосом Ивана Семеновича Козловского.

Причем сильный вовсе не значит — оглушительный, громкий. В одном гостеприимном доме километрах в пятидесяти от Пскова, обогретые коньячком, все пустились в самодеятельность, и одному певцу удалось совратить Козловского на дуэт. Должны были петь хорошую песню «Что затуманилась, зоренька ясная» — коронный номер певца, как выяснилось потом во время концертов.

Трудно сказать, что сыграло свою роль: вечная ли тень, в которой приходится пребывать рядовому певцу вблизи певца выдающегося, неожиданная ли возможность взять реванш сразу за все предыдущее и последующее и доказать одним махом, просто ли нервы, но певец вдруг запел так оглушительно и пронзительно, что Козловский тотчас сжал губы и дуэта не получилось.

Да, теперь незадачливый певец мог бы похвастаться, что заглушил Козловского, преодолел, переводил его, но он не мог бы похвастаться, что пел вместе с Козловским, что их голоса слились, поддержали друг друга, обогатили и украсили.

(Почему я пишу о нем «мог бы»? Он оказался душевным человеком, и мы за эти дни подружились. Чувствовал он себя неважно. Все время обливался потом, жаловался на сердце, боялся выпить рюмку, которую в конце концов все-таки выпивал. В концертах, несмотря на плохое самочувствие, участвовал. Мы обменялись телефонами. Каково же было мое потрясение, когда, позвонив некоторое время спустя, я узнал, что Вильнис умер от инфаркта через несколько дней по возвращении из нашей поездки. Видимо, он уже носил в себе, по крайней мере, микроинфаркт, что делает его гастроли «лебединой песней» и, конечно, накладывает дополнительный трагический оттенок на несостоявшийся злополучный дуэт.)

Несколько дней мы ездили по Новгороду и окрестностям, перезнакомились, подружились до той степени, когда появляются общие шутки, общие объекты шуток, общие каламбуры, когда не надо объяснять, почему Ивана Семеновича мы называем между собой Семеном Ивановичем.

Наступил день концерта. Конферанс вел артист местного драматичного театра. Я, право, не помню теперь его полного имени. Среди нас он был просто Мишей. Выступали певцы и певицы, выступали скечтисты и чтецы, выступали скрипачи и поэты, но все понимали, что зал битком не ради флейтиста Градова (фамилии условны),

не ради арфистки Барцевой, не ради чтеца Калугяна, но ради московской и мировой знаменитости, обозначенной на афише большими красными буквами, распростертыми над двумя столбцами остальных мелких букв.

И прошло первое отделение концерта и прошла добрая треть второго отделения, когда Миша решительно подошел к рампе и все почувствовали, что наступил тот самый момент.

— Выступает...— Миша делал короткие, но многозначительные паузы после каждого слова.— Солист... Государственного Большого... академического театра...— голос Миши все набирал и набирал звонкость,— народный артист... Советского Союза... Лауреат Государственных премий...— Миша сделал паузу больше и многозначительнее предыдущих пауз, набрал полную грудь воздуха и торжественно, четко провозгласил: — Семен Иванович Козловский!

Зал оглушительно взорвался аплодисментами, и то, что кто-то из наших прямо-таки по-поросячьи завизжал от восторга и кто-то другой из наших начал сползать с кресел, не имело для зала никакого значения. Публика едва ли и заметила оговорку Миши (весь концерт он только и думал о том, как бы не ошибиться, потому и ошибся), а если кто и заметил, то пока хоть на секунду усомнился в себе (неужели Семен Иванович?), аплодисменты уже гремели.

Козловский вышел на сцену во фраке, в ослепительной манишке, вышел как ни в чем не бывало и только во время всего концерта смотрел сквозь бедного Мишу, как будто тот был прозрачен или как будто его вовсе не было. А между тем общаться на сцене им было необходимо, ибо приходилось Мише подходить к певцу и подставлять ухо, а певец должен был в это ухо шепнуть название следующего номера.

Зал онемел. Активисты Новгорода, получившие билеты через свои учреждения и организации, ответственные работники, жены ответственных работников, служащие ателье и продовольственных магазинов, парикмахерши и работники Горпита, представители заводской интеллигенции и речного хозяйства, автобаз и строительно-монтажных управлений, сельхозтехники и ремонтных мастерских, музейные работники и врачи, библиотекари, педагоги и аспиранты, бывшие работники, а теперь пенсио-

неры сидели не шевелясь в ожидании первой ноты, первого звука голоса, знакомого им с детства по радио, патефонам, а позже — магнитофонам и проигрывателям.

Семидесятилетнему человеку (если предстоит петь почти целое отделение) не зазорно думать о распределении сил. Первая музыкальная фраза вместе с волшебными словами «Я помню чудное мгновенье» возникли почти из шепота. Но все равно и шепот был слышен в самых отдаленных уголках большого зала, и только к концу романса певец позволил себе прибавить немного голоса, но зато какой из этого получился эффект! Словно чистое пламя просверкнуло в красноватом дыму.

Следующий романс — «Белеет парус одинокий» — пелся уже погромче. Потом мы увидели театрализованное представление, и нам стали понятны репетиции Ивана Семеновича, на которые он тратил каждый день утренние часы. Оказывается, он пригласил для участия в концерте четырех девочек из местной музыкальной школы, четырех юных скрипачек. На сцене стало темно. Один луч освещал исполнительниц, другой — Козловского в дальнем углу сцены, черно-серебряного, с руками, скрещенными на груди. Четыре скрипки запели булаховский романс, и каждый про себя подставлял под льющуюся музыку известные всем слова: «Гори, гори моя звезда, звезда любви приветная...»

Скрипки пели протяжно и долго. Козловский слушал и вдруг опустился на колени и протянул руки в сторону музыки. То ли перед поющими скрипками преклонился он, то ли перед расцветающей молодостью, то ли перед великим романсом, но продолжалось все это еще довольно долго, пока наконец совсем незаметно, но постепенно нарастая и беря власть, беря верх над четырьмя скрипками, не возник голос и самого коленопреклоненного певца и никто не успел еще вполне наслушаться, как все потонуло в громе аплодисментов.

Девочки стояли растерянные и самые счастливые на всем земном шаре. Козловский подошел к ним и к каждой прикоснулся каким-нибудь ободряющим жестом, дотронувшись до волос, до щеки, пожав руку. Теперь уж как бы ни сложилась судьба, через тридцать, через сорок лет, в минуту обиды и счастливых воспоминаний, каждая из них скажет кому-нибудь: «Милочка, я на скрипке аккомпанировала Козловскому, когда мне было 12 лет!»

Занавес шел и шел. Козловский бисировал. А я слушал и думал с горечью: неужели, несмотря на все бережение, на рубашки со специальными гигиеническими воротничками, на опущенные стекла в автомобиле, на весь ответственный образ жизни, неужели семьдесят лет все-таки есть семьдесят лет и настоящего Козловского я услышу теперь только в грамзаписи, да и то если не заиграна пластинка и в отличном состоянии корундовая игла?

На другой, послеконцертный день мы с Козловским, отделившись от остальной группы, поехали в Юрьев монастырь.

Некогда богатейшая, процветающая под золотым покровительственным дождем Орловой-Чесменской, опекаемой, в свою очередь, архимандритом Фотием, Юрьева обитель теперь бездействовала, была пуста. Ни сказочных сокровищ (например, иконы «Знамение», вырезанной на огромном изумруде), ни монашеского чина, ни монастырских трапез, ни больших ектиний, ни громогласных дьяконов, ни колокольного звона, расплывавшегося над Ильмень-озером не на двадцать ли верст...

Теперь была лишь ровная, зеленая травка, а на ней белокаменная постройка. Монастырская стена с башнями, посередине грандиозный, второй после новгородской Софии, Георгиевский собор. Так умерший человек все еще сохраняет для живых, смотрящих на него, черты похожести и все как будто осталось прежним: и нос, и подбородок, и руки, но к чему нам обманывать самих себя, человек мертв и холоден, и внешнее подобие его есть самая вопиющая ложь.

Пожилая женщина, гремя ключами, открыла нам Георгиевский собор, и мы вошли в холодное, настоявшееся пространство, ограниченное высоко вверху расписным куполом, а справа от нас иконостасом высотой не с восьми ли этажный дом?

Ключница осталась внизу, а мы по тесной винтовой лестнице поднялись на хоры. Наверное, они соответствовали четвертому, а то и пятому этажу, но и над ними было много еще высоты: добрая половина иконостаса, против которого мы стояли, а выше иконостаса купол, а выше купола пустой барабан — одного его хватило бы на небольшую церковку.

Мы стояли на хорах одни, и не было во всем соборе ни души, ни живого духа. Внизу должна была оставаться

еще и ключница, но мы ее не видели, и она как бы не существовала для нас.

Молчали мы каждый о своем, но, надо полагать, что во многих местах молчание наше совпадало, а тишина собора способствовала ему и даже, кто знает,— направляла его в нужную сторону.

И вот тишина лопнула как перетянутая струна, но только без надрывного струнного звука, но тотчас другая живая и крепкая струна зазвучала и мгновенно наполнила звучанием весь огромный собор. Волна восторга расплеснулась во мне от сердца к глазам и горлу. «Ныне отпущаеши...» Рахманиновский вариант известного песнопения был взят сразу и во всю силу «Раба, твоего, владыко...» Акустика ли собора способствовала впечатлению, сама ли необыкновенная минута, необыкновенное душевное настроение, но, может быть, Козловский никогда еще в жизни не пел так красиво и вдохновенно...— «по глаголу твоему... с миром... яко видеста очи мои спасение твое...»

Если правда, что аудитория вдохновляет, то что же за аудиторию держал сейчас певец перед полузакрытыми глазами своими. Голос его лился золотым ослепительным светом, и камни собора, разбуженные и ожившие, каждой песчинкой резонировали ему. «Еже еси уготовал перед миром всех людей свет во откровение языцев...»

Внизу старуха с ключами плакала и бросилась было в ноги певцу, но Козловский поднял ее и успокоил, погладив по плечу:

— Ничего, ничего, бабуся. Запри за нами. Спасибо тебе. Мы пойдем.

...Вот жизнь и подарила мне одно из самых своих лучших впечатлений, из таких впечатлений, которые лежат в памяти золотыми зернами и которых, вообще-то говоря, накапливается за жизнь не так уж много.

Но, извлекая на свет, напоказ людям, каждое такое зерно, приходится все равно извлекать весь колос многих, сопутствующих ему впечатлений, хоть и знаешь из практики молотьбы, что большая часть объема колоса — простая мякина.

...Вечером снова был концерт, и Миша не ошибся на этот раз, и Козловский снова пел разные романсы, и новгородские рабочие и служащие снова яростно аплодировали ему.

Кумыс

Он показывал нам свое хозяйство гостеприимно и широко.

Погода стояла сухая, жаркая. Пшеница все золотилась и золотилась по сторонам полевых дорог, розовато-молочная пыль не успевала за машиной и клубилась сзади длинным рассеивающимся облаком, вроде дымовой завесы на море, растягиваемой быстроходным катером, или вроде белой полосы вслед за самолетом, рвущим небесный шелк со сверхзвуковой скоростью.

Ему, гостеприимному и ревнивому хозяину, оставалось только оглядываться на нас и проверять: правда ли увиденное (хлебное поле, новая ферма, новый магазин) производят на нас то самое впечатление, которое они должны, по его мнению, производить.

Два московских писателя, заехавших в этот далекий от столицы полустепной район, оказались благодарными слушателями и зрителями, потому что, зачем слова, когда все можно увидеть глазами.

Мой друг Алексей занимал... как бы это сказать... промежуточное, что ли, положение между мной и хозяином. Я здесь был более гостем, чем он. Алексей уроженец этих мест, приезжает иногда, давно знаком с местным начальством и, с одной стороны, сегодня пользуется его гостеприимством на правах того же гостя, как и я, с другой же стороны, вместе с хозяином показывает мне свои родные места. Нет-нет и спросит у Александра Васильевича что-нибудь такое, что сам — чувствуется — знает, но что не лишне рассказать или показать мне, впервые объезжающему незнакомые земли.

— Что-то там сверкнуло в овраге? Не новый ли водоем? — спрашивал, например, Алексей.

Шофер Витя глядит уж вопросительно на хозяина, сидящего по правую руку. Александр Васильевич кивнет — и машина поворачивает на полевую дорожку, а то и на межу, к сверкнувшему вдали водоему.

Выходили и трогали руками тяжелые, но еще не затвердевшие колосья пшеницы. Слушали жаворонков. Разглядывали на колосьях черных жуков, напавших на поле. Рассуждали о мерах борьбы с этим вредителем — кузькой и о том, что всякая химия о двух концах. Пили воду из родника в пологом овражке. Осматривали сельский магазин. Заходили в избу к незнакомой старухе и жадно пили, не то холодом, не то перекисшестью своей сводящий нам челюсти, беловатый квас. На берегу реки, в тени огромного вяза расстилали скатерть-самобранку. Пока плавали по светлому зеркалу омута среди кувшинок и округлых кустов, покоящихся на тихой, темной воде, Витя раскладывал на скатерти — добротном куске брезента — содержимое багажника: колбасу, помидоры, консервы, крутые яйца, сало и хлеб. И вот еще ярче становилась окрестная зелень, еще цветистее расцветали луга, еще милее были все люди.

Так или иначе, но должен сказать, что неизвестно чем гостеприимный хозяин постепенно породил во мне, едва ощутимый сначала, а потом все более явственный протест. Не то чтобы неприязнь, а так, червоточинку в отношениях, дребезжащую струнку в слаженном и мажорном аккорде его триумфа. То ли на одну восьмушку тона было больше, чем надо, самонадеянности в его голосе и во всех жестах, и во всем поведении, то ли проскальзывало за внешним доброжелательством некоторое превосходство, то ли я угадал по каким-нибудь репликам, интонациям и словам нетерпимость к другому мнению, но только между мной и Александром Васильевичем возникла постепенно скрытая пикировка, которая не прорывалась пока наружу в открытый спор, но тем не менее привносила в нашу поездку по району явственную перечную остринку.

Например, когда он ввел нас в сельский магазин, стеклянный, по теперешней нелепой моде, и который, как и полагается сельмагу, был универсальнее любого мосторга (от супони до велосипеда, от шифоньера до кухонной терки, от духов до сурика, от деревянных граблей до наручных часов, от зубной пасты до репродукции «Мишки в лесу»

в багетной рамке), и когда он поглядел на меня с победоносным торжествующим видом, то я небрежно, но достаточно четко и громко спросил продавщицу:

— Дайте мне пачечку бритвенных лезвий. Желательно «Неву» или «Балтику».

— Лезвий нету,— привычно ответила продавщица.

— Вот так раз! А чем же бреются ваши парни?

На этот мой вопрос продавщица могла не отвечать и воспользовалась такой возможностью.

— Тогда дайте мне мужской носовой платок. А то утром, впопыхах, я не положил в карман...

— Платков нету.

— Тогда свешайте полкило гвоздей...

Гвозди были мне ненужны. Но я видел боковым зрением, как при каждом «нету» Александр Васильевич морщился, словно от укола иголкой, и нарочно кольнул еще раза три, потребовав электрическую лампочку, малярную кисть и еще какую-то ерунду. Не было ничего странного, что всех этих вещей не оказалось в сельмаге, но триумф Александра Васильевича после моих снайперских попаданий был уже не триумф.

Или, например, когда пили квас у старухи и прохлаждались в чистой горнице с тремя иконами в переднем углу, я спросил между двумя приникновениями к запотевшей литровой банке:

— Иконы у вас?

— Как же? Мы люди старые. С этим помрем.

— В церковь-то далеко ходите?

— Некуда нам ходить. Нет у нас ни одной церкви.

— Как?! В целом районе — ни одной?

— В соседний район иные ездят по большим праздникам. Ну, а мне не под силу. Ведь наберется семьдесят верст.

— А если умрешь?

— Ну и что? Зароют...

— Ладно, бабка...— нетерпеливо перебил Александр Васильевич,— я тебе музыку из района пришлю. Виктор! Запиши фамилию бабки, проследим.

Или, когда, например, он разговаривал с колхозниками, расчищавшими и разметавшими ток под нависающий урожай, и кинул им, как бы невзначай: «Скоро мы вас сольем с соседним колхозом»,— я влез не в свое дело и спросил у колхозников, рады ли они предстоящему слиянию?

— А у нас не спра...— заговорил было один колхозник, но другой его упредил:

— Мы Александру Васильевичу доверяем. Он нам плохого не пожелает.

А потом начались колхозные водоемы. Каждый овраг был перегорожен красноглинистой, вывороченной наизнанку, землей. Земля выворачивалась бульдозерами, так что вокруг плотины еще шагов на пятьдесят был сволокнут весь дерн, отчего вода, не соседствуя с зеленой травой, не производила того отрадного впечатления, какое должна производить вода в жаркой полустепи.

— Ни одного оврага во всем районе не оставлю без плотины, все перегорожу. Двести семьдесят водоемов!

— Грандиозно! — не удержался от восторга мой друг Алексей.

Мы стояли как раз на плотине нового пруда, и был с нами еще агроном колхоза. У агронома-то я и спросил, повернувшись лицом к низине, пролегающей там, далеко, между двумя грядами пологих холмов, где, вероятно, протекала река:

— Но ведь если перегородить все овраги, то что же будет с рекой?

— Пересохнет,— тихо ответил агроном.— Мы отрежем ее от естественного водосбора. Можно сказать, что она уже пересохла. Зарастает травой.

— Ладно, ладно,— грубовато, но добродушно возразил Александр Васильевич,— во-первых, река протекает по другому району, а во-вторых, вместо леща и щуки будешь есть карася. Царская рыба!

Так я подсовывал свои невинные шпильки нашему гостеприимному и широкому хозяину, и день стал клониться к вечеру, и был приготовлен нам еще один сюрприз.

— Виктор, поворачивай в «Клару Цеткин».

Обычно «Клара Цеткин», «Володарка» или «Имени Урицкого» бывают на Руси мелкие фабричонки, преимущественно текстильные. Но в степной полосе такая фабричка маловероятна, да и не повез бы нас сельскохозяйственник Александр Васильевич на фабрику. Поэтому я спросил: а что же такое «Клара Цеткин»?

— Санаторий туберкулезного направления.

— Сосновый воздух?

— Бери выше. Кумыс. Сейчас мы и попробуем этого целебного напитка.

— Я давно мечтаю пожить где-нибудь около кумыса. Сиди и работай, как в любом другом месте. Но плюс ко всему — кумыс. А что, если в «Кларе Цеткин» мне попросить небольшую комнату дней на двадцать?

— Хоть две.

— Две не нужно. Одну, но удобную и тихую.

— У нас есть там отдельное помещение для приезжающих, подальше от больных. В санатории все отдыхающие называются больными. Помещение типа гостиницы. Но, конечно, не для всякого желающего, а мало ли... Как вы вот теперь... Из области кто-нибудь приедет, районное руководство... кумыс есть кумыс. Степной воздух. А работать вам будет очень хорошо. Я сам иногда ночевал в этих комнатах.

Показались купы деревьев — оазис среди хлебных полей,— и вскоре мы въехали в липовую аллею, поредившуюся местами, там, где липы выпали от старости, словно зубы.

Какой бы ни был парк, какие бы ни были пруды, какой бы ни был дворец (даже будь то Ливадия), но, если напустить на это место пятьсот человек, сменяющихся каждые двадцать четыре дня,— все равно, даже и на самое царское место ложится печать некоей общипанности и, я бы сказал, потравы. Так было и здесь. Кроме того, мешали парку, цеплялись за глаза и дробили цельное впечатление разные фанерные сооружения (ларек, еще ларек, открытая эстрада), никаким образом не вписывающиеся в трехсотлетнюю зелень парка. Но все это можно пережить, ко всему этому можно очень скоро привыкнуть, и мы пошли осматривать дом для приезжающих, его комнаты, одна из которых уже сегодня могла стать моей. Комнаты оказались узковатые, но и это бы не беда. Я сел за стол, прикидывая, как буду здесь писать и что буду видеть, вскидывая глаза от бумаги, и тотчас услышал громкие, выворачивающие душу наизнанку позывные «Маяка». Столб с репродуктором оказался в тридцати шагах перед моим окном, посредине поляны. Место вокруг столба обтоптано до голой земли. Можно было предположить, что по вечерам здесь танцуют под модные современные пластинки. Так в одну секунду отпала сама собой моя жизнь и работа в кумысном санатории, и мы больше о ней не говорили, а пошли ужинать.

Ящик с кумысом стоял в стороне, на тумбочке, около нашего стола, и мы брали бутылку за бутылкой и откры-

вали бореные, как у нарзана, железные пробки, под которыми оказывались еще и настоящие пробковые затычки.

Кумыс — напиток степей! Вспоминать ли теперь Сусамыр и заоблачные сырты в киргизском Тянь-Шане, где пасутся полудикие табуны лошадей? Как и у всякого молока, вкус и целебность кумыса во многом зависит от травы, которую едят кобылицы, а значит, еще и от времени года. Майский, а на высоких горах июньский кумыс, когда расцветают степные и высокогорные травы, нельзя сравнить с кумысом жаркого пыльного лета, а тем более осени, ибо сохнет и становится жесткой трава, теряет она свои ароматы, а так же (как без этого в нашем веке!) — и витамины.

Но в любое время года и при молодой траве крепость, вкус и полезность напитка зависят от мастера, который его готовил.

В киргизских и казахских степях — там проще. Там культура кумыса проходит через века. Там в каждой юрте свой кумыс — закваски, рецепты и секреты, но отличается кумыс от кумыса только тонкостями, уловить которые доступно лишь знатокам.

Помню, в просторной, опрятной председателевой юрте (он же и депутат Верховного Совета Киргизии) висел мешок из цельной кожи взрослой лошади. Он висел вертикально и на ощупь был упруг и прохладен. За шершавой кожаной стенкой перебраживало, превращаясь в кумыс, кобылье молоко. Кто б ни шел из жителей юрты мимо мешка, всякий брался за мешалку, высовывающуюся из отверстия в мешке, и мешал, бултыхал дозревающий напиток, которому нужны определенная температура и определенное время для того, чтобы стать настоящим напитком.

Потом собираются в юрту аксакалы. Рассаживаются по краям кошмы, оставляя пустой ее середину. Двухлитровые пиалы расходятся по рукам. Льется в пиалы белая, как бы слегка мучнистая жидкость, терпко-кислая, немного шибающая в нос. Аксакалы сидят целый день и неторопливо пьют, неторопливо беседуют, смеются заразительно всякой удачной шутке. А сверху над юртой, над зеленым Сусамыром, над белоснежными горами, плывут белые облака. Горы собрались вокруг Сусамырской долины, как эти седовласые аксакалы вокруг кошмы.

Вот почему я не представлял себе, что кумыс можно пить из бутылок, из стаканов, за столом, как нарзан, в об-

становке, вовсе не сочетающейся с этим редким и еще не разгаданным напитком.

Можно налить морскую воду в ванну и убеждать себя, что купаешься в море. На организм это купание произведет, возможно, такое же действие, как если бы и правда вошел в синие, лениво шурщащие по гальке, валы. Земляника, купленная на базаре, почти так же полезна, как и съеденная в лесу на земляничной поляне. Строганину можно приготовить в Москве, положив рыбину в морозилку холодильника, а не заморозив ее на стекловидном полярном морозе где-нибудь в Усть-Каре. В конце концов ресторанная уха — тоже уха, как и то ароматное содержимое закоптелого ведра, подвешенного над костром, на берегу реки, уже заволакивающейся вечерним туманом.

В бутылках был напиток под названием «Кумыс», но я пил это кобылье молоко без той доли глубокого, почти священного уважения с каким пивал его в киргизских степях. Не хватало запаха кошмы, дыма, полыни. Не хватало лошадиного фырканья вдалеке, собачьего лая у соседней юрты, неторопливо разговаривающих аксакалов, камчи на правой руке. Впрочем, может быть, не хватало чего-нибудь и в самом кумысе. Где здесь, в русской полустепи, возьмешь настоящего кумысного мастера?

Обратно ехали в сумерках, но Витя не хотел зажигать фары. Глаза привыкли, дорога накатана и знакома, небо с вечерней зарей подсвечивает вечернюю степь.

Я забыл про нашу дневную пикировку с Александром Васильевичем, про все мои шпильки и теперь без всякого умысла, вовсе не думая, что мой вопрос всколыхнет разговор, без которого, как я теперь понимаю, день оказался бы незавершенным, из чисто человеческого интереса спросил:

— Что ж, кумысного мастера выписали откуда-нибудь, или из местных?

— Сначала у нас была старая опытная казашка. Ну она знала секреты! Это ведь не простое дело, не простоквашу сварить. Кумыс! Она говорила, что секреты ей достались от бабки, а той — еще от другой бабки, в общем, чуть ли не от времени Чингисхана. Ну, мы создали ей все условия. Жила с дочкой в отдельной комнате. Мы дали ей. Но только практически она и день и ночь находилась на стане, около лошадей. Работала она у нас восемь лет, а потом умерла.

— Разве вы не позаботились приставить к ней ученицу? Нельзя же было отпускать ее на тот свет с таким драгоценным секретом!

— Она сама позаботилась, все оставила дочке. Было дочери двадцать лет, и мы назначили ее старшим мастером.

— Действительно, хорошо работает?

Александр Васильевич не ответил на мой вопрос. Я подумал, что он не расслышал его, и спросил громче и тверже:

— Чей же кумыс лучше, материн или дочкин?

Секретарь неохотно буркнул:

— Она уже не работает.

— Возвратилась в родные степи? Сбежала?

— Пришлось уволить.

Я стал гадать про себя, что же могла натворить единственная и незаменимая мастерица, носительница древних секретов, сотворитель целебного напитка, чтобы ее можно было и даже пришлось уволить.

Признаться, первое, что мне пришло в голову,— поведение двадцатилетней девчонки. Санаторий. Праздные люди. Мужчины. Танцы. Свежий воздух. У мужчин этих неожиданная свобода от семьи. И всего лишь на двадцать четыре дня. Кумыс. Миловидная казашка ходит всегда в перекрестке многих охочих взглядов. Куда тут денешься? Долго ли поскользнуться?

— Гуляла, что ли?

— Нет, с этой стороны у нас к ней претензий не было. Вела себя хорошо.

Я стал гадать дальше, стараясь подобрать наиболее тяжкий грех, за который надо было уволить мастерицу. Наверно, продавала кумыс «налево». Может быть, даже возила в город. Дело пахло судом, и тогда — тюрьма. Но поскольку редкая мастерица, ограничились увольнением «по собственному желанию». А терпеть больше было никак нельзя. Несколько раз строго предупреждали.

— Воровала?

— Боже сохрани! Работала честно.

— Так за что же вы ее уволили?! — вырвалось у меня с невольной горячностью.

— Да, ну... понимаешь... возомнила о себе. Много понимать начала... мастер незаменимый!..

— И на самом же деле — мастер.

— Незаменимых людей нет.— Резко, как отрезал Александр Васильевич, уже раздражаясь.

Тогда-то и пошло выворачиваться наружу все, что возили мы друг около друга целый день.

— Ни один человек не заменим другим! — ринулся я в пучину схватки.— Даже пешки и те незаменимы. И пешка а2 не может выполнить задачу пешки е2.

— Е2 — это должность. А сами пешки все одинаковы. И потом, если так рассуждать, то не может быть никакого перемещения должностей и постов. Однако оно постоянно происходит.

— Мы не говорим сейчас о людях вообще. Соглашаюсь, уступаю, делаю шаг назад. Можно заменить на какой-нибудь должности человека человеком. Но стою на том, что мастер, каждый мастер, если он действительно мастер,— незаменим!

— Так что же, терпеть его со всеми капризами и выкрутасами поведения?

— Терпеть!!! — хотел было крикнуть я, но вовремя подумал, что разные бывают выкрутасы, и, сдержавшись, спросил:

— Вы не ответили мне на вопрос: за что уволена мастерица кумыса?

— Да! Взять хоть ее. Разве можно было идти у нее на поводу?

— Что она сделала?

— Говорю, зазналась. Возомнила о себе. Командовать начала. У меня в районе!

Неужели все дело в том,— с ужасом догадался я,— что этот волевой и хозяйственный человек не смог вытерпеть слова, сказанного ему поперек, мнения, идущего вразрез его мнению. В таком случае, кто же возомнил о себе, уж не он ли сам? И кто же начал командовать? И в чем могло состоять командование двадцатилетней девчонки?

— Приходила к вам в кабинет и под ее давлением вы принимали нежелательные решения?

Александр Васильевич рассмеялся весело от души.

— Звонила вам по телефону и требовала прекратить строительство нового моста? Или приказывала возить ей самолетом из Москвы раннюю клубнику? Вы сказали — командовать начала...

Александр Васильевич молчал, может быть вспоминая какой-нибудь самый нетерпимый факт командования мастерицы, или не желая мне отвечать.

— Ну назовите хоть один факт, мне интересно, что она накомандовала у вас в районе.

— Не в районе, а у себя, на производстве кумыса.

— Что?

— Например, потребовала себе помощницу...

— Еще?

— Родственницу на работу пристроила.

— Кем?

— Уборщицей... Да не это важно!

— А что же тогда?

— Порядок должен быть, вот что. Говорю — возомнила. Ты ей слово, она тебе — два. Бывало, не знаешь на какой телеге подъехать.

— На «Волге» небось подъезжали, не на телеге... Теперь, наверно, жалеете. Кумыс-то, наверно, хуже стал?

— А что! Вы сами пили. Разве плохой кумыс? Отличный кумыс. И больные довольны. В область возим. Бывает даже — в Москву. Шаманить вы очень любите. «Носители мастерства! Таланты! Гении». Работать надо, работать. Тогда и будет талант.

Я оказался на лопатках и в луже. Крыть было нечем, оставалось только молчать либо как ни в чем не бывало заговорить о завтрашней предстоящей рыбалке.

Вдруг шофер Витя, не сказавший за целый день ни одного слова, но слушавший все наши разговоры, выпалил, будто кинулся с высокой кручи в воду вниз головой:

— Кумыс-то раньше... Александр Васильевич... горлышки у бутылок рвал. Сами лучше меня знаете. А теперь откроешь — и не шипит.

После этого неожиданного выпада Вити никто из нас, ни мой друг Алексей, ни Александр Васильевич, ни я, ни сам Витя не сказали больше ни слова. Впрочем, и не успели. Показалось уж впереди темное пятно села, и было ясно, что успеем доехать до места, так и не зажигая фар, автомобильного яркого света, который осветил бы узкую полоску дороги, но зато сразу погрузил бы в темноту все вокруг нас: и колосящиеся поля, и отдаленные сумеречные холмы, и самое небо.

Олепинские пруды

Пруды в нашем селе давно пора бы почистить.

Попытка, правда, была. Года три-четыре назад выдалось сухое жаркое лето. Жара и сушь установились с апреля, и, надо полагать, не позднее чем в мае кому-нибудь могла уж прийти в голову мысль насчет капитальной чистки прудов.

Если такая мысль действительно зародилась с весны, то, значит, зрела она весь май, весь июнь, весь июль и добрую половину августа. Это можно понять. Ведь чем дольше стояла жара, тем больше было вероятности, что вот-вот погода переменится и пойдут дожди.

— Надо бы сразу тогда, в апреле, спустить хоть один пруд. Он уж давно бы высох. А теперь как его спустишь?

— Спустить не штука. Но, скажем, к примеру, нынче спустишь, а завтра — дождь. Дело к осени. Разненастится, и пойдет все насмарку.

— То-то вот и оно.

А жара все стояла и стояла. И в середине августа решили в правлении колхоза: будь что будет. К этому времени прудишки наполовину испарились, обнаружив илистое дно с торчащими из него палками и железяками. Гуси и утки испещрили обнажившийся ил своими следами-елочками. Ил вскоре ссохся в голубоватый камень. Если бы убрать его от непогоды, то будущие археологи легко могли бы изучать по засохшему илу, какая водоплавающая птица водилась у колхозников в шестидесятых годах нашего века.

Итак, в середине августа было решено спустить и вычистить верхний пруд. Бульдозер за четверть часа пропорол плотину, насыпанную олепинскими мужиками, может,

двести, а может, и пятьсот лет назад. Остатки воды вытекли из пруда и потекли по траве под горку, к нижнему, тоже полуиспарившемуся пруду. Трава и земля между прудами овражистая, в глубоких оспинах коровьих и лошадиных следов. Караси, вытекшие вместе с водой, к восторгу сельских мальчишек, задерживались в этих глубоких ямках.

Думали так: когда вода из пруда утечет — пустим бульдозер. Он раздвинет ил, разгребет его на плотину и по сторонам, доберется до основного грунта, до глины. Ложе пруда расширится и углубится. Тогда останется заделать прореху в плотине, и весной во время таяния снега новая свежая вода наполнит новое чистое ложе.

Бульдозер смело заехал с верхнего отлогого конца и пошел посередине вдоль ложа к плотине. Но далеко он не ушел. Тяжелый трактор все глубже и глубже увязал в жидком иле, пока наконец не залез по кабину, по мотор, и все поняли, что ничего у бульдозера не получится.

— Надо бы в апреле его спустить. Теперь бы он уже высох.

— Надо бы, да как спустишь. Нынче спустишь, а завтра дожди пойдут...

— А теперь надо бы экскаватор. Чтобы стоял на твердом берегу и спокойно вычерпывал. А у бульдозера ничего не выйдет.

— А ил этот хорошо бы валить на самосвал и увозить на поле или, к примеру, на гряды. Самое наилучшее удобрение. Капуста родилась бы — по пуду кочан.

— Экскаватор хорошо бы, да где его взять? За ним надо бы в область. Пока добьешься, и зима придет.

Тем временем погода и вправду начала меняться, пошли дождички, повеяло холодком. Пришлось залатать коекак прореху в старой дедовской плотине, и на том пока успокоились.

Давно пора бы почистить пруды в нашем селе. При современной технике, хотя бы только бульдозером, ничего не стоило бы устроить каскад прудов.

Ведь что такое наши теперешние два пруда? Село прорезает овраг. Старики догадались и в двух местах, в пределах села, перегородили овраг плотинами. И выходит теперь, что овраг начинается ниже обоих прудов, ниже села, и тянется почти до реки, выходя на широкий луг. Почему бы не перегородить овраг еще в одном месте? Под-

нять плотину, вставить в нее бетонную трубу, чтобы весной беспрепятственно утекали излишки. После этого спустить оба пруда, как следует высушить и вычистить от столетнего ила, от мусора, погребенного в иле: старых тележных колес, бездонных ведер, полуистлевших бахил и сапог, а в позднейших культурных слоях — тракторной и автомобильной резины.

Председатель колхоза Глебов горячо мечтал о каскаде.

— Построим хороший глубокий пруд,— говорил он, бывало,— разведем карпа. Ты знаешь что,— обращался Глебов ко мне,— поедешь мимо, зайди на лугомелиоративную станцию. Попроси, чтобы прислали техника.

— Нужно ли? Сказать бульдозеристу, он за два дня...

— Нет, мы давай по-научному. Приедет техник, посмотрит, прикинет, посоветует. Теперь двадцатый век, мы давай по-научному. А стоимость я прикинул: пятьсот рублей, больше не обойдется. За пятьсот рублей такой пруд создадим — из области будут любоваться. По берегам деревьев насадим. Ветлы. Они хорошо около воды растут. И будет у нас наподобие аллеи...

На мелиоративную станцию я заезжал. За давностью лет не помню подробностей нашей встречи с начальником станции и нашего разговора. Но помню, что оба мы улыбались и говорили, что приятно было познакомиться, и техника мне твердо пообещали. Однако прошло с тех пор несколько лет, и успело смениться в нашем колхозе три председателя.

Чудову, который сменил Александра Михайловича Глебова, мечтать о каскадах было некогда. Большую часть времени он бывал пьян. Колхозный шофер привозил председателя к дому, открывал дверцу и, бесчувственного, вываливал на траву. Выбегала жена и подбирала руководителя колхоза. Но нельзя сказать, что у Чудова вовсе не было никакой мечты. В минуты трезвости он страстно мечтал разрушить сельскую церковь. Просил и плакал не иносказательными, а настоящими слезами.

— Разрешите сломать. Сколько кирпича даром пропадает. Какой коровник бы отгрохали. И-ех!

Теперь, после Чудова, у нас замечательный председатель колхоза. Спокойный, рассудительный, трезвый. Превосходно знает сельское хозяйство и умеет обращаться с народом. Теперь вокруг села там и тут появились кирпичные постройки: большой коровник, гараж, мастерские,

магазин, при этом церковь по-прежнему стоит среди села, украшая наши окрестности.

Дела в колхозе пошли ровнее, устойчивее, и снова как бы сама собой выплыла на поверхность идея о каскаде. Я думаю, что в скором будущем пруды в Олепине будут почищены.

Возможно, читатель после таких пространных рассуждений о прудах представляет их себе обширными водоемами с «зеркалом» в несколько гектаров. Что ж, бывают и такие пруды, только наши скромнее. В ширину будут шагов тридцать или тридцать пять, а в длину, вероятно, по пятидесяти. Глубина... По совести говоря, нет у наших прудов никакой глубины. Станешь с мостков черпать ведром, а ведро полностью не зачерпывается, невозможно его погрузить вертикально — мешает дно.

В прудах еще недавно водились и кишели циклопы и дафнии, а по-нашому — просто водяные блохи. Но теперь развелось в селе множество гусей и уток. И вода стала непригодная. Черпают ее исключительно для поливки огородов или деревьев.

Удивительно, что продолжают водиться караси. Вот пример приспособляемости вида к условиям, к которым, казалось бы, никак невозможно приспособиться. Впрочем, караси, хотя и водятся, не растут. Достигнет карась граммов сорока и начинает стареть, превращается в жалкого морозоустойчивого, грязеустойчивого карлика.

Давно пора бы почистить пруды в нашем селе.

Тем более что, если олепинские мужики захотят отметить какое-нибудь событие, будь то окончание сенокоса, будь то Первое мая, всякое отмечание начинается у нас именно с прудов.

Живописная картинка при этом бывает всегда одна. Два-три мужика, застрельщики, искусственно храбрясь, а на самом деле стесняясь, раздеваются на берегу пруда до трусов и лезут в дремучую пузырящуюся тину... Они затаскивают в пруд бредешок, а на берегу тем временем собирается толпа мальчишек. Стесняясь своего любопытства и пряча стеснительность за независимыми улыбками, подходят и взрослые. Кто-нибудь из компаньонов носит ведро с уловом.

Полазив по одному пруду, мужики с бреднем перекочевывают в другой. Идти нужно среди села, на виду. Если бы даже и не было никого на улице, все равно — смотрят

в окна. А окна у нас в селе зоркие, ничего от них не укроется: кто к кому пришел, кто с кем говорил, кто покачнулся, а кто упал.

От пруда к пруду перебегают ловцы в широких прилипших мокрых трусах. Тела у ловцов озябшие, синие и, как бы это сказать, давно не бывавшие на ветерке или на солнце. Как ни странно, тело деревенского мужика не привыкло к воздуху: работают всегда в одежде.

— Куда они выводить-то будут?

— В тот угол, к Абрамовым.

Зрители бегут к предполагаемому углу пруда. Рыболовы выволакивают бредень, в котором полтонны ила, жирного, теплого, роются в нем, извлекают обмазанных илом голубовато-черных рыбок. Под корявыми пальцами мужиков на боках рыбок сквозь черноту проступает чистое, жаркое золото. Золотые блестки опавшей рыбьей чешуи поблескивают в жирном иле. В ведре, хотя там и нет воды, рыбки обтираются друг о дружку, и видно, что это маленькие, а то и средненькие карасики.

Наловят мужики с полведра карасей, отдадут женам чистить и жарить. Сами пойдут в магазин за водкой: а как же без этого — праздник. И вроде бы дополнительный повод, дополнительная радость выпить: все-таки лазили по воде, вымокли. После воды или рыбалки — все равно что с морозу: водка та же, а пьется слаще.

Увидев мужиков, перебирающихся с бредешком от верхнего пруда к нижнему, я не сразу догадался, по какому поводу они собрались праздновать. День — вторник, праздника никакого как будто нет... Ах, да — сегодня девятое мая — День Победы!..

Я, засидевшись за письменным столом, и запамятовал об этом дне, но не могли забыть о нем провоевавшие четыре года и всякого лиха хлебнувшие фронтовики. Ведь каждый готов был тогда умереть и шел на это, и не было другого пути. Еще и за пять минут, еще и за минуту до полной всемирной тишины могла скосить пуля, подрезать осколок, оглушить снаряд. И вот до сознания дошло — конец. Нет больше ни пуль, ни осколков. Нет больше ни одной минуты опасности. Конец. Уж если выжил, то выжил. Уцелел — значит уцелел. Отныне и на веки веков. Конец! Вот оно, воскресение, вот она, весна. К тому же не просто замирение, не мир любой ценой, а наша взяла!..

Наша взяла! И получается, что Девятое мая — всем праздникам праздник.

Нужно лезть в воду ловить карасей и покупать в магазине водку. Ничего, что владимирского производства, на фронте и не такую пивали, а эта — очень даже гожа.

— Федорыч, ты мимо пойдешь, зайди к Володе Солоухину, позови, скажи, нельзя — День Победы.

При этих словах, донесшихся от пруда, у меня слегка защемило сердце. Не потому, что я собирался в этот день как следует поработать, можно было бы отложить дела ради такого дня, но потому, что заранее знал, чем это грозит, и знал, что это неизбежно теперь, и можно бы только сбежать, но вот и сбежать нельзя — День Победы.

У зовущих теперь меня к столу не может уложиться в сознании, что человек не хочет выпить. А если он говорит, что не хочет, значит, не хочет выпить именно с ними, гнушается их компанией, пренебрегает, зазнался, отрывается от масс и вообще много о себе понимает.

Почти всегда такое застолье устраивается в ближайшем лесочке, под старой сосной, на поляне. Любят также олепинцы посидеть в саду, на траве под яблоней или вишеньем. Поэтому я удивился, увидев из окна, что газеты расстилаются среди села, на лужайке, под моими, в сущности, окнами. Место очень уж неудобное, рядом пролегает дорога, а если бы поднялся ветерок, то вся пыль с дороги полетела бы прямо на пирующих и на их еду. Травка еще не успела взяться плотной прохладной шубкой, какой она становится в середине лета. Она еще не выросла пока, и газеты расстилались прямо на земле. Но, значит, пришла кому-нибудь фантазия, чтобы гуляли фронтовики среди села, на глазах всех людей: даром, что ли, воевали и проливали кровь. Не хотим прятаться со своей выпивкой в лесочке или в саду!

Коренных фронтовиков было шестеро. Восемнадцать человек, не вернувшихся с войны, конечно, тоже как бы присутствовали здесь, но все же место вокруг разостланных газет они не занимали... Присоединились два молодых парня, которые в военные годы бегали еще без штанишек. Уселись жены, набралось всего четырнадцать человек. Я оказался пятнадцатым.

Уселись на землю вокруг газет. На газетах, посередине, большущая сковорода жареных карасей. В сковородку натолкали яиц и нарезали луку. Горой лежал хлеб, накром-

санный толстыми ломтями. О другой закуске не позаботились.

На неровную землю рискованно ставить стакан с водкой, поэтому стаканы каждый держал в руке. Василий Михайлович Жиряков, бывший бригадир, добросовестно разливал.

Председателя не было среди нас. Его дом и семья в другой деревне, за двенадцать километров от нашего села, и он иногда на воскресенье или на праздники уезжает домой. Заместитель его, Александр Павлович Кунин, присутствовал. Он-то и взял первое официальное слово. Сидели мы интимно на земле, на травке, вокруг жареных карасей, но должность у Александра Павловича была вполне официальная, и, значит, слова он говорил тоже официальные, соответствующие, с одной стороны, должности, а с другой — поводу.

— Товарищи колхозники,— сказал заместитель председателя,— поздравляю вас с Днем Победы. В суровые годы Великой Отечественной войны, в жестокой схватке с фашистскими захватчиками, наш народ сокрушил врага, прогнал его с советской земли и добил его в собственной берлоге. Выпьем за тех, кто воевал, за тех, кто в тылу и на фронте ковал победу!

После речи, во время чоканья стакан о стакан, слышались отрывочные реплики:

— Да, надо.
— Нельзя, такой день.
— Никак нельзя.
— Тут уж что говорить.
— Такой день раз в жизни.
— За всю историю.
— Ну, мужики, будем здоровы.
— С праздничком!
— Никак нельзя...

Я слегка удивился сути реплик. Получалось, что собравшиеся вроде бы и не хотят выпивать, и не стали бы, и не любят, но вот ничего не поделаешь: «надо», «никак нельзя».

По-моему, тонким стаканом водки можно наказывать провинившихся. Мы же должны были пить добровольно, мало того, желая друг другу самого лучшего и драгоценного — здоровья. Рука невольно тянется к столу и шарит, ища чего-нибудь острого, отшибающего противный сивушный дух: соленого огурца, селедки, гриба, капустки... Здесь

же были караси, к тому же горячие. Пока донесешь разваливающуюся рыбку до рта, пока на нее подуешь, пока обсосешь острые косточки — водочный дух и вкус все еще стоит во рту и в горле, и в самом желудке, и минута эта ужасна. Все морщатся, зажмуриваются, шарят рукой вслепую и только спустя некоторое время, обсосав третью рыбку или удачно поддев пласт яичницы, приходят в себя. Впрочем, многие запивают водку холодной колодезной водой. Им, наверное, легче.

— Володь, ты мне скажи, я был в Москве, у родственников в гостях, и там за столом был один знакомый моих сродственников. Работает за границей, в посольстве. И он сказал, что за границей не запивают. Считается очень даже некрасиво и неприлично запивать водой, или, скажем, пивом, или ситром. Ты мне скажи, никак я сам не пойму, почему за границей не запивают?

— Видишь ли,— начал было я,— предполагается, что напиток сам по себе вкусный. Он его проглотит, посмакует во рту и прислушивается к аромату. Зачем же отбивать вкус того, что кажется вкусным?

— Значит, у них водка, что ли, вкуснее нашей?

— Я б не сказал,— напротив, они очень любят русскую водку. Но дело в том, что они пьют маленькими глоточками, из рюмок грамм так по двадцать. А от маленьких глоточков и от того, что не закусывают, хмелеют они очень быстро.

— Пить не умеют, вот и все,— выручил меня другой сосед.— Какие они против нас питоки. Да ему ежели вот этот тонкий стакан — его и под столом не найдешь.

— Слабаки.

— Теперь понятно. А то я все думал, почему же такое — за границей не запивают. Конечно, ежели двадцать грамм, их и во рту не найдешь. Это даже смешно, двадцать грамм водой запивать или, скажем, ситром. Двадцать грамм — это курам на смех, разве это питье?

Между тем было налито по второму. Караси на сковороде поредели. Но все еще тянулись к ним руки пирующих. Пятнадцать человек не могли усесться близко к сковороде, руки тянулись издалека. Приходилось поддевать карася вилкой, класть его на левую ладонь, так нести к себе и не торопясь расправляться.

После второго стакана заговорили все сразу. Я тоже что-то пытался говорить, но сосредоточиться на чем-то од-

ном было невозможно. Каждый вел свою линию. И казалось каждому, что его не поняли, не услышали, и нужно сказать все сначала, еще один раз, громче прежнего.

Справа от меня оказался старик Андрей Николаевич. Он воевал, наверное, еще в первую германскую, однако хлебнул и второй войны. И теперь, выпив, блаженно улыбался, смотрел на все умиленными слезящимися глазами. Время от времени он припадал к моему плечу и сладко и напевно, почти шепотом, доверительно просил:

— Володя, Володя, уж я тебя прошу... ни о чем не прошу, а только одно... Ты уж посодействуй там, где нужно, чтобы...— тут старик делал выразительную паузу и с ликованьем в голосе завершал: — Чтобы мир — во всем мире!

Невоевавший парень привязался к пожилым фронтовикам с идеей, которая казалась ему сейчас самой главной:

— Мужики, пускай я не воевал, но я вас все равно осуждаю. Вы воевали? Воевали. Ордена и медали у вас есть? Есть. А где они?

Действительно, на пиджаках и рубахах фронтовиков не было не только медалей с орденами, но даже орденских планок.

— Я спрашиваю, где ваши медали и ордена? Пускай я не воевал, но я скажу... Вы должны сейчас надеть все медали и ордена и устроить в селе парад.

— Да сиди уж ты, какой тебе парад, если нас всего шесть человек. Ну какой парад?!

— Все одно! Пусть и шесть! Вы должны сейчас надеть все ордена и пройти по селу мимо правления колхоза или мимо клуба, чтобы все как следует и чтобы состоялся парад.

В шутку парня спрашивали:

— Ладно, пущай парад. А кто его будет принимать? Ты, что ли? Становись на крыльцо, а мы все мимо тебя пойдем. Ну, отвечай, голова садовая, кто будет принимать наш парад?

— Старший по возрасту, вот кто,— нашелся парень.

Разговор отвлекся. То он переходил на горох, который посеяли около леса, и теперь мальчишки будут из леса творить на горох набеги. То на сухую погоду, которая установилась в этом году слишком рано. Так и шло.

— Подумаешь, пожалел, что мальчишки горохом попользуются. Ну и пусть пользуются. Витамины. Мальчишки, чай, наши же.

— Нет, мужики, вы неправильно делаете. Я бы на вашем месте все ордена и медали...

— Володя, Володя, ты уж посодействуй там, где нужно...

— А пруды наши давно пора бы почистить. Разве это карась? Это заморыш какой-то, а не карась.

Тут вдруг вскочил Александр Иванович, который, когда выпьет, делается очень чувствительным.

— Мужики, мужики, о чем вы говорите, опомнитесь! Горох, пруды, караси... Разве об этом надо сейчас говорить... Вьетнам ведь гибнет!

На этих словах Александр Иванович вдруг ударил себя в грудь кулаком. Однако ничто уже не могло сосредоточить разговор в одной точке и вывести его в одну линию. Говорили по-прежнему кто во что горазд.

— Горох! Да, бывало, горох нарочно около дороги, чтоб детишкам удобно было лакомиться.

— Бульдозер в колхозе есть, долго ли ему овраг перекрыть. Да это ему — тьфу, пустяк!

— Еще Глебов хотел...

— Вот я и говорю, вы неправильно поступаете. Нужно устроить парад, пройти мимо правления колхоза...

— Володя, Володя, нам ничего больше не нужно, ни о чем не просим, только одно... ты уж посодействуй, чтобы... чтобы мир во всем мире.

— А пруды мы почистим, будут как зеркало, лучше новых.

— А гусей и уток раньше держать запрещали, было постановление на миру, на сходке, они портят траву и воду.

— Мужики, мужики, опомнитесь, о чем вы!.. Какие гуси, какая трава...

И опять не удалось Александру Ивановичу повернуть разговор на Вьетнам. На некоторое время, что вполне естественно, переключились на фронтовые воспоминания.

— Я сначала в истребительном батальоне был. Дадут бутылку с горючей смесью, танки...

— А мы подходим к озеру Балатон, берег крутой, высокий...

— Концлагерь разбили. Ворвались, а там скелеты...

— Неправда, немцы бы их сожгли.

— Живые скелеты, не понимаешь? Которых истребить не успели. На коленях ползут, обниматься лезут, а нам жуть.

— А я всю войну в партизанах был, в Белоруссии. Потом наша армия подошла.

— А что, мужики, Америка с Англией на нашей стороне воевали, наверно, и у них жертвы были.

— Какая война без жертв?

— А сколько примерно американцев и англичан за всю войну полегло?

Мужики поглядели в мою сторону. Мне где-то попадались на глаза цифры, и я запомнил.

— Американцы потеряли двести пятьдесят тысяч человек, англичане — триста тысяч.

— За всю войну?

— Да, за всю.

— Не может быть.

— Почему же не может?

— Как же так?! Вместе воевали, заодно, одних и тех же немцев били. У нас двадцать миллионов человек, а у них двести пятьдесят тысяч. Не может быть!

— Слушай, что тебе говорят. Чай, он (это про меня) не сам придумал, подсчитано.

— А ежели немцы?

— Что немцы?

— Сколько мы немцев положили за всю войну?

— А немцев четыре с половиной миллиона.

— Н-да, а ты говоришь...

Разговаривая, постепенно отсели от газет и сковороды. Старик, успокоившись, блаженно, тихо заснул. Женщины вдруг запели «Златые горы». Запели громкими, не очень слаженными голосами, но все-таки песня пошла. Я подумал: вот ведь какая судьба. Никто не знает: кто написал эту песню — «Златые горы», слова и музыку. Один ли автор, два ли. Но если два, то оба вполне безымянны и неизвестны. И все-таки каждая деревенская свадьба, каждый деревенский праздник,— вернее, музыкальная и песенная часть каждой пирушки,— начинается с этой песни. Если есть гармонист и если после всех разговоров он растянет мехи гармони, то обязательно с этой песни, с этой залихватской запевки:

Когда б имел златые горы
И реки полные вина,
Все отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна.

Если нет гармониста, а одни только певуньи, то и они начнут с этой песни и будут, закрыв глаза, полупоя-полукрича, в подробности сообщать:

Умчались мы в страну чужую,
А через год он изменил.
Забыл он клятву роковую,
Когда другую полюбил.

И за что этой песне такая честь?! И мелодрама, и, как сказал бы иной городской интеллигент, непролазная пошлость, а вот поют и поют на всех вечеринках и на всех свадьбах, поют с упоением, надрывая голоса, сотрясая стены, если дело происходит в стенах.

Не плачь напрасными слезами,
Постой немного под окном.
С пустой котомкой за плечами
Ты не войдешь в отцовский дом.

— Мужики, мужики, не дело. Давайте теперь какую-нибудь фронтовую.

— Правильно, правильно, фронтовую. «Землянку» давайте.

— Обязательно «Землянку».

Запели «Землянку». Однако петь ее оказалось труднее, чем «Златые горы». Песня шла вразнобой, но все же хватило выдержки, допели до конца. А потом кто-то завел «Враги сожгли родную хату...», и опять ударили дружно, согласно. Я даже не ожидал — будто разом протрезвели все.

На сковороду с карасями и на остатки хлеба, разбросанные по газете, напали куры. Они совсем не смущались поющих людей, но клевали торопливо, лихорадочно, словно понимали, что кто-нибудь сейчас спохватится, махнет рукой и крикнет:

— К-ши, к-ши!

Но никто не спохватился и не кричал. Мы с бывшим бригадиром Василием Михайловичем, как не поющие, сидели немного в стороне и наблюдали. Василий Михайлович обвел взглядом и притихших мужиков, и баб, смахивающих слезы, и всю живописную картину нашего празднества. Я увидел, как живым огоньком загорелись глаза бывшего бригадира. В них появилось что-то почти детски-восторженное. Он схватил меня за руку и зашептал:

— Володя, Володя, ты гляди... ты гляди... и разбили немцев!

Поминки

В двенадцать часов воскресного дня, когда я собрался прогуляться к реке поглядеть, не подняло ли зимний лед, к нам прискочила Шура Тореева.

— У тети Агаши поминки по Ивану Дмитриевичу. Просила вас прийти. Что ей сказать?

— Скажи, сейчас придем.

— Тогда поскорее, все уж пришли, сидят.

У тети Агаши самый плохонький домик из всего села. У нас в селе, можно сказать, нет плохих домов. Где были похуже — подрубили, обновили, покрасили. Сейчас если лежат перед домом свежие бревна, то это уж на баню. Некоторые берутся за палисадники.

Домик тети Агаши тоже был когда-то новым, справным, ровным. Жили в нем всегда только двое: Иван Дмитриевич, поминать которого нам сегодня предстояло, и тетя Агаша. Детей у них никогда не было. Отсутствие лишних ртов, бережливость и трудолюбие — вот почему в доме Ивана Дмитриевича водились самые белые пышки и пироги. Запасов белой, даже желтоватой, «единоличной» муки им хватило чуть ли не до войны.

Домик постепенно ветшал и одним углом врастал в землю. Но старились и его жители. Много раз говорили старичкам: пора подрубать, задавит. Но Иван Дмитриевич и тетя Агаша точно рассчитали, что на их век хватит.

Сам Иван Дмитриевич много лет работал ночным сторожем: ночью ходил по селу и через каждый час звонил в колокольчик около пожарницы. Сначала старик носил берданку, которая, впрочем, вряд ли была заряжена, а потом стал бродить просто с палкой.

Не могу сказать, был ли Иван Дмитриевич добрым человеком, потому что ничего ни разу не пришлось мне у него просить. Но то, что он был безобидным стариком, подтвердит любой житель села. Свои семьдесят пять лет он ухитрился прожить так, что не обидел ни одно живое существо на свете, не то что человека.

Будучи мальчишкой, я залез однажды к Ивану Дмитриевичу в сад за вишеньем. Наевшись черных, надклеванных воробьями ягод, я стал пробираться к лазейке, через которую влез. У лазейки с палкой стоял хозяин сада. Он ждал меня, улыбаясь в свои рыжие, коротко постриженные усы.

— Ну что, попался? С собой-то много ли нарвал? Совсем не нарвал? Молодец. В другой раз приходи, ешь, только с собой не бери.

Проходя мимо Ивана Дмитриевича, я все же опасался подвоха: не огреет ли палкой. Не огрел. Больше я не лазил к нему за вишеньем.

Последние годы Иван Дмитриевич сторожил не село, а одну только церковь. Он же топил в церкви печь, подметал, зажигал свечи. Весной прибирал возле церкви мусор.

Но церковь закрыли. В ней разместился колхозный склад. Вместо икон и медной утвари появились мешки овса, гороха, комбикорма, ящики с гвоздями, туши мяса, коровьи головы, ноги. Вместо ладана и горящего воска пахло перестоявшейся солониной.

Деятельность Ивана Дмитриевича переключилась на сельский наш магазин. Он тоже там безвозмездно и бескорыстно подметал, помогал продавщице разбирать товары из ящиков, но больше сидел на мешке с солью.

Целый день в магазине народ, разговоры. Старику не скучно. Если бы последить из окна, за день Иван Дмитриевич раз двадцать продвигает валенками в галошах от магазина к дому и обратно. Расстояние, правда, шагов семьдесят, не больше, но так день и пройдет.

Старики в нашем селе умирают все больше в восьмидесятилетнем возрасте и почему-то чаще зимой. Проживешь зиму в Москве, приедешь в апреле в деревню, и кажется чудно, что Сергей Васильевич Бакланихин, допустим, больше не попадается навстречу где-нибудь на тропинке. Так за последние три зимы умерли Иван Васильевич Кунин, Сергей Васильевич и Кузьма Васильевич

Бакланихины, тетка Марья Бакланихина — все за восемьдесят, а Олена Грыбова так и за девяносто.

В селе не говорят вслух, но все про себя знают, чья примерно очередь умирать, кто сейчас самый старый и самый слабый житель. Вот почему смерть семидесятипятилетнего Ивана Дмитриевича всех удивила. Говорили, качая головами: «Поторопился. Очередь была не его».

Умер он в одночасье. С утра болела голова. Пришел из магазина и повалился. Онемели ноги, отнялся язык. Правда, еще целые сутки дышал, но не очнулся хотя бы и на минуту.

Это все произошло в начале февраля. По прошествии сорока дней осиротевшая тетя Агаша устроила поминки.

Теперь нужно рассказать, почему пришла за нами именно Шура Тореева.

Во-первых, Тореевы — соседи тети Агаши, но это еще не вся причина. То, что Сергей Тореев очень порядочный (хотя и не без слабостей) человек, само по себе, вероятно, ничего не решало бы. Нашлись бы в селе и еще порядочные мужики. Тем более что Тореев (или, как все у нас говорят, Торев), не наш олепинский мужик, но пришел «во двор». Теперь-то, конечно, никто не считает его чужим. Весь дом по нему стал называться не Московкиным, а Торевым. Подрастающие поколения, наверно, и не знают, что Сергей пришлый. Но Иван-то Дмитриевич за семьдесят пять лет мог бы воспитать в себе симпатии к кому-нибудь постарше и покорнее. Значит, был еще один, главный, решающий случай.

Тетя Агаша взяла в сберкассе на какие-то нужды восемьдесят пять рублей. Тугим сверточком в платочке положила в какой-то там юбочный потайной карман, приплюхала домой. Через некоторое время к ней пришла Шура Тореева.

— Ну, сказывай, чего потеряла?

— Ничего не теряла.

— Догадайся, чего потеряла, а то не отдам,— смеялась Шура.

Тетя Агаша щупает сквозь юбки свой карман, а в открытую посмотреть не хочет: не любят у нас на чужих глазах деньги считать. Шура наконец сжалилась, подала ей сверточек — восемдесят пять рублей — по деревне деньги не малые.

Иван Дмитриевич с тех пор стал твердить:

— Слушай, старуха, я раньше тебя помру...

— Полно тебе, молчи уж. Я вон какая старая, едва хожу, а ты хоть бы что...

— Не перечь, а слушай. Я раньше тебя помру. Значит, наказываю: держись за Торева.

Вскоре стало известно, что Иван Дмитриевич отписал на Торевых и свою покосившуюся избушку, и то, что было накоплено за долгую и тихую жизнь,— восемьсот рублей. С тем, однако, отписал условием, чтобы как следует похоронить тетю Агашу, когда она умрет.

— Ишь ты, как получилось. Теперь и рассуди,— говорили впоследствии где-нибудь у колодца.— Не пожалела, вернула находку, восемьдесят рублей, тоже ведь не восемь копеек. Ан, через это нашла — восемьсот. Теперь и рассуди.

Тореевы, с первого дня, с самых Иван-Дмитриевичевых похорон, взяли тетю Агашу под свою опеку. Вот почему именно Шура Тореева пришла звать на поминки.

Мы пошли.

Мало того что сам дом был весь перекошен: и завалинка, и окна, и крыша, и труба, даже лавочка перед домом, но и внутри, оказывается, у него перекосились каждый порожек, каждая планочка. По кривому крылечку мы, протиснувшись в кривую наружную дверь, прошли в кривые сени, потом оказались в еще более кривом коридорчике, а потом уж, низко наклонившись, шагнули в горницу.

Как ни странно, горенка в этом домишке, где все криво, оказалась прямой и ровной. Буквой «Т», но не вплотную друг к другу, поставлены два стола. За передним, поперечным столом ко времени нашего прихода сидело семеро мужиков. Значит, я должен был сесть восьмым, да еще пришел вскоре председатель колхоза.

За продольным столом, ближе к дверям, сидели женщины. И за тем и за другим столом потеснились, прогремели табуретками и стульями, мы уселись.

Единственная причина, из-за которой иногда не хочется идти в гости в тот или иной деревенский дом,— водка. И хорошо бы отдать честь, поговорить по душам, но как вспомнишь... Из рюмочек почему-то не принято. Не успеешь устроиться на место, как перед тобой возникает граненый стакан, налитый доверху. Не пойти в гости никак нельзя. Тотчас скажут, что зазнался москвич,

считает зазорным с нами, простыми тружениками деревни... Но пить из стакана (разумеется, не единожды) тоже ведь никак нельзя без риска помереть либо тут же за столом, либо придя домой, на кровати.

Кроме того, я узнал о завещании Ивана Дмитриевича, в котором он просил свою старуху собрать на поминки мужиков и напоить, «чтобы уводили под руки».

На столе стояла следующая еда: селедка с луком и маслом, студень, яйца, крупнорубленые, облитые сметаной, открытые консервные банки с сайрой, консервы в томате, печенье и мед. Без меда не бывает ни одних поминок.

Усевшись, мы прежде всего съели по ложке меда — полагается по обычаю.

— Ну что же, мужики, теперь вроде бы все собрались, помянем...

— Не чокаться, мужики, не чокаться. На поминках не полагается.

Если бы кто-нибудь не видел происходящего, а только слышал, то он по этому возгласу: «Не чокаться, мужики, не полагается» — точно подсчитал бы, сколько раз поднимались от стола тяжелые граненые стаканы.

Велик ли обычай — не чокаться,— но сразу все както притихли, сразу все поняли важность присходящего. Не чокнувшись, выпили и закусили.

— А ведь как помер-то,— доносилось с женского стола. Это значит, вновь пришедшей рассказывают все подробности, как именно Иван Дмитриевич помирал.— Голова, говорит, разламывается. Я говорю, полежи, Ваня. Приляг, пройдет. Сразу, сразу послушался, прилег. Потом как крикнет: «Баба!» Я к нему. А он уж только глядит.

— Как помер-то, а? Такую смерть за деньги не купишь.

— Не купишь, милочка, не купишь.

— Кабы такую смерть бог послал...

— Не говори, милочка, не говори.

У нас за столом тянулась своя ниточка.

— А ведь очередь-то, мужики, была не его.

— Нет, не его.

— Она, брат, очереди не признает. Бывает, вроде и молодой и на вид и так, а смотришь, и нет. А старик живет.

— Известно, скрипучее дерево дольше стоит.

— Вон хоть теперь соседа твоего возьми. Алкоголик? Алкоголик...

— Ну, давайте, мужики. Не чокаться, не чокаться, не полагается.

— Я и говорю. Сосед твой алкоголик? Алкоголик.

— Чего говорить? Запоями страдает всю жизнь.

— А сколько лет?

— Восемьдесят два.

— То-то и оно.

— Постойте, постойте, мужики, я вас спрошу: вино пить вредно?

Это в разговор вступил останинский мужик Николай, по прозванию «Румяный». Он всю жизнь держит пасеку. А так как пасек мало сейчас в наших местах, а мед дорог, то, конечно, живет он крепенько и себе на уме. Рассуждает степенно, не торопясь, не просто болтает языком, в чем можно будет сейчас же убедиться. Лицо у него действительно всю жизнь было румяное, красное, как помидор. Краснота и сейчас еще проглядывает сквозь старческую дубленую желтизну. Ходит он теперь согнувшись и все жалуется, что гора, которую ему приходится преодолевать по дороге в наше село, делается все длиннее и круче.

— Нет, я спрашиваю, вино пить вредно?

— Это... Вопрос, как и сколько.

— Нет, но все-таки много пить вредно?

— Ну, вредно.

— Одеколон пить вредно?

— Неуж. Какая тут польза — одеколон?

— Денатурат пить вредно?

Все начали догадываться, к чему клонит Николай Михайлович, но не перебивали столь стройную систему вопросов.

— А политуру пить вредно?

— Что говорить, известно — политура.

— Древние говорили: Memento mori. То есть помни о смерти,— неожиданно врезался председатель колхоза, приезжий для нас человек, окончивший в Иванове сельхозвуз.

— А что, мужики, давайте, только не чокаться.

— Неужели чокаться? Не полагается.

— Значит, и политуру пить вредно?

— Куда...

— А пудру пить вредно?

— Пудру?!

— Очень просто. Разводят ее водой, отцеживают.

— Значит, все вредно? — обвел нас взглядом торжествующего победителя Николай Румяный.— Значит, долго не проживешь?

— Да уж куда с пудры-то.

— Так, так,— продлевал свой триумф Николай Михайлович,— а Макушкин?

Мы были сражены, повержены в прах, уничтожены. Макушкин из соседней деревни действительно всю жизнь таскал в кармане пузырек с какой-то дрянью и пил из него время от времени. Отхлебывал через каждые полчаса. Денатурат считался деликатесом. Умер Макушкин восьмидесяти с чем-то лет.

— Да! Долго подводил, но подвел. А что, Николай Михайлович, деньжонок ты, знаем, накопил, а золота, поди, нету?

— Приходи с шапкой, насыплю.

— Мужики, а кто мне объяснит, зачем это нужно золото, ну хоть государству, и что в нем есть, и как, и к чему?

— А как же, чудак человек, чай, золото...

— Вот я и спрашиваю, что в нем есть и зачем оно, к какому делу? У нас, например, у колхозников, его нет, а живем.

— Древние говорили: Homo hominis lupus est. То есть человек человеку — волк. Но для нас эт-то не годится,— отрезал председатель колхоза.

Все взгляды обернулись ко мне в надежде, что москвич-то уж растолкует, но заместитель председателя колхоза Александр Павлович взял эту роль на себя.

— Рассуди. Мы покупаем у американцев, они покупают у нас. Можно и без денег. Они нам машину, мы им лесу или водки...

— Неуж у них своей водки нету?

— Значит, против нашей не устоит.

— А что, мужики, давайте, только не чокаться, не чокаться, не полагается.

— И вот получается так, что мы у них взяли товару на сто рублей, они у нас на пятнадцать. Не сходится. Разницу покрываем золотом.

— А... Ишь какая механика. А правда ли, мужики, что мы позапрошлый год целую тонну золота за хлеб отвалили?

— Загнул.

— Не может быть.

— А я слышал — сто тонн.

— Хоть бы и сто.

— И как же это так получается, чтобы Россия хлеб покупала?

— У тебя надо спросить. Ты колхозник. Ты его производишь.

— Почему же у них лишний хлеб оказался? Народу, значит, меньше?

— У них урожай.

— А что, мужики, давайте вспомянем. Очень уж мужик был хорош. Только не чокаться, не чокаться.

— Дай бог ему царство небесное.

Николай Румяный снова взял разговор в свои руки:

— Вот ты скажи... Если тебя начнешь обижать, ты обидишься?

— Ну как же. Кого хошь разозлить можно. Какая корова, и то, если разозлить, рогом ткнет.

— Так. А Иван Митрич был какой?

— Да...

— Ты его убижай..— Нужно заметить, что это «убижай» очень характерно для нашего владимирского говора. Безударное «о» в начале слова слышится как чистое «у»: угород, убязательно, угурец.— Нет, ты его убижай, убижай, нарочно убижай, а он... не убижается! Вот какой был человек.

Начались воспоминания об Иване Дмитриевиче. Мне вспомнились теплые июльские ночи моих студенческих лет, когда я приезжал в село на каникулы. Каждую ночь в два часа Иван Дмитриевич стучал палкой в мое окно и неизменно с одной и той же точнейшей интонацией тянул: «Вова, вставай!»

Я с вечера просил, чтобы он будил меня в этот час на рыбалку. Встанешь, зари еще нет. Едва-едва начинает брезжить. Земля на тропинке сухая, припыленная, а по сторонам на травах тяжелая, как горох, роса. Особенная сладость — успеть прийти на реку, пока не развиднелось. Точно знаешь, что не прозевал ничего, и все, что должно быть, все пока впереди. Если даже и нет клева, все равно не будет думаться, что, наверно, он был на самой ранней заре. Вот она, самая ранняя заря, только еще разгорается за холмом. Еще белым туманом курится тихая

черная вода, еще не прилетел самый первый рассветный ветерок, чтобы поколебать туман и сморщить водное чистое зеркало.

До сих пор у меня в ушах стоит певучая фраза: «Вова, вставай». Теперь все это далеко и безвозвратно не потому, что умер Иван Дмитриевич и никто уж не крикнет: «Вова, вставай!» — так именно, как кричал покойник. Но потому, что, если и встанешь, не слышишь в себе того молодого азарта и трепета, той удивительной радости при виде каждой росинки, каждого румяного облачка, на глазах угасающей, последней голубоватой звезды. Неужели не будет никогда больше этого слова «вставай» и всего, что шло потом за этим добрым предутренним зовом?

— Мужики, мне слово, хочу рассказать про Ивана Митрича! — воскликнул один из поминальщиков. К этому времени стаканы начали делать свое дело. Трудно было одному человеку привлечь к себе всеобщее внимание. И говорили и слушали все сразу, однако тут утихомирились.— Мужики, я вам расскажу. Эх, какой человек был. Еду я из Черкутина с ярманки. Тогда еще ярманки были. Гляжу, сидит на траве Иван Митрич. Какой он был человек, вы сами знаете.

— Неуж.

— Не то что кого, зверя за всю жизнь не обидел.

— Человек-то? Ты его убижай, нарошно убижай...

— Да. Сидит он, значит, на траве и просит отвезти его домой. Я, говорит, тебе меру овса дам, только отвези. Ладно. Привез я его домой, а на телеге, пока вез, его разобрало. Выбегает тут тетя Агаша с поленом, как начала его...

— Стой, стой, это ты не дело. Мы не для этого собрались. Нельзя.

Рассказчик сконфузился, умолк и сел.

— Древние говорили: о мертвых или говори хорошо, или не говори совсем.

Тогда вскочил бригадир Василий Михайлович:

— Давайте я случай расскажу. Пошел я по селу наряжать на собрание. А меня на этом собрании хотели снимать. Он и говорит...— Тут у рассказчика перехватило в горле от воспоминаний, а на глаза навернулись слезы.— Он и говорит: «Я приду. Только можно ли я выступлю за тебя...» — Стакан задрожал у нашего бригадира.— Эх! Вот какой это был человек.

— Не чокаться, мужики, не полагается.

Вдруг относительно тихую, во всяком случае, мирную нашу трапезу нарушил обиженный громкий возглас, усиленный ударом кулака по столу.

— Это, значит, что же? Бригадир говорит — у него правда. А я говорю — неправда? Нет, я всю правду рассказал, и насчет ярманки, и меры овса... Да я за свою правду... А! Вот оно что? Если я говорю — садись, неправда. А бригадир говорит — правда? Пустите меня. Да я за свою правду!..

Может, и дошло бы до потасовки, потому что очень велико и яростно было стремление отстоять свою правду, но ради поминок кое-как успокоились.

Чтобы разрядить обстановку, затеяли разговор о смешном случае, который был всем известен, кроме меня. Все смеялись, вспоминая, лишь я не знал, что к чему. Председатель, сидевший слева от меня, начал рассказывать:

— Человека этого ты знаешь. Человек хороший.— Он назвал мужика из соседней деревни.— Должно быть, с приятелем они зашли в ресторан «Веник»...

Для меня это было ново. Но я сразу догадался, о чем идет речь, и вспомнил Гоголя, который говорит, что русский человек если уж припечатает прозвище, то в самую точку. Здесь, правда, речь идет о прозвище явления, а не человека, но это все одно. Покупая в магазине водку, оглядываются питоки, думают, где бы можно было в тепле присесть, чтобы стакан и стол и можно было положить луковицу, либо поставить банку с консервами. Я не думаю, чтобы одинокая пожилая женщина, Веруха, сама пригласила первую партию. Как-нибудь получилось безыскусственно, но в то же время и неизбежно. Механизаторы, шоферы, колхозники захотят — тотчас идут со своим питьем к Верухе, где безошибочно находят все, что им нужно: относительное тепло, стол, стаканы, краюху хлеба, и даже вилки, и даже воду, если понадобится запить. Не последнее дело и способность поговорить со стороны хозяйки. Тут нет сусального: пожалуйста, проходите, гости милые. Тут все проще.

— Что, опять приперлись? И ты тут (на кого-нибудь в отдельности). Мало тебя жена в четверг лупила? Нальют бельмы-то, себя не помнят.

После такого вступления гости чувствуют себя как-то непринужденнее. Шутят, пьют, тут же, бывает, и поде-

рутся, тут же под лавкой и отсыпаются в случае перебора. Хозяйке этой своеобразной корчмы остаются после всех баталий порожние бутылки — единственная ее корысть. Эту импровизированную корчму, оказывается, и зовут в деревне рестораном «Веник».

Итак, герой приключения, о котором начал рассказывать председатель, побывал у Верухи. По дороге к себе в деревню он решил разыграть комедию. Начал кататься по снегу и кричать: «Батюшки, батюшки!» В деревне было услышано. Жена собрала соседей, подхватила салазки, побежала на помощь. Видят, человек схватился за живот, идти не может, не может даже и встать. Но человек большой и тяжелый, а салазки маленькие. На этом месте больше всего смеялись за нашим столом. Оказывается, плечи детины уместились на салазках, длинные же ноги его несли на весу, на каждую ногу по человеку. Дружно несли с крутой горы, потом в гору. Нужно было переехать реку. Потрудились немало. Притворщику вовремя все свести бы на шутку, пока еще не очень намучились. Но он крепился до самого дома. Это время у него ушло на сочинение частушки. Около крыльца он исполнил свое новое произведение:

В поле вьюга, в поле вьюга,
Белая метелица.
Меня к дому привезли,
А мне и не верится.

Все, кто прибежал к нему на помощь, на выручку, рассердились. Один даже плюнул на салазки. Проказник, как говорится, переиграл. У меня тоже невольно сорвалось, что нельзя, мол, играть на доверии, это, мол, последнее дело. Председатель спохватился, начал всячески хвалить незадачливого шутника. А что хвалить, я и сам знаю, что человек он вполне хороший. Никакой древнеримской поговорки, правда, к этому случаю у председателя не подобралось.

За столом между тем кипели страсти. Наступал тот самый миг, о котором так мечтал покойный Иван Дмитриевич, завещая насчет поминок: пора было всех нас разводить под руки по домам.

Александр Иванович (человек слишком сложный, чтобы о нем можно было сказать в двух словах) встал и сумел создать полную тишину.

— Товарищи,— сказал он, заметно покачиваясь,— что мы делаем? Шумим, смеемся, можно сказать, зубоскалим. А зачем мы пришли? Я предлагаю... Бабы, и вас касается... Я предлагаю вам встать и почтить молчанием.

Деревенские люди не приучены к торжественности. Почти у всех заблестели слезы.

— Так, почтили. А теперь я предлагаю... Здесь председатель колхоза, здесь заместитель, здесь бригадир... Я предлагаю, не сходя с места, постановить: устроить на могиле Ивана Митрича оградку и провести тете Агаше свет.

— Оградку, когда растает и обсохнет, почему же не сделать.

— Как, мужики, со светом? Поручим Сергею Торееву, чтобы взял в свои руки, договорился с монтером и чтобы в двухдневный срок...

Правдоискатель, которому давеча не дали говорить, тотчас оказался в оппозиции.

— А! Когда умер — свет, а почему же раньше, при жизни?

— Да сиди ты, Иван Митрич сам не хотел электрического света.

— Значит, постановили. В двухдневный срок...

Бригадир поднял руку:

— Я вот еще что предлагаю. Поскольку тут с нами, так сказать... по телевизору и все такое... Пусть он опишет. Немного. Заметочку. Все, как у нас было... И все хорошо... Помянули... И все в порядке... И отнесет в журнал или газету.

— Два дня ему мало. Завтрашний день на опохмелку.

— Пущай хоть неделю.

— Ладно. Запомним. Если свет проведете, то и я напишу.

Оказалось, что свет тете Агаше провели именно в двухдневный срок. Мне ничего не оставалось делать, кроме как сесть за стол и открыть чернильницу. Хорошо ли я выполнил поручение, судить не мне. Я старался быть добросовестным.

Счастливый колос

Пожелтевшее спелое ячменное поле граничило в этом месте с мелкой зеленой травкой пологого овражного склона. Травка была не очень зелена теперь, во второй половине лета. Не было в ней той, почти светящейся, почти ослепительно яркой чистоты, которая свойственна всему зеленому миру весной, когда еще не припылило его пыльными облаками, плывущими наподобие дымовых завес с каждой проезжей дороги, не притоптало копытами коров и овец. Да и каждая травинка сама по себе потемнела и пожелтела на солнце и на ветру, как дубеет и жесткнет кожа на человеческом лице к пятидесяти, скажем, годам.

Семену Зотову было уже и за пятьдесят. И был он весь продубленный, обожженный, словно горшок в печи. Этому способствовала работа Семена Зотова, он был комбайнером в совхозе имени Ленина.

Сейчас Семен лежал спиной к ячменю и к своему отдыхающему комбайну, а лицом ко всей остальной земле, которая сначала полого опускалась, образуя широкий мелкий овраг, потом снова подымалась, уже на другой стороне оврага и более круто. Но там ее перегораживал частый ельничек.

Лесок стоял ровный, как старинное войско в ожидании битвы и лишь можжевеловые кусты недисциплинированно торчали вразнобой перед плотной и почти черной стеной. Семен знал, впрочем, что только издали кажется ельничек таким чистым и стройным. Зайди в него — и черт сломал бы себе ноги. Не прореженный своевременно санитарной рубкой, захламленный рубкой случайной и беспо-

рядочной, лесок сидит в земле, как незадачливый, нерастущий ребенок, хотя давно бы пора превратиться ему в медно-красную еловую рощу.

Час назад сынишка Семена девятилетний Шурка принес обед. Семен поел и теперь благодушествовал, пригреваемый солнышком, а Шурка бегал поблизости, шуршал в ячмене.

— Вот ты, Шурка, не знаешь, а я хорошо помню. У меня и записано все. Три тетрадки исписал.

— Чего помнишь-то? — отозвался Шурка.

— Ты какой дорогой сюда шел?

— Через «Дубки».

— А что такое «Дубки»?

— Ну... дубы там растут. Одиннадцать штук, все в один рядок, по линеечке. Значит, кто-нибудь их там посадил.

— Правильно рассуждаешь. А кто? И почему их одиннадцать?

— Не знаю. Растут и растут.

— А я знаю. Потому что, можно сказать, я их и сажал.

— Ты-ы? — недоверчиво протянул сынишка.— Чегой-то тебе вздумалось в чистом поле деревья сажать. Какую даль от нашего дома.

— Я-то был еще малолетний. Я только держал да мешался. А сажал их мой отец, твой дед Василий Васильевич. И чистого поля там не было, а стоял наш дом, располагалась наша крестьянская усадьба. И было нас, детей, одиннадцать человек. Потому и дубов одиннадцать, понял? Второй с этого краю, вроде бы — я, потому что был я предпоследний, а самый младший, крайний, стало быть, дуб — в честь Николая. А Николай погиб на войне.

— Деревня, что ли, на этом месте была?

— Не деревня, а хутор. Жили мы там одни. Три коровы, две лошади, инвентарь. Молотилка, сеялка. Два сарая, небольшой прудик. Сад, огород, как полагается. Большой погреб. Пасека — двадцать ульев. И все это у меня записано в трех тетрадях. Чего сеяли, сколько родилось, какие цены были на базаре, и прочее. А яму, которая недалеко от дубов, ты заметил?

— Куда же все делись, если одиннадцать человек? — перебил Шурка.

— Кто куда. Николай, видишь, погиб. Дядя Миша сам помер. Дядя Костя бухгалтером работает в городе, ты его

знаешь. Зинаида с Олимпиадой на стороне. Я один остался в родных местах, работаю комбайнером.

— Про тебя-то я знаю.

— Знаешь, да не все. Я ведь был активист, или, вернее сказать, застрельщик.

— Кого стрелял-то? — не понял Шурка.

— Не кого, а всякое дело. «Автодор» распространять, закрытие церкви... Это я теперь отстрял. А то я и селькором был, избачом тоже, пьесы разыгрывали, стенгазету выпускали. Лектор из района приедет — прямо ко мне. Введите, говорит, в курс обстановки. Снабдите местными материалами. Фамилии ударников, злостных лодырей? Ну да у меня все записано. Три тетради исписал. Можно сказать, история нашей местности... А книжек этих что прочитано! «Бруски», например, или как это ее... «Ниссо». Ты яму-то около дубов видел или нет?

Неизвестно сколько времени продолжался бы этот урок истории под открытым небом, на границе ячменного поля и отлогого оврага, если бы Шурка не подбежал к отцу в возбуждении.

— Папа! Гляди-ка, какой ячмень!

— Ну какой там ячмень? Обыкновенный. Пиво из него варить будут.

— Да ты погляди! Это нам Наталья Петровна велела за лето гербарий составить: пшеницу, овес, рожь, клевер, все сельскохозяйственные культуры. Вот я и пошел хороший колосок ячменя сорвать.

Семен принял из рук сына колос ячменя и положил его на ладонь. Что-то непривычное, необыкновенное, из ряда вон выходящее почудилось Семену в колосе с первого взгляда, прежде чем он успел осознать, в чем же состоит исключительность этого колоса.

— На, сравни,— подсказал Шурка и дал отцу другой колосок.

— Н-да! — протянул Семен и стремглав обернулся к полю. Глаза его забегали взад-вперед по бесчисленным колосьям, желтым, отяжелевшим, суховато шелестящим на легчайшем полуденном ветерке.— Н-да!

Все колосья были один к одному, как второй Шуркин колосок, но не как первый.

— Где ты его нашел? — строго, почти криком спросил отец, словно Шурка вынес ему с поля не мирный

колос ячменя, а золотой царский червонец или неразорвавшийся ржавый снаряд.

— Тут и нашел. Только ты мне его отдай. Нам учительница велела.

— Ничего ты не понимаешь. Давай скорее искать еще. Как следует надо искать. Ты не понимаешь, что ты нашел!

— А что? Урод какой-то.

— Может, ты и прав. Может, это и есть урод. Но ты знаешь, что такое отбор? Как породу скота выводят, ты знаешь? Да, может, от этого колоска по всему Союзу, по всему миру новый ячмень пойдет. «Зотовец». Понял или нет? Давай скорее искать еще!

— Дай хоть поглядеть, какой он. Я ведь случайно сорвал. Вижу мохнатый какой-то, на других не похож.

Семен между тем держал колос на ладони, поворачивая его так и сяк.

— Не мохнатый, а шестигранный. Да, так и назовем — «шестигранный». Видишь, у других колосьев два рядка зерен, а у этого шесть рядков. Он хоть покороче других колосьев, но ведь шесть рядков вместо двух!

Отец и сын углубились в поиски, забыв про комбайн. Семен сначала только что не бегал бегом по ячменному полю, но потом понял, что лучше ходить тихо и попристальнее вглядываться. В голове у Семена варилась каша из прочитанного в разное время в разных книгах, брошюрах, газетах, на плакатах, услышанного по радио. Вертелись Мичурин и Лысенко, ветвистая пшеница и орловские рысаки, ярославские коровы и земляника «виктория».

Да! Была ведь сначала обыкновенная лесная земляника. Ягоды с ноготок, а потом? С наперсток. С грецкий орех. С куриное яйцо! А все как? Потому нашел кто-нибудь, вот так же, одну большую ягодку. Пересадил кустик. Или, может, от семечек. Дальше — больше. Из нового урожая опять самую крупную... А здесь-то у нас! Не просто крупное зерно ячменя — шесть рядков, зерен! Революция в сельском хозяйстве. Переворот! А «невежинская» рябина как? Нашел человек в лесу одно дерево послаще других, выкопал и принес домой. Пастух безымянный нашел. А теперь по всей России славится «невежинская» рябина. Получается, что выведен новый сорт. «Невежинской» зовут ту рябину в честь села Невежина. Там развелась она от одного случайного деревца, оттуда и пошла.

А мы свой сорт как назовем? «Зотовец шестигранный». Или, может, в честь совхоза — «ленинец» или «ленинский». Не годится. Неизвестно, где выведен или как. Совхозов Ленина, я думаю, по Союзу не одна сотня. А если по селу назвать — «семендюковский»? Тут и «Семен» слышится, как нарочно, и семена. Но все — не то. Лучше не придумаешь, чем «зотовец шестигранный». Долго еще бродил по полю Семен, но в этот день ни ему, ни Шурке не было больше счастья. Шурка побежал домой, и Семен его строго предупредил:

— Ты вот что, Александр, пока об этом никому не болтай. Еще неизвестно, что выйдет. Может, не прорастет. Сначала мы сами, тихонько попробуем. Попросим у матери кончик грядки...

Ночью Семен не мог уснуть. Как только закроет глаза, как только начнет наливаться голова сладковатой, теплой темнотой, сразу и пошли покачиваться усатые ячменные колосья. Этот, особенный, не представлялся Семену, не выплывал в поле зрения, а все те, обыкновенные, двухрядные.

«Вдруг посеешь,— думал Семен,— а вырастет обыкновенный ячмень. Скорее всего так и получится. Но попробовать надо. И, главное, поискать еще. Неужели в целом поле он был один?»

Через два дня Семен попросил у Шурки чистую тетрадь и на обложке старательно написал: «Краткие записи о производившихся работах с ячменем. Начато в 1962 году в совхозе им. Ленина».

Тотчас появилась и первая «краткая запись».

«В 1962 году на общем массиве рядового ячменя у места, называемого «Дубки», мой сын Александр Зотов обнаружил один совсем отличный от обыкновенного ячменя колос — расположение зерен в колосе в шесть рядков вместо двух рядов у обыкновенного ячменя, за что он был нами сразу назван «шестигранным». Ряды зерен на колосе образуют шесть граней...»

Тут Семен попытался нарисовать, как торчат в разные стороны шесть зерен, и у него получилось очень похоже.

«Вид колоса в поперечном разрезе»,— подписал он под своим рисунком. Выходило все как-то очень по-настоящему. Как на каком-нибудь плакате или в журнале. Семен представил на миг, как все то же самое будет написано однажды и нарисовано на настоящей книжной странице,

и ему поверилось в то, что это обязательно будет. Да и не может не быть. Только не вырос бы из найденных зерен обыкновенный ячмень. Говорят, даже мичуринские сорта снова перерождаются в дички. И у Лысенко ветвистая пшеница тоже превращалась вновь в обыкновенную.

Пониже рисунка Семен продолжал свою первую запись.

«После длительных и тщательных поисков на этом участке мной было обнаружено еще два колоса...»

Времена года и раньше сменяли одно другое. Кто-кто, а комбайнер Семен Зотов знал, когда и как приходит весна, и ждал ее, зимуя почти в бездействии. Работа сезонная. Зимой ремонт и кое-какие мелочи. Успевал и съездить в Москву, погостеваться у Зинаиды и Олимпиады, и начитаться книжек. По вечерам ходил в клуб. Участвовал в самодеятельности — читал со сцены отрывки из «Василия Теркина», удачно воспроизводя некоторые интонации московского артиста, читающего обыкновенно эту поэму по радио. Но если бы спросить одним словом у Семена, что делает всю зиму, мог бы Семен одним словом ответить,— ждет весну.

Никогда не ждал с таким нетерпением. Разве только еще охотники да рыбаки ждут так же нужного времени года, едва ли не каждый день перебирая и пересматривая охотничье снаряжение и рыболовные снасти и словно замирая душой от сознания того, что никуда этот сезон не денется, обязательно наступит, хотя и не верится, что может не в мечтах, не во сне быть такое, чтобы утка летела над утренним камышом или чтобы дрогнул на тихой воде и пошел в сторону и в глубину поплавок.

Сводки погоды — замирало все в доме, когда начинали их передавать,— казались однообразными и тупыми, потому что в них не было явлений и бурно нарастающих признаков начинающейся весны.

Семен наблюдал за солнцем, за сосульками, за облаками, за проталинами и, конечно, за барометром, стуча по нему указательным согнутым пальцем по многу раз в день.

Тут попалась ему в руки книжка «Народные приметы» и предсказания погоды, и он читал ее, как любовный роман. «Если на Николу (19 декабря),— говорилось в книге,— день холодный и ясный,— к хлеборобному году». Это само по себе было хорошо, но книжка попалась Семену в руки уже после Николы, в феврале, и теперь

нельзя было воссоздать и вспомнить, какая же погода стояла в Николу. Тут еще возникало противоречие. Семен ведь ждал скорейшего прихода весны, а оказывается, по утверждению народных примет: «ранняя весна ничего не стоит». «Поздняя весна не обманет».

Остальные приметы были почти что без пользы, только будоражили воображение и как бы переселяли Семена в то самое время, которого он с нетерпением ждал, то есть в зеленое и теплое лето.

«Соль волгнет — к ненастью». «Журавель на колодце скрипит — к перемене погоды». «Утром маленький дождь — днем хорошая погода». «Если дождь пошел с обеда — затянется на сутки». «Тихая, светлая ночь без росы — жди на следующий день дождя». «Рога луны острые и яркие — к ведру». «Золотая заря на западе (без розового круга) — признак хорошей погоды». «Багровые зори — к ветрам»...

Много там было еще разных примет и простых и мудреных. За каждой строчкой, за каждым словом возникали для Семена сладчайшие картины природы: то дождичек начинал шуршать в древесной листве, то загорались и светили земле эти самые тихие, золотистые закаты.

А погода между тем, совсем уж решившись на весну и уже дохнув сыроватым теплом, от которого оседали снега, снова раздумывала и поворачивала на холод. И так же как охотники и рыболовы перебирают и пересматривают без надобности свое снаряжение и свои снасти, так и Семен то и дело доставал банку из-под чая, вынимал из банки темную фланелевую тряпку, разворачивал ее и пересчитывал ячменные зерна.

Посеять он наметил тридцать два отборных зерна. Еще тридцать зерен решил оставить на всякий случай, если бы эти, гвардейские, почему-либо не взошли. Погибли бы летом от болезни, от вредных насекомых, да и мало ли от чего. Рисковать тут было нельзя.

С каким бы нетерпением ни ждал человек важного, заветного события в своей жизни, оно все-таки наступает, приходит. Пришла, никуда не делась, не обогнула стороной село Семендюково и эта весна. Увидев первого грача, Семен почувствовал на душе праздник, а когда над проталинкой величиной с полу пиджака взвился вверх хрустальный, серебряный, золотой колокольчик жаворонка и зазвенел там, в синеве, Семен не удержался и перед

обедом поставил на стол бутылку рома, привезенную зимой из Москвы.

Грядку выбирали втроем: сам Семен, сын Шурка — не главный ли виновник всего происшествия — и жена Семена Валентина Ивановна, чаще Валя, и еще чаще просто — мать.

— Ты, мать, давай мне самую хорошую гряду.

— Все хороши. Навозу прошлый год сколько ввалили? Не земля — а сдобный пирог. Твоему совхозному ячменю такая земля и во сне не снилась.

— Ну, ладно, хорошо, хорошо. Это вроде уже мода теперь совхоз ругать. А ведь и там мы же работаем. Хлеборобы-механизаторы.

— Вот тебе — чем не гряда! Прошлый год под морковью была. По бутылке каждая морковина.

Семен внимательно, со всех сторон оглядывал место.

— Не годится. С севера очень уж открыто. Надо чтобы с севера кустики, вишенье, а с юга — припек.

— Припек, припек! А может, ячмень не любит твоего припека. Может, он продувной ветерок любит. Полевая культура. Вырастишь ее здесь в тепличных условиях, изнежишь, а в поле перенесешь, он и не выдержит.

— Грамотные какие все стали! — бурчал Семен, но видел в словах жены некоторую правоту.

Все же облюбовали конец грядки, такой, что и с севера не очень открыто, но и с юга не совсем уж теплота.

— Огородить бы чем...— сам себе предлагал Семен.

— Мало тебе, что огород огорожен? Что ему сделается, твоему ячменю?

— Куры зайдут, разворошат, или грач...

Землю Валентина Ивановна разделала мягче пуха. Семен еще и сам прошелся по ней руками, ощупывая ее, как слепой, и разминая каждый комочек, если попадался крупнее горошины.

За этой работой Семен поймал себя, что там, на комбайне, может быть, он и механизатор, но вовсе не хлебороб. Да и трактористов, то есть пахарей и сеятелей возьми. Или они землю, или они погоду чувствуют, как он почувствовал и то и другое в эту весну? Конечно, явный дождь дает себя знать: на поле не въедешь, приходится простаивать без работы. Но кто же из целого совхоза ждет наступления весны с душевным трепетом и с замиранием сердца? Кто с тревогой поглядывает каждый день на за-

кат: просто ли там золотистая заря или с розовым кругом или багровое небо?

К машине своей, к мотору, к разным подшипникам механизатор прислушивается более, чем к земле, к прорастающим из нее росточкам и к небу, несущему этим росточкам то ли гибель, то ли полноправную жизнь.

Словно какая-то изоляция, воздушная, подушка пролегала все эти годы между душой Семена Васильевича Зотова и той землей, по которой он елозил на своем громадном и гремучем комбайне. И была некая глухота, некая безсолость, безвкусность на душе, как если бы купаться в водолазном костюме, нюхать цветы сквозь целофан, подставлять лицо дождю, натянув липкую резину противогаза.

И только теперь над квадратным метром любовно обработанной земли и над тридцатью двумя опущенными в ее прохладную плодоносную темноту ячменными зернышками Семен почувствовал, что все перегородки, все целлофаны упали и он прикоснулся к чему-то самому заветному, как оголенный провод прикасается к оголенному проводу, как голое тело прикасается к прохладной речной воде или как лет тридцать пять назад, на полуночном крыльце, с Надюшкой Малышевой, протиснувшись через расстегнутую верхнюю пуговицу и через какие-то там бесчувственные тряпки, услышала ладонь неизъяснимую, горячую нежность девчоночьей груди.

Сколько разного машинного масла налипало на руки, сколько грязи, сколько мыто бензином и мылом, сколько тер их о штурвал, а и до сих пор слышит ладонь тот ожог, и не затрешь, не смоешь, не остудишь его ничем никогда.

Из земли проклюнулись двадцать девять росточков. Три зерна выпали по неизвестным причинам. Зато от некоторых зерен потянулось по нескольку стебельков.

— Это что же такое,— дрожал от возбуждения земледелец Семен,— это что же такое получается. На каждом колосе по шесть рядов зерен, а от каждого колоса по четыре, по шесть стеблей? Это что же за ячмень у меня вырастет? Какие же будут урожаи?!

Лето прошло, можно сказать, без приключений. Один только раз, будучи в поле и поглядев на край неба, заливаемый темной тучей, Семен вспомнил книгу о приметах погоды, а именно, то место, где указано, что «темно-синяя окраина ливневого облака — признак ливня, и стальная

серая окраска — признак ливня и града». Бросив среди поля свою тихоходную машину, Семен побежал в село. Вдвоем с Валентиной они держали над зелеными колосьями за углы прозрачный Валентинин плащ, пока стукались в него и соскальзывали в стороны голубоватые, но, впрочем, редкие градины.

В тетради появились новые краткие записи, и было странно самому Семену, как это целые месяцы ожиданий и тревог, десятки дождей и зорь, зеленоватых рос и желтоватых жарких ветров укладываются в несколько строчек сухого текста.

«...Особенность данного ячменя несомненно представляла хозяйственный интерес и, отобрав лучшие зерна из этих колосьев (страховой фонд), в следующем 1963 году я посеял на грядке в огороде 32 зерна. Урожай был собран 470 зерен».

«В 1964 году, отобрав зерна лучших колосьев, было посеяно 250 зерен в смеси с горохом сорта «виктория». Урожай был снят — ячменя 125 гр. Гороха 56 гр. Общий урожай 181 гр. Что в переводе на 1 га составляет 18,1 ц. Количество зерен в колосе было в наименьшем 18, в наибольшем 42 зерна. Произведя соответствующий отбор, весной 1965 года на приусадебном участке ячмень был посеян двумя фракциями (чистый и в смеси с горохом). Ввиду дождливой и холодной погоды ячмень удалось посеять только 25 мая. Урожай ячменя с обеих фракций снят 320 гр».

Между этой и следующей записями пролегло большое событие. Семен Васильевич решился наконец открыть свою тайну директору совхоза Николаю Матвеевичу Горбаченко.

Рисовать ли классическую картину вхождения комбайнера в директорский кабинет? Эту фуражку, скомканную в руке, это топтание у двери, пока директор закончит длинный и громкий разговор по телефону? Ничего этого не было. Они встретились на улице около конторы, и Семен Васильевич сказал директору, что надо бы поговорить.

— Ну так пошли! — пригласил директор и возвратился в кабинет, хотя собирался уезжать в район — уже и «газик» стоял у дверей конторы.

Чем дальше рассказывал комбайнер о своих доморощенных опытах, тем незаметнее было, нравится директору

эта затея или нет. За многие годы руководства то колхозом, то МТС, то «Сельхозтехникой», то отделом в райкоме, то вот теперь совхозом Николай Матвеевич выработал одно, может быть, самое необходимое для начальника качество: его подлинные мысли и чувства никогда не отражались на лице. После разговора одинаково можно было ждать: бросится ли он поздравлять и пожимать руку или распечет и строго предупредит.

Когда комбайнер закончил всю свою историю, Горбаченко некоторое время молчал. Причем Зотов думал, что он собирается с духом опровергать и ругаться и только не знает, с какого конца начать, а директор между тем, все поняв и мгновенно все оценив, решал в душе единственную задачу: подключать к этому делу агронома или не подключать.

С одной стороны, вроде бы и неловко обходить стороной хозяина полей и агротехники, с другой стороны, получится иное звучание, одно дело — агроном, и другое дело — рядовой комбайнер. И Зотову будет обидно. Он нашел, он вывел... Ну или выведет... Зачем же ему свою славу делить с агрономом? При чем агроном? Совхозу же слава одна, даже еще и больше.

И, главное, недолго теперешний агроном наработает в совхозе. Что-то скрипит и потрескивает в его работе, в его отношениях с коллективом и директором. Не нынче-завтра подаст заявление об уходе. А этот факт, может, и подтолкнет.

Пропустив через свою мозговую машину всю эту механику и получив нужный и твердый ответ «не подключать», Горбаченко не выдержал марки и просиял.

— Ну и счастливый же колосок нашел твой Шурка! Да понимаешь ли ты, что это такое значит? Погоди, а что у тебя на сегодня есть?

— Все есть. Семена и колосья, краткие записи в тетради. Свидетели: жена моя Валентина Ивановна...

— Ну, свидетели нам пока не нужны, а вот семена... Много их у тебя?

— Шестьсот четырнадцать грамм.

— Ого! Значит, так. Совхоз оказывает тебе всемерную помощь. Присваивает тебе звание «Опытника». По необходимости освобождает от весенних работ. Но только одно дело — гряда в огороде, другое дело — полевые условия. Поэтому давай пока языком не болтать. А то знаешь пого-

ворку: «Похвалился, да в яму и свалился». По-украински это будет: «Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь». Ты вот что. Выбери себе участок поля, там, где будет обыкновенный ячмень. Ну сколько на первый случай?.. Ну, я думаю, метров двадцать пять. Ручным способом аккуратно посей. С сеяльщиками договоримся, чтобы они этот участок не засевали. И в огороде продолжай культивировать... так, говоришь, как ты его назвал? Шестигранный? Ничего, потом твое имя ему присвоят. «Шестигранный Зотова» или «шестигранный зотовский». А?

— «Зотовец», может? Покороче...— поправил Семен Васильевич и почему-то зарделся, как от стыда.

— Ну это дело десятое. Пригласим областную комиссию, компетентных людей. Потом — государственную комиссию. Дело не шуточное. А колосики-то дай поглядеть.

— Сейчас?

— Хоть и сейчас.

Вскоре Зотов снова вошел в кабинет директора. Он вошел, оглянулся на дверь и вынул из кармана газетный сверток. Развернул сначала одну газету, потом другую, потом третью, и тогда оказались перед директорскими глазами три мохнатых (словно шмель по сравнению с обыкновенной тщедушной пчелкой) и впрямь шестигранных ячменных колоса.

...Записи в тетрадке закрепляли неторопливые, но по верному пути развивающиеся события.

Между прочим, Семен Васильевич, как человек в самом деле начитанный и передовой, почувствовал, что мастерская природы может вовсе не замечать этого ритма и не думать о нем, если отдаться его течению, а может очень даже им тяготиться, если вздумает повернуть свою волю поперек движения, не говоря уж о том, чтобы встречь.

Допустим, тот же Мичурин, когда выводил свои сорта. Привил дерево, небось не терпится узнать результат. Но жди много лет, пока вырастет, пока начнет плодоносить. Потом выясняется, что нужно внести поправку. Внес. Опять жди, пока дерево вырастет и созреет. Ритм исчисляется не секундами, не часами, но поколениями. И как же быть человеку, если весь он укладывается в одну собственную жизнь.

Ячмень — не дерево, но все равно посадил зернышко — не торопи. Пока прорастет само, пока выбросит ко-

лос, пока получатся зерна нового поколения. Захотел посадить еще — жди новой весны.

От записи до записи проходил год. Но все же годы шли, и записи появлялись.

«В 1966 году посев ячменя произведен на приусадебном участке на площади 100 кв. м. Семян высеяно 140 гр. Урожай получен 2300 гр. В переводе на гектар 23 ц, по зерну сам-18.

В этом же году посеяно в поле ручным способом на площади 25 кв. м. 255 гр. Урожай получен 2900 гр. В переводе на гектар 11,5 ц. Урожай по зерну сам-11.

В 1966 году количество зерен в колосе от 18 до 48 шт.

В 1967 году ячмень посеян на приусадебном участке на площади 13 кв. м. 10—11 мая. Семян высеяно 200 гр. Собран урожай 3 кг, в переводе на гектар 23 ц, урожай по зерну сам-15.

В том же 1967 году выделена опытная делянка в поле площадью 0,06 га, где высеяно 6 мая рядовой сеялкой ячменя 5 кг. Норма высева выразилась 86 кг на 1 га. Урожай снят 123 кг, что в переводе на гектар составляет 20,5 ц. Урожай по зерну сам-24.

Наибольшее количество зерен в колосе доходило до 52 штук.

Ячмень имеет склонность к кучению. При указанной норме высева кучение обнаружилось 4—6—8 стеблей от одного зерна. Норма высева каждый раз бралась намного заниженной с целью получения большого количества зерна от высеянных семян, а также с целью воспитания ячменя на кучение и на наибольший вес каждого колоса.

Отбор зерен для посева каждый год проводился от крупных правильных колосьев, от кустов с наибольшим количеством стеблей».

Семен Васильевич почувствовал, что пора подводить итоги. Бумагу он озаглавил так: «Систематизированный материал о шестигранном ячмене, составленный на основании кратких записей о произведенных работах с ячменем в 1962—67 годах в совхозе им. Ленина».

Заканчивалась бумага резонным выводом: «Рекомендую дирекции совхоза вести дальнейшую работу по размножению и оказывать мне помощь по улучшению данного сорта ячменя, как перспективного для высоких урожаев и представляющего хозяйственную ценность.

Опытник, комбайнер совхоза имени Ленина Семен Зотов».

На основании этой бумаги Николай Матвеевич Горбаченко послал письмо в область, поговорив сначала по телефону, куда посылать и какое именно письмо, в какой форме. По голосу на другом, далеком, а вернее, высоком конце провода директор понял, что и там известие о необыкновенном ячмене произвело свое действие.

Через несколько дней Зотов принес в контору еще одну небольшую бумагу. В ней значилось:

«Я, Зотов Семен Васильевич, заявляю, что выведенный мною новый сорт ячменя шестигранного я передаю в полное распоряжение совхозу имени Ленина на благо нашей великой родины. Ни я сам, ни мои дети, ни сегодня, ни в будущем не должны иметь никаких претензий на этот сорт ячменя, а так же никаких вознаграждений. Прошу также не присоединять моего имени к названию сорта, а называть его впредь ячмень «шестигранный».

Николай Матвеевич прочитал это, как завещательное распоряжение и поднял на Зотова не то недоуменный, не то восхищенный взгляд.

— А не поторопился ли ты, Семен Васильевич? Это, конечно, хорошо, скромность, как говорится, украшает. Ну, а если на премию представят, тогда как? Не весь же совхоз на премию представлять? Ты трудился пять лет. Ты нашел. Я тебе советую так: бумажку эту ты не выбрасывай. Но держи пока у себя. Мало ли. По ходу дела увидим. Областная комиссия приедет во вторник. Готовься держать экзамен.

— Готовиться нечего. Дело само за себя говорит. От трех колосков пуды зерна.

— Я тоже думаю, что никаких недоразумений здесь быть не может.

При выходе из конторы Семен Васильевич столкнулся с совхозным агрономом, молодым специалистом и молодым человеком Петей Головиным, у которого в работе, по словам директора, что-то скрипело и потрескивало. Может быть, потрескивание это шло от подчеркнутого независимого вида Пети Головина, от нарочито небрежных поз на деловых совещаниях, от некоторой резкости его суждения, а может, от неумения притираться к людям и к коллективу.

Вот уж шестой год работает он в совхозе и пора бы притереться, и пора бы уже называться Петром Сергеевичем, а не Петей Головиным, но все что-то крошилось у Пети Головина и вот именно скрипело и потрескивало.

То ли агроном с самого начала знал, что его сознательно не привлекли к работе над ячменем, то ли он вовсе не знал ни о каких таких опытах, потому что Зотов работал аккуратно и тихо, но ни разу за все время агроном не остановил комбайнера, не спросил, не намекнул даже, не показал обиды и неудовольствия.

Теперь, когда можно считать, что все уже позади и до вторника остается четыре дня, Зотову, столкнувшемуся в дверях с агрономом, сделалось как-то виновато и даже совестно. Агроном же и на этот раз не подал никакого вида, только в краешке рта — заметил опытник — притаилась у него легонькая усмешка. От этой усмешки (еще вопрос, была ли она) у Зотова невольно почему-то защемило сердце, даже отозвалось под левой лопаткой, словно укололи вязальной спицей.

Агроном прошел уже мимо, как вдруг обернулся и окликнул Зотова, тоже успевшего отойти.

— Семен Васильевич! Я слышал, комиссия скоро приедет. Когда?

— Во... вторник. Может, вы бы, Петр Сергеевич... как специалист...

— Время у тебя еще, Зотов, есть. Поезжай сегодня же в область, пойди в областную библиотеку, попроси энциклопедию. Запомнишь? Эн-ци-кло-пе-ди-ю. Открой ее на букву «я». Найди про ячмень. Советую сделать это тебе до комиссии. Компривет.

— Это зачем же?

Агроном смерил Зотова насмешливым взглядом.

— Ну... Чтобы знать общие сведения. Вдруг придется разговаривать с комиссией, отвечать на вопросы. Нельзя же выставлять себя полным невеждой.

В этот день поехать в область Зотов никак не мог. Да он и не придал словам агронома никакого значения. Но чем больше проходило часов, тем беспокойнее и хуже становилось у Зотова на душе. Ночью стало и совсем плохо. Ни с того, ни с сего Семен Васильевич обливался липким противным потом, ворочался. Дурные предчувствия томили его. Только перед самым утром забылся он болезненно бестолковым сном, когда человек спит и помнит себя...

— Какую же вам энциклопедию? — спрашивала Зотова молодая красивая библиотекарша несколько часов спустя.— Их ведь много. Большая Советская, Малая, «Гранат», «Брокгауз и Ефрон». Начните с этой последней. Вам нужна буква «я». Сейчас найдем. Вот. В восемьдесят втором томе. Пожалуйста. Садитесь за мой столик. Только курить у нас нельзя.

— А я как раз не курю,— заверил Зотов, принимая в руки старинную с золотыми буквами на корешке и что-то затаившую в себе книгу.

Так. Буква «я». Яйцо. Несколько страниц шло про яйцо. Семен попробовал вчитаться по своей любви ко всякому чтению, а в особенности содержащему новые неизвестные факты и данные. Именно такое чтение Семен любил больше всего.

С первых строчек он понял, что у него в руках не книга, а клад интересных знаний. Он пожалел, что только на шестом десятке оказалась у него в руках столь драгоценная, столь чудесная книга. И некому было ведь посоветовать вовремя. До всего доходи своим умом. Наверно, есть вещи, до которых так и не успеешь дойти. А ежели бы с этой книги с первой начать? А?!

Наткнувшись на «яйцо», Семен Васильевич стал искать про куриные яйца. Но энциклопедия не торопилась. Шло сперва про яйцо вообще. Оказалось, что яйцо есть «женская половая клетка в ее окончательном сформированном виде». Потом началось про яйцо у растений. Замелькали непонятные слова, множество иностранных слов. Ага! Вот и просто яйцо. Семен Васильевич жадно читал.

«Предметом международного обмена Я. стало очень недавно, вследствие того что товар принадлежит к группе скоропортящихся пищевых продуктов».

Столбиком пошли цифры, кто сколько вывозит.

«В России общей переписи птичьего населения никогда не было, и потому все попытки учесть его являются более или менее приблизительными. По приблизительным соображениям некоторые знатоки русского птицеводства (Н. В. Петров) определяют куриное население европейской России в 100 миллионов штук, а производство яиц в 6 миллиардов штук. Другие исследователи увеличивают эту цифру почти вдвое. Принимая в основание упомянутую цифру производства Я. в шесть миллиардов, окажется, что сама Россия потребляет две трети, а одну треть

вывозит за границу. Цены на Я., смотря по времени года, подвержены большим колебаниям в 1900 году 25 р. 75 к. за тысячу...»

Яйца кончились, и началась Якутская область, на которой Зотов не стал задерживаться, так же как на Японии и Японском искусстве. Но ярмарки его зацепили.

«Места периодического съезда торговцев и привоза товаров... Всего в России 18.452 ярмарки с оборотом 1.098.000.000 рублей».

Зотову вспомнилось, как и сам он ездил с отцом в Петров день и в Успенье на ярмарку в то самое Семендюково, в котором теперь совхоз. Поплыло перед глазами у Зотова что-то пестрое, яркое, оживленное, запахло дегтем, рогожами, воблой и мятным пряником.

Однако начинало уже щемить там, около сердца и само сердце, и снова укололо в лопатку так же, как в тот самый миг, когда усмехнулся агроном, и щемило теперь все сильнее и явственнее. Значит, подбирался теперь Зотов к чему-то очень главному и решающему, хотя и шла пока еще невинная «Ярославская губерния».

Вдруг ударило по глазам слово, напечатанное как будто крупнее, жирнее и чернее других слов. Оно показалось Зотову каким-то даже траурным, короткое и обыкновенное слово «Ячмень».

Торопливо перескакивая со строки на строку и снова возвращаясь наверх, начал он читать сокращенные, измельченные, плохо читающиеся слова.

«Ячмень. Одно из главных хлебных растений вообще и в частности, один из важнейших продуктов полевого хозяйства России. Разводится ради зерен, являющихся пищевым продуктом, материалом для пивоварения и кормовым средством для скота. В муку для целей хлебопечения размалывается редко, так как не дает пористого теста... Как материал для пивоварения Я. очень ценится и почти незаменим.

В Туркестане, в Вост. Закавказье, Аравии и многих других местах корм Я., как корм для лошадей, заменяет собою овес, выгорающий в знойное лето, и на этом корме создались арабская и близкая к ней карабахская лошадь.

Я. принадлежит к числу древнейших культурных растений, найден в самых древних египетских гробницах и в остатках озерных, свайных построек (т. е. в каменном и бронзовом веках...)»

Разделение ячменя по губерниям России Зотов пропустил, отметив про себя, что эти сведения теперь устарели.

«В ботаническом отношении вид (два заграничных слова), к которому относится довольно большое число разновидностей ячменя, характеризуется тем, что одноцветные колоски собраны в группы по три и расположены на изгибах колосового стержня. В зависимости от того, все ли цветы в группах колосков приносят плоды и как колоски располагаются на самом колосе, а также все ли колоски снабжены остями, различают три постоянных разновидности: 1) шестирядный (или шестигранный) Я. (два иностранных слова), колоски которого составляют шесть равно расположенных от колосового стержня и одиноких рядов зерен и имеет по их числу столько же правильно расположенных остей. 2) Четырехрядный... 3) Двухрядный.

Настоящий шестирядный ячмень встречается в культуре сравнительно редко, по преимуществу в Южной Европе (Исп., Порт., Италия и в некоторых более высоких местах Альп). У нас он встречается изредка в некоторых южных губерниях. По всей вероятности это наиболее древняя форма ячменя...»

— Товарищ, товарищ!

Зотов никак не мог понять, что окликают его.

— Я вам подобрала букву «я» в других энциклопедиях. Возьмите.

Семен Васильевич не слышал и не соображал ничего. В одно мгновение, как в испортившемся кино, проскочили в сознании и тот зеленый лужок, где лежал тогда после обеда и где Шурка показал ему первый мохнатый колос, и зерна, лежавшие на ладони, и лицо председателя, и записи, и завещательная записка с глупейшей постыдной просьбой, и усмешка на губах агронома, и неотвратимо нависающий вторник. Потом все это расступилось, словно обманчивая трава на болоте, и разверзлась под Зотовым темная бездонная хлябь.

Библиотекарша, видя, что читатель не поворачивает головы, понесла ему три тяжелых тома. Когда она подошла вплотную, мужчина поднял на нее туманные невидящие глаза и вдруг странно обмяк и повалился на бок.

Девушка уронила книги и бросилась сначала к упавшему, потом к телефону.

— Але! Але! Скорая помощь... областная библиотека... Наверное, сердечный приступ... Лежит на полу!

Выздоравливал Семен медленно и долго. Ему запрещали шевелиться, запрещали читать, запрещали разговаривать. По правде сказать, ему и не хотелось делать ни то, ни другое, ни третье.

Только потом уже, на втором месяце болезни, вернее сказать, выздоровления, где-то в душе, внутри противной, серой, холодной пустоты начала шевелиться тепленькая светленькая живинка. «Если встану,— смутно думал Семен,— эту энциклопедию начну читать с первого тома. И чтобы все восемьдесят четыре».

О прошлом он не жалел. Может быть, подсознательно понимал, что за то счастье, которым он был счастлив целых пять лет и которое дается человеку только изредка, одному из многих и многих тысяч, надо же было чем-нибудь заплатить.

Мокрый снег

До недавних пор здесь был кирпичный завод, который закрылся, распался и как-то сам собой стерся с лица земли. Уцелела только бывшая контора завода — деревянный дом из шести комнат, в которых размещались некогда и директор завода, и бухгалтерия, и все, кому полагалось по штату сидеть в конторе.

Земля вокруг, возможно, и хранила следы кирпичнопроизводственной деятельности, но я никогда не бывал в этом месте летом, а ездил всегда зимой, когда глубокий и чистый снег покрывает все бугры и ямы, все язвы и раны истерзанной неугомонным человеком земли. И большого озера, начинающегося недалеко от упомянутой конторы, я тоже не видел в летнее время, когда оно бывает, наверно, то серым, то синим, а видел все время только ровную белоснежную плоскость с желтым шуршащим под знобким январским ветерком камышом по краям.

Контора располагалась в свое время на некотором отшибе от самого завода и отделялась от него узкой — в сто шагов — полосой старых сосен. А окна ее смотрят на озеро. Получается уж не контора, а вилла, дача, курорт. Я и облюбовал ее для того, чтобы иногда зимой приехать на месяц или хотя бы на две недели покататься на лыжах, наглядется на озерный и небесный простор. Ну и работа на первом месте: стол с бумагой, книги, тишина, одиночество.

Необходимо время от времени сослать себя в добровольную ссылку подальше от большого города и от всех, как правило, суетных дел, связанных с ним. На зимнем метельном ветерке проветрится, просвежится душа, отстоится во время тихих пушистых снегопадов и тогда в мо-

розный, запушенный инеем день посмотришь самого себя на просвет и увидишь всю муть в себе, но и весь свет в себе. И яснее станет, что делать дальше.

Все комнаты в конторе были неказисты на вид. Обои потемнели и местами ободраны. Из-под них выглядывает газетная подкладка, измазанная серым клейстером. Подойдешь, прочитаешь фразочку и сразу поймешь, какой давности эта газета, какой великой и бессмертной эпохи, какого великого десятилетия. Поковырявшись в газетной подкладке, я докопался до военного слоя: «От Советского информбюро».

На тех местах, где висела в конторе наглядная агитация — объявления, призывы и графики,— сохранились на обоях более светлые места, прямоугольные пятна.

Сохранились еще тут конторский шкаф, директорский стол, два стула, табуретка, печка-голландка, не истребимый ни морозом, ни временем табачный дух, да еще — как курьез — телефон, который будет потом играть некоторую роль в этой грустной лирической истории.

Из всех шести комнат я оборудовал себе под жилье одну — бывший директорский кабинет. Она, эта комната, и с самого начала выглядела почище других. В ней была своя, самостоятельная печка, от остального дома комната отделялась не перегородками, а капитальной стеной и хорошо держала тепло.

Из конторского шкафа я выбросил полки, прогибавшиеся раньше под канцелярскими книгами, и получил таким образом платяной шкаф. Директорский стол был даже просторнее моего московского письменного стола. Черная клеенка на нем местами изрезана и порвана, но когда я раскладывал свои бумаги, то все огрехи загораживались и выходил прекрасный рабочий стол. Настольную лампу я выпросил в соседнем совхозе (в полутора километрах), а железную кровать с шишками и почти сохранившейся никелировкой подобрал в ближайшей деревне (в трех километрах): выставили на улицу, приобретя, как видно, модный ныне раскидывающийся диван. У этой кровати имелся только один-единственный недостаток: она была слегка широковата для одинокого отшельничьего спанья.

Если учесть, что я постоянно держал в комнате, в бутылке из-под итальянского вермута, ольховые либо черемуховые ветки, которые, обманувшись теплом, распускали

листья и даже цвели, если учесть также, что ежедневно в сумерки у меня топилась печка, что я каждый день подметал деревянный, крашенный суриком пол, то нетрудно поверить и в то, что в моей одинокой комнате было всегда более или менее уютно, особенно когда войдешь в нее из остальных, ободранных и промороженных комнат.

Возникает вопрос, почему этот дом сохранился, почему пустовал и на каком основании я пользовался им, захватив директорский кабинет.

Когда ликвидировали завод, этот домик купил совхоз в надежде приспособить его... Впрочем, вернее всего, без всякой далекой цели, но на всякий случай: в хозяйстве пригодится. Но у совхоза много дел и руки до домика, до ремонта его, до приведения в порядок его все никак не доходили. Директором этого совхоза оказался мой сослуживец по армии ефрейтор Курочкин, а теперь Виктор Иванович. Как-то раз он позвонил мне в Москве, раздобыв телефон, зашел в гости, мы посидели, разговорились, остальное — понятно. Надумав сослать сам себя в добровольную ссылку, я всякий раз звонил Виктору Ивановичу в совхоз, он в течение недели отапливал мой «кабинет», и я приезжал как домой в привычное теплое помещение.

Моя самая первая ссылка совпала с трагическими личными обстоятельствами. Положим, это сказано слишком сильно. Но всякий любовный разрыв приносит боль, смятенье, тоску, чувство одиночества, быстрое чередование надежд и отчаяния, метание словно в клетке. Тем более что клетка моя отстояла от Москвы на двести почти километров и нельзя было ни схватить такси, поддавшись порыву, ни крикнуть что-нибудь в трубку телефона-автомата, накрутив тугой на морозе, застревающий на обратном пути кружок циферблата и поневоле прислоняя к уху омерзительную ледяную эбонитовую поверхность трубки.

Обнаружив тогда в моем домике телефонный аппарат, я подошел к нему в первый раз, как к мине замедленного действия. Взял трубку и услышал, к неописуемому удивлению, что телефон жив. Ровный глуховатый фон плыл мне в ухо. Потом щелкнуло и живой (живой!) девический голос неизвестно откуда ответил: «Коммутатор».

Но не было у меня никакого «добавочного». Да кроме того, от неожиданности и растерянности я скорее положил трубку. Казалось бы, надо было радоваться: какая-ника-

кая ниточка к внешнему миру, но помню, что телефон только обострил и усугубил мое одиночество. Телефон, по которому некому позвонить,— чудовище, генератор, вырабатывающий и излучающий тоску. Теперь понятнее будет моя радость, когда у меня впоследствии появился «добавочный номер». Но не будем забегать вперед на целую долгую неделю. Впрочем, неделя эта была обыкновенной календарной неделей, состоящей из семи дней. И мне она только казалась долгой. Если же описывать события этой недели, то хватит и полстранички. А вернее сказать, не было никаких событий, если иметь в виду внешние события и происшествия, которые только и называются событиями в человеческом обиходе. А то, что я перечувствовал и передумал, лежа на кровати или сидя у печки, то, что я передействовал в своем воображении, это все не события, хотя бы на описание всего этого не хватило и трех томов.

Внешне же все было размеренно, просто, тихо. Ходил на озеро за водой. На электроплитке готовил себе еду. Читал. Писал. Гулял по берегу озера. Набрел на сосновый лесок, огороженный темно-зеленым забором. Скрывалось в лесочке что-то военное. Видел снегирей, шелушащих семена в прошлогоднем репейнике. Топил печку. Выходил на крыльцо и смотрел на звезды. Решал шахматные задачи. На самом же деле всю эту долгую зимнюю неделю я боролся с неодолимым искушением поехать на одну (на одну только!) ночь в Москву.

Практическая возможность была. Пройти полтора километра до автобусной остановки. Проехать пятьдесят километров в автобусе. Сесть на местный поезд, который привезет на большую станцию. А там — электричка, и через два часа с четвертью — Москва. Один автобус в день, как раз к этому местному поезду и один поезд в день. Общее время на дорогу — пять с половиной часов. Автобус отходит в 18.30. Таким образом, хочешь не хочешь, ровно в полночь будешь в Москве. На площади трех вокзалов. Такси. Еще двадцать — тридцать минут... Но нет, нет и нет! Только не это. Лучше удавиться, сунуться головой в прорубь, заморозить себя на снегу, сжечь самого себя в этой нелепой конторе. По истечении недели ровно в 18.00 я пришел на автобусную остановку.

Лепил густой мокроватый снег, и было тепло. Еще человек пятнадцать ждало автобуса, повторяю, единственного

и привозящего прямо к единственному поезду. Единственный шанс для всех нас уехать каждому в свое место и со своей целью. Ах, не было ни у кого такой же больной и такой же сладостной цели, какая была у меня.

Мы все напряженно вглядывались в непроглядную зимнюю темноту, толпясь на освещенном пятне автобусной остановки. Три столба — на каждом по лампочке — жидко освещали круг шагов в пятьдесят, а также дверь сельмага с тремя замками и голубую будку — собственно автобусную остановку.

Крупный мокрый снег летел и летел из темноты мирозданья в наш освещенный мирок, испещряя и заштриховывая его белой, плотной, как пряжа, путаницей.

Тут были и мужчины, и женщины, кто с чемоданом, кто с узлом. Но выделялась для меня из всех будущих автобусных пассажиров одна молодая женщина в малиновом пальтеце и в белом пуховом платке. У нее было свежее розовое лицо, непроизвольно улыбающиеся губы, синие глаза и прядь светлой соломы из-под платка. Не трудно было понять, что волосы, скорее всего просто русые, обесцвечены до такой соломенной светлоты современными косметическими средствами. Кроме дамской сумочки, никаких вещей у нее в руках не было.

...Значит, все-таки я еду в Москву? Капитуляция и сдача на милость? Но ведь это только противник, враг принимает капитуляцию и даже видит в ней цель своих усилий. Женщине, когда она больше не любит или не хочет любить, капитуляция не нужна.

Ночь-то, конечно, будет сладкой, если я сегодня приеду. Но узелок тут такой, что все равно ничего хорошего впереди быть уже не может. Неужели? И все к лучшему в этом лучшем из миров? И судьба постоянно права? Но если она права и если она так хочет, то я ведь не пасынок ей какой-нибудь! Хоть бы знак подала, намек, чтобы я догадался, а не ломился напролом по упрямству и слепоте. И потом, если я и правда не пасынок (а я не пасынок), то понимает же она, что творит? И что ждет меня в ближайшие месяцы? Согласен, что, может быть, это все для моего же блага, но переживать каково! Могла бы позаботиться о смягчении удара, о соломке для падающего. Какую-нибудь интересную поездку на первый случай, интересное отвлекающее событие или... я уж не знаю что. А то ведь нарочно не придумаешь такую конуру на берегу

замороженного озера. Так вот же, поеду в Москву наперекор судьбе и посмотрим еще...

Снег становился все мокрее и гуще. Мы все нетерпеливее всматривались в темноту, где должно было появиться сначала зарево, а вскоре и само белое пятно автомобильного света. Самые нетерпеливые выходили из нашего светлого круга по дороге навстречу автобусу шагов на сто, словно это могло ускорить его появление.

— Так и на поезд опоздаем,— высказалось первое, еще неуверенное опасение.

— Четыре минуты уже просрочил.

— Наверстает. Не было случая, чтобы автобус к поезду опоздал.

— Не было случая, а теперь будет. Сам посуди — ему ехать по такой дороге не меньше чем полтора часа...

— До поезда еще час пятьдесят.

— Если бы автобус уже был здесь, а то и свету не видно. Нет, мужики, еще пять минут, и можно идти по домам. Бесполезное дело.

— И то учесть, что если туда заедешь, а поезд уже ушел, то обратного автобуса больше не будет. Придется ночевать на вокзале.

— Какой там вокзал? Волков морозить...

— То-то вот и оно. Нет, мужики, как хотите, а я рисковать не согласен.

Снег лепил, время шло, автобуса не было. Я спросил у молодой женщины в малиновом пальтеце и в белом пуховом платке (она оказалась рядом):

— И часто не приходит автобус?

— Никогда этого не было. Сейчас придет.

— Так вот, автобуса сегодня не будет.

— Это почему?

— Из-за меня.

Несколько человек настороженно повернулись ко мне, но поняв, что это не больше чем глупая шутка, стали опять глядеть в снежную ночь.

А меня и правда внезапно озарила уверенность, что никакого автобуса не будет и ночных поездов с пересадками не будет. Ни вокзала, ни такси и ничего сегодня не будет, а останусь я среди мокрого снегопада, с этой вот женщиной в малиновом пальтеце, губы которой и не хотели бы улыбаться, но невольно изображают улыбку.

Грустную, правда, почти печальную и как бы извиняющуюся, но все-таки женскую улыбку.

Чтобы не вмешиваться в дело судьбы и, как говорится, не дышать у нее над ухом, я отошел подальше от белого пухового платка и нашел себе место сзади всех ожидающих. Их ряды заметно редели. Те, кто поспешал на поезд, ушли домой, поняв, что если сейчас и придет автобус, то к поезду все равно не успеть. Оставались пока еще те, кому нужно в разные деревни по пути следования автобуса, да не двигался с места еще я, потому что торопиться мне было некуда ни в ту, ни в другую сторону.

Между тем заданная программа начала осуществляться с кибернетической точностью, где-то вращались колесики, бежал ток по бесчисленным проводам, мигали сигнальные лампочки, дрожали стрелки, щелкали автоматически отключатели и включатели — шла работа. Мы не видели ее, для нас обнаруживался только конечный результат этой работы, последнее и окончательное решение.

Все разошлись, и на островке света под снегопадом остались только два человека — я и молодая женщина в белом пуховом платке. Нужно сказать, что она не видела меня и того, что я остаюсь. Во-первых, я стоял на десять шагов сзади нее, а во-вторых, я стоял в черной тени, прислонившись к остановочной будке.

Ушли последние люди. Пошла было по дороге в темноту и эта женщина.

— Я же сказал, что автобуса сегодня не будет.

Женщина быстро обернулась и рассмеялась.

— Это и правда из-за вас?

— Конечно. А куда это вы собрались идти в такую погоду?

— До Мартынихи. Я там снимаю квартиру. Вернее, угол.

— Поскольку вина за автобус лежит на мне, то, может быть, разрешите вас проводить?

— Пойдемте. Только это три километра.

Мы вышли из фонарного зыбкого света и окунулись в чернила. Однако глаза скоро начали привыкать к темноте, и сперва проступили старые ели по сторонам от дороги, а потом оказалось, что ночь сквозь толстую вату облаков и летящего снега подсвечивается луной. Саму луну нельзя было увидеть и даже нельзя было угадать, в каком месте неба она скрывается, но все же она была,

напитала своим светом, как губку влагой, все облака, которые, если и не пропускали зримых лучей к земле, то сами, набрякнув светом, начинали источать его и как-никак освещали нам эту ночь.

Мы бойко хрустели валенками по свежему снегу, которого нанесло на дорогу толстым слоем. Морозного скрипа, слышимого и за два километра, конечно, не было теперь при сырой погоде, но глухой энергичный хруст заполнял собой все паузы между нашими словами и фразами.

— Все-таки почему не пришел автобус?

— Сама не понимаю. Водитель заболел или случилось что...

— Как вас зовут?

— Доля.

— Чья... доля?

Женщина опять рассмеялась.

— ...Бедняка.

— Но если серьезно. Полное имя. Долина, что ли? Или Далила?

— Долорес.

— Ого! Передовые были ваши родители. Но вы ведь гораздо моложе.

— Долорес Ибаррури? Надеюсь.

— Того времени, когда ее имя часто произносилось людьми.

— Да, тогда меня еще не было. Мне двадцать четыре года.

— Ах ты, доля, моя доля...

— Продолжайте: доля горькая моя.

— А вы хотите быть сладкой долей? Знаете поговорку?

— Какую?

— Сладкой будешь — расклюют, горькой будешь — расплюют.

Спутница резко остановилась и схватила меня за рукава. Глаза ее, смотрящие прямо в мои глаза, как-то словно дрожали.

— Повторите! Повторите, пожалуйста! Ну, пожалуйста!

Я, разумеется, повторил. Некоторое время мы молча хрустели валенками по свежему снегу.

— Ну вот... а меня зовут...

— Не надо. Я знаю, кто вы.

— Откуда?

— Хитрое дело! Здесь все знают, что вы живете в конторе. Беспроволочная телеграфная связь... Здесь вообще все всё знают. И то, что вы меня провожаете, завтра будет известно.

— Боитесь за репутацию?

— Да. За вашу, конечно.

— А стихи вы читаете, любите?

— Очень.

— Ну кого, например?

— Сергея Поликарпова.

Я несколько удивился. Кого бы тут можно было услышать? Есенина, Блока, Маяковского. Ну, дежурного Евтушенку, ну Цветаеву, что ли, по женской линии. На́ же вот тебе — Сергей Поликарпов! Не икнулось ли ему сейчас в билльярдной Центрального Дома литераторов?..

— Знаете наизусть хоть один стишок?

Доля прочитала незнакомое мне стихотворение.

— А еще кого?

— Я и сама немного пишу, не думайте!

— Дайте мне почитать. Только сразу все вами написанное. Я поставлю диагноз. А пока читайте, что помните.

Она читала стихотворение за стихотворением. Я был удивлен, чтобы не сказать — потрясен. Все это были хорошие стихи, хоть сейчас неси в журнал и печатай. Правда, рождались смутные воспоминания (ассоциации, надо было бы здесь сказать), но что же спрашивать с нее, если у иного поэта с десятком книг то и дело проскальзывают стихи, рождающие эти самые воспоминания-ассоциации.

— Слушайте! — теперь я остановился и взял ее за рукава.— Вы должны все это чисто переписать и отдать мне. Вы с ума сошли! Держать все это под спудом! В течение трех дней переписать и отдать мне. Слышите?!

Доля неуверенно обещала. Между тем мы вошли в деревню.

— Зайдите погреться. У тети Маши такие огурцы, такие грузди!

На крыльце мы старательно обмели снег с валенок жестким, обносившимся голиком и вошли в теплую деревенскую избу. Редко теперь приходится бывать в деревенской избе. Ходишь мимо, глядишь на избы снаружи, но нет ведь предлога и повода зайти внутрь, раздеться, сесть на лавку на кухне, где стол перед лавкой, полка с утварью,

чело русской печи, ухваты около, самовар на столе, тетя Маша, открывающая люк подпола. А в руках у нее две миски — под огурцы и под грузди.

Как видно, тетя Маша ладила со своей квартиранткой, потому что кроме соленых огурцов, с прилипшими мелкими семечками укропа и листьями смородины, кроме грибов тотчас распространивших по комнате пряный запах чеснока, она поставила на стол еще и бутылку водки.

Я люблю жизнь за эти вот неожиданные резкие переходы, за резкие смещения «планов». В самом деле, предстояло (и уже существовало в сознании) тоскливое ночное бдение в пересадочных поездах, а потом предстояла полуосвещенная московская квартира, тихая медовая музыка и медовые, зазывающие, как бы парализующие волю глаза. Мог ли я еще и один час назад знать, что окажусь в деревенской избе, у тети Маши, и будут лафитнички на столе, и я разолью по ним холодную водку.

Доля сняла свое малиновое пальтецо и оказалась — в розовом свитере, подпирающим подбородок,— стройной и складной девушкой. Ну, конечно, волосы обесцвечены. А бывают ли теперь настоящие, натуральные блондинки? Все трое, мы дружно выпили. Доля раскраснелась, глаза у нее заблестели, и в разговоре появилось выражающее не то вопрос, не то восторг восклицание: «Надо же!», к которому она добавляла совсем уж вопросительное «а».

— Автобус не пришел, надо же, а?

Поговорим о чем-нибудь: тетя Маша расскажет о житье-бытье — сын шофер, а жена от него в Сибирь убежала.

— Надо же, а?

При этом «а» Доля взглядывала на меня, словно я должен был подтвердить рассказ тети Маши.

Она вышла на крыльцо проводить меня, накинув на голову и плечи все тот же белый пуховый платок.

— Значит, за вами переписанные стихи. Но когда же я вас увижу? Как с вами держать связь?

— Можно по телефону. У коммутатора спросите «профилакторий».

— Какую профилактику вы наводите?

— Летчики-испытатели отдыхают. А я там — официантка. Разочарованы? Да? Фамилия у меня простая, Сергеева. Сменщицу мою зовут Тамарой. Если что накажете, она мне передаст.

Доля держала рукой платок около горла и улыбалась мне вслед.

Курьезный, стоящий на полу в морозной нежилой комнате телефон приобрел смысл, сделался необходимым предметом. Существует какой-то нелепый профилакторий, куда можно звонить. Наверно, это то самое, за зеленым забором в сосновом лесу, которое приходится огибать, если вздумаешь идти все время по берегу озера.

— Коммутатор? Соедините с профилакторием (вот словечко!). Профилакторий? Позовите, пожалуйста, Долю.

В ухо мне громко стукнуло, наверно, положили трубку на стол. Потом отдаленно крикнули там, словно аукнулись в далеком лесу:

— Доля! Тебя...

И что-то она еще сказала кому-то, прежде чем прислониться к трубке, но я не расслышал, что. Это было все еще далеко и неразборчиво. Словно даже хихикнули там, но после всего этого голос прорезался чисто и явственно:

— Это вы? Надо же! А? Нет, сегодня я не могу. Такое у меня дежурство. А завтра я свободна весь день...

Она пришла около пяти часов вечера, когда я растапливал печку.

— Чудесно! Посумерничаем около огня и будем ужинать.

— А у вас хорошо. Сколько книг. Можно я посмотрю. Ой, «Огонек»! Тут есть кроссворд, в котором мы не отгадали несколько слов.

— Кто это мы?

— Ну... мы. С нашими летчиками.

— Много их там у вас?

— При полной загрузке — двенадцать коек. Но зимой обычно пять-шесть человек.

— Значит, вы с ними разгадываете кроссворды? Какие же там слова?..

Я щепал лучину, и получалось это у меня почему-то отрывисто, зло — того гляди попадешь себе по пальцу.

— Вот, например, буква греческого алфавита из трех букв. Как это может быть — буква из трех букв?

— Ну как... были же в русском языке «аз», «буки», «веди», «глагол», «добро», а у греков — «альфа», «дельта», «омега», «сигма», «игрек», «икс»...

— Начинается с «П» из трех букв.

— Наверное, пси.

— Ой, и правда подходит. Надо же, а? Ни за что бы не догадаться... Теперь, способ передачи энергии...

— Идите лучше греться к огню.

Скамеечка, на которой я обычно сидел перед огнем, не уместила бы нас двоих, и я уступил ее гостье. Доля протянула к печке свои валенки, небольшие, аккуратные, и от них тотчас начал куриться парок. Между верхним обрезом валенок и нижним обрезом черной юбки, расправленной на коленях,— капрон, цвета хорошо загорелого тела, обтягивал коленные чашечки и начало полных, как раз по ширине валенок, ног.

— Где ваши стихи?

— Я не переписала.

Вот так раз! Как было не удивиться, что человек не захотел воспользоваться таким случаем? Какой молодой поэт не захотел бы отдать свои стихи на суд поэту старшему, опытному? Стихи, когда их накопится достаточное количество, побуждают автора к действию, заставляют нести, показывать, обивать пороги редакции. Тут все пришло к ней само, можно сказать, явилось с неба, а она, видите ли, поленилась переписать.

— Тогда читайте.

— Можно, когда-нибудь в другой раз?

— Но почему?

— Я стесняюсь.

— В прошлый раз не стеснялись.

— В прошлый раз я думала, что больше мы не увидимся.

Я настаивал, и Доля чуть не со слезами на глазах стала читать. Она и правда стеснялась, краснела, но читала, с трудом выдавливая из себя, опять хорошие, зрелые стихи. После каждого стихотворения она порывалась перестать читать, но я требовал еще и еще до тех пор, пока смутная догадка не переросла в явственную уверенность. Доля обманывала меня, Доля читала мне чужие стихи. Тут были, вероятно, Вероника Тушнова, Таня Кузовлева, Инна Кашежева, кто-нибудь из еще более молодых поэтесс.

Острое чувство жалости поднялось во мне к этой соломенной, синеглазой Доле.

Улыбка странным образом никогда не сходила с губ этой девушки. Но странным же образом она всегда меняла свои оттенки. Теперь Доля, как видно, поняла, что я

разоблачил ее поэтический секрет, и смотрела на меня улыбаясь виновато.

Но что же тут было непростительного? В тот первый вечер она немного поморочила мне голову из озорства и — правильно — из предположения, что больше мы не увидимся. Разве сегодня, поняв, что мистификация зашла далековато, Доля не отказывалась читать стихи? Разве она не краснела, читая их. Да и не анекдоты же она мне рассказывала, а читала стихи. Наизусть. Много. Переживая их, как свои.

— Ах, ты, Доля, моя Доля!

Я пододвинул свою табуреточку к скамеечке и руку свою положил ей на плечи. Вблизи от нее пахло какой-то медициной: карболовой кислотой или хлоркой, что ли? Однажды в санатории я отдал горничной в стирку носовые платки, и они потóм пахли вот точно так же.

Доля поглядела на меня (табуретка возвышалась над скамеечкой), припала щекой к моему свитеру и по-детски всхлипнула. Волосы, которые я хотел погладить, пружинили под рукой. Тогда я нашел для ладони место ниже волос, сбоку горячей шеи, и стал слушать, как проклевывающимся птенцом стучит в середину ладони бьющаяся Долина жилка. Дрова потрескивали в печи и горели еще очень долго. Пока они горели, мы не пошевелились и не сказали друг другу ни одного слова.

Насчет беспроволочного телеграфа Доля была права. Дня через три после нашего свидания ко мне зашел Виктор Иванович. На пороге он шутливо взял «под козырек» пыжиковой шапки и, вспомнив нашу былую субординацию, бойко отрапортовал:

— Товарищ сержант! Ефрейтор Курочкин прибыл из долгосрочного отпуска для прохождения дальнейшей службы.

Впрочем, команды «вольно» он дожидаться не стал, а сразу обнажил из кармана полушубка бутылку водки и поставил ее на стол.

— Вот так. Давай закусить. Плохо тебе без хозяйки. Сейчас бы она живо соорудила нам, как полагается. А то живешь бобылем. Вроде соломенный вдовец.

— Ничего. В одиночестве лучше работается.

— Подыскать тебе, что ли, среди наших доярок? Девки знаешь какие! И-эх! И держат себя в порядке. Не то

что эти вон из... как его... про-фи-лак-тория. И не выговоришь. Тьфу!

Не понять было, к кому относилось это тьфу: к самому профилакторию или к «этим, из него». Но я промолчал. Мы выпили по стопочке, прожевали, и Виктор Иванович начал продолжать свою тему.

— Да... Оно и понятно. Шесть-семь молодых летчиков. Испытателей. Ежедневный риск, перенапряжение всех нервов. И вот посылают его на десять дней отдохнуть. Лес да озеро. Ни жилья, ни былья кругом на три километра. И на весь дом две девчонки-официантки. Врачиха — пожилая, директор — мужчина, уборщица — тетя Шура, под пятьдесят лет. А что им надо для отдыха? Ну, лыжи. Согласен, лыжи. Так ведь на лыжах катаются днем. А — вечер? Выпил, конечно. А тут хорошенькая девчонка в белом халатике. «Тамарочка, не выпьешь с нами?» — «Ой, что вы, мне никак нельзя. Я на службе».— «А служишь ты кому? Нам. Так что нас надо слушаться». Ну, поломается для приличия и выпьет. И повторит. А потом на квартиру к себе потащит. Не потащит, а само собой получится. Надо же выпившую девушку до дому проводить. Провожать пойдут трое — пятеро. Подруга, сменщица есть.

— Погуливают, что ли, эти девчонки?

— Хм. Погуливают! Не то слово. А через десять дней — новая смена. Понимать надо... Была у меня одна тут... хорошая девчонка. В столовой официанткой работала. Уволил я ее, она — в профилакторий. Теперь, говорят...— Виктор Иванович безнадежно махнул рукой.

— Если хорошая была девчонка, почему уволил-то ее из столовой?

— Это другой вопрос. Строг я. Строгость моя не нравится.

Так и допили мы бутылку, и выходило, что наведался ко мне Виктор Иванович просто так, ради воскресенья, что ли, но подоплека его визита была мне ясна. Добра желает мне человек. Предупредил, исполнил долг старого верного товарища. А уж там, мол, как хочешь. Мое дело сказать.

Совпало, что в тот же день мне надо было сходить в сельмаг. Около магазина я увидел трех молодых военных, летчиков, офицеров. Один держал в руках большой пакет, наверно, с закусками, другой — сверток, в котором угадывались удлиненные бутылки югославского коньяка,—

другого не было в здешнем магазине. И была с военными девица, чем-то похожая на Долю, но только выше ее, может быть, даже красивее, а вернее, с более правильными чертами лица. И была эта девица уже заметно пьяна. Тотчас я догадался, что это и есть Долина сменщица, Тамара.

Несколько вечеров подряд провели мы с Долей около пылающей печки, а потом и за столом, за ужином, около, увы, все того же югославского коньяка. Я не старался выспрашивать, но во время разговора сами собой выплывали и высвечивались подробности. Была замужем и оставлена. Разошлись. Происходило это все где-то в Ужгороде. Растет дочка. У родственников. Доля ездит к ней один раз в две недели. Взять к себе некуда.

— Тамара, твоя сменщица, тоже снимает угол?

— Нет, у нее отдельная комната в райцентре. Туда ходит автобус. Езды двадцать минут. А что?

— Да нет, просто так. Бываешь ты у нее в гостях?

— Ну, а как же? Подруга же!.. А больше-то у меня никого здесь и нет. Вы вот теперь...

Я задумывался над тем, почему ко мне ходит Доля. То, что я мог просто понравиться молодой женщине, это я исключил в первую очередь. Замуж за меня она не рассчитывает, ибо она не глупа. От простой женской скуки? Но какая может быть женская скука в окружении молодых и красивых офицеров? Что же остается? Одиночество, как таковое. Одиночество сердца, души, желание прислониться и отдохнуть на долгом, можно сказать, бесконечном в ее двадцать четыре года пути. Зябкость, холод, лютая стужа. Вот и оттаивает около моей неожиданной приветливой печки.

— Ну как, кроссворды все разгадываете? Накопились неразгаданные слова?

Доля закусила нижнюю губку.

— Вы смеетесь, а мне плакать хочется.

— Отчего?

— Уеду я куда-нибудь. Брошу все и уеду. И уехала бы давно. С дочкой не знаю как поступить.

— Не нравится здесь?

— Надоело. Осточертело. Одно и то же. Приезд. Знакомства. Ухаживания. Одни и те же слова они говорят,

одни и те же слова я говорю. Двадцать, пятьдесят, много раз... Анекдоты, кроссворды. Все остальное одинаково...

— А вы... Ну, как бы вам сказать? Отработали — и домой. Ни минуты больше. Возьмитесь, постановите для себя, чтобы работа была отдельно, а остальная жизнь отдельно. Чтобы никакого продолжения не было после рабочего дня. 19.00. До свидания. Я — домой.

— К тете Маше? Огурцы соленые есть? Куда же деться-то мне? С чем же я останусь тогда? Пробовала. Стихи наизусть учила. Но ведь не могу же я все время одна. Я ведь живая. Куда я от этого денусь? И на сколько лет? До каких пор? Нет, попала я в западню. А они, ребята, веселые, хорошие. Я их не виню. Телефоны, адреса оставляют. Но все это без толку. Уехал и больше уж — никогда. Как умер. Нет, я до лета как-нибудь доживу, а потом уеду. Куда глаза глядят. К черту на кулички. В тартарары.

Я тоже обещал писать и даже посылать книги. Даже и написал два раза. Даже и послал томики Блока, Омара Хаяма и Леонида Мартынова. Но на большее меня не хватило. Выпала дальняя поездка, закружила Москва, подоспели неприятности, увлекла работа. Очнулся я через год в той же самой «конторе» у той же печки.

Сознаюсь, что раскаянье и запоздалые угрызения совести набросились на меня. Кроме того, окружили воспоминания. Эта ее не сходящая с губ улыбка. Это ее «надо же, а?», этот ее немножечко медицинский запах. Наши одинокие застолья, чай с изюмом. Память глаз, память слуха, память рук, острая память тела...

Трудно ли было, ну хоть в десять дней по письму для ее моральной поддержки! Наверно, ждала, бегала на почту (до востребования) и спрашивать часто неудобно, потому что Клава на почте ее хорошо знает. Но с другой стороны, не лучше ли, что не было моих писем? Она должна была принять решение — уехать,— и письма влияли бы на него. Она осталась бы из-за меня! И что я мог бы ей тогда предложить? Руку и сердце? Все это так, и все это правильно. Но сейчас-то, сию-то минуту, когда я опять один в своей конуре, как хочется, о, как хочется, чтобы

Доля опять вошла раскрасневшаяся с мороза, улыбающаяся смущенной улыбкой, сняла свое малиновое пальтецо.

Отвечает милая: на дворе метель,
Затопить бы печку, постелить постель.

Я любил дразнить ее этими строчками, потому что каждый раз она краснела и укоризненно говорила:

— Ну, зачем же вы так?

— А что? Есенин. И печку мы сейчас обязательно затопим. Будешь греть свои валенки.

И все это было в этой комнате! Печка осталась на месте, скамеечка, телефон... Телефон!

— Соедините меня с профилакторием. Профилакторий? Попросите, пожалуйста, Долю.

Грохнуло в ухе (положили трубку на стол), и отдаленно крикнули там, словно аукнулись в далеком лесу:

— Доля! Тебя...

Ах ты, доля моя, доля. Ни упрека за то, что не писал. Напротив, спасибо за книги. Омара Хаяма она до сих пор не знала. Вернее, пробовала читать, но не могла. Не читается и не запоминается. А теперь — прекрасно.

— Но ведь это же переводы Тхоржевского. Это совсем другое дело, нежели Румер. У Румера, конечно, точнее, но точность убила поэзию. Получилось не живое лицо, а гипсовая маска. Но Тхоржевский — живой. «Бог нашей драмой коротает вечность. Сам сочиняет, ставит и глядит». Ах, Доля, Доля, как я рад, что ты оказалась здесь. Снял трубку — ты тут как тут. Надо же! А?

Доля смеялась, поняв, что ее словечко перешло ко мне.

— Немногому вы у меня набрались. Только это «надо же! а?» на память и останется.

— Брось! Не знаешь, как ты мне была нужна в это время.

— В том-то и дело, что была...

— Но ты же есть. Вот она — ты. Со мной.

Доля не отвечала. Кое-что изменилось в ней за этот год. Могла пообещать и не прийти. Пропадала по нескольку дней. Приходилось звонить, настаивать. Иногда от нее попахивало спиртным. Иногда усталость сваливала ее прямо на скамеечке перед печкой. Иногда же, видимо желая преодолеть свою усталость и добиться чего-нибудь сверх нее, она старалась казаться энергичной и полной сил, не-

терпеливой, неистовой в своем нетерпении, но чаще всего это были отчаянные старания.

Чтобы отвлечь и успокоить ее, я ударялся в воспоминания (будущего не было и о нем говорить я не мог):

— А помнишь тот мокрый снег?

— Да. Не пришел автобус. Я потом узнала, почему не пришел.

— Ну?! Что ж ты молчала до сих пор!

— Перед самым рейсом водителя схватил аппендицит. Пока искали другого водителя, время ушло.

— Коровьевские штучки! Надеюсь, благополучно?

— Вырезали, и все. Но Коровьев тут ни при чем.

— Кто такой ваш Коровьев?

— Как кто? Заведующий райздравотделом.

— Восхитительно! Превосходно!..

Огромная — с грецкий орех — сияющая голубая звезда плыла через черное пространство верхнего оконного стекла, которое не захлестнули еще морозные папоротники, заполнявшие нижнюю оконную половину. Звезда светилась над папоротниками, словно луна над большим, настоящим лесом. На озере время от времени громко и протяжно трещал лед. Треск змеился от берега до берега, повторяя ту трещину, которая возникала там, в зеленой, стекловидной, засыпанной снегом толще.

— Рыбы тоже вздрагивают, когда треснет лед? Как ты думаешь, Доля?

— Рыбы? Им все равно. Когда очень холодно, всё — всё равно. Мокрый снег... Правда ведь, тогда шел мокрый-премокрый снег?

...Замкнулось и второе кольцо. Доля взяла с меня слово, что я приеду на озеро летом, когда можно на лодке переплыть на тот берег.

— А что там?

— Цветы.

— И только?

— Разве этого мало? Цветы!

Пришло лето, и я действительно поехал на озеро. В этот раз — летний и неурочный — я вез Доле разные подарки: для нее, для дочки и даже для тети Маши. В дороге я почувствовал, что мной овладевает нетерпение. Хотелось скорее добраться до «конторы», скорее взять телефонную трубку, скорее услышать знакомый Долин голос: «Это вы? Надо же, а? Сейчас приду».

Все почти так и было. Телефон действовал (чудо двадцатого века!). Коммутатор быстро соединил меня, и я несколько обрадованнее, чем полагалось бы в разговоре с незнакомым дежурным по профилакторию прокричал, что мне нужна Доля.

Опять трубку положили на стол, но не так громко. И уже одно это подсознательно подсказало мне, что вся остальная цепочка будет нарушена, и сердце мое укололо нехорошее предчувствие. Не послышалось и отдаленного крика: «Доля, тебя!» Сказали что-то неразборчивое, потом постояла тишина, потом трубка ответила.

— Алё.

Это был не ее голос.

— Я просил Долю.

— А ее нет.

— Она что, не дежурит сегодня?

— Кто ее спрашивает?

— Знакомый.

— Из «конторы», что ли?

— Ну... да.

— Они завербовались куда-то на север.— Трубка щелкнула, отключилась.

Куда? На какой, к черту, север? И кто — они? С дочкой? С подругой? С кем?.. Пойти в профилакторий и все разузнать? Побежать к тете Маше? Найти ее подругу Тамару?

Никто ничего не знал. Я понял, что не могу прожить здесь и трех дней, хотя, говорят, хорошо в это время клевали окуни, было много цветов, и за один только день два раза обрызгивал землю светлый дождичек.

Автобус ходил все по такому же расписанию, и на этот раз у водителя не было острого приступа аппендицита. И не было мокрого снега, а было жарко и даже душно. И я предвидел, как совсем жарко и душно будет в переполненном вагоне сонного местного поезда, останавливающегося, как любят говорить пассажиры, у каждого телеграфного столба.

Девочка на урезе моря

Обращаются за советом, когда колеблются. Решение еще не принято. Все еще можно сделать так, а можно и эдак. Цепочка жизни, цепочка событий, фактов, судеб, начинающаяся от точки принятого решения, будет вязаться и плестись либо одна, либо другая. Как же тут, скажите, не колебаться?

Посоветуете вы вашему другу Сергею не жениться на девушке Тане, он послушается вашего совета и не женится. Что же произошло? А то, что с ответственностью настолько изумляющей, что, пожалуй, лучше ее назвать безответственностью, вы передвинули рычаги, перевели очень важные стрелки, и теперь несколько поездов понесутся в пространстве и времени другими путями, нежели они понеслись бы без вашего совета, о котором вы, проснувшись на другой день, возможно, и не вспомните.

А поезда эти — судьбы. Судьба самого Сергея. Судьба бедняжки Тани. А может, и не бедняжки. Судьбы Сергеевых и Таниных детей, но уж не их совместных детей, заметьте! У них должны были народиться Светочка, Ирочка и Андрюшка, из которых вышли бы со временем эстрадная певица, учительница и техник по ремонту телевизоров. Теперь же у Тани совсем не будет детей, а у Сергея родятся Танечка и Славик. Танечка поступит кое-как в лесной институт, а Славика возьмут в армию. Их часть будет стоять на Украине. Он женится на местной девушке и поселится под Винницей. Устроится в совхоз трактористом, а дома разведет поросят и тыквы в огороде.

Вот что наделали вы своим советом!

А разве мы знаем, что за дети народились бы у неродившихся по вашей вине Светочки, Ирочки и Андрюшки? И что за дети родятся у Танечки и Славки, и что они натворят, пока живут на земле.

Давая тот давнишний совет, я не задумывался над важностью происходящего. И занятие у меня было самое прозаическое: я сидел за столом и ел южное блюдо, приготовленное из сладкого перца, кабачков, помидоров, зеленой фасоли и лука.

С этим домом я впервые познакомился лет двенадцать назад (боже мой, как летит время!) совершенно случайно. Шел по перегретой приморской улочке в поисках комнаты. В середине сентября побережье заметно пустеет, свободные комнаты попадаются на каждом шагу. Но выбрать из многого всегда труднее, чем просто найти.

Дворик, затененный особенным, привлекательным образом, и домик, белеющий в глубине зелени, остановили меня. Я открыл калитку, пошел по прямой дорожке, и свисающие гроздья черного винограда, затуманенного белой пыльцой, все время, пока я шел, просили, чтобы я подставил просторные пригоршни и принял в них тяжелую прохладную гроздь.

Мне показали комнату с окном на старую узловатую хурму, дикую, осыпанную мелкими, как черешня, желтенькими плодами, на бамбукоподобные стебли кукурузы, между желтизной которых проглядывала яркая синева близкого моря. В комнате помещались койка, стол и платяной шкаф, то есть все, что мне нужно.

Хозяйка взялась и кормить меня. Я приходил к столу трижды в день и вскоре узнал всю семью.

Глава семьи Михаил работал на рыбозаводе. Он возвращался домой после шести вечера, и от него пахло соленой рыбой.

Хозяйка Катя работала только дома на участке. Земля требовала ухода, дети тоже.

Осенью начиналась особенная пора. Наливали в бутылки цицебель, запечатывали их проволокой и варом, зарывали в землю. Готовили аджику. Варили, мариновали, солили, сушили, вялили. Давили виноград. Винный дух стоял над деревней.

Семья была русская, но делали они все то же, что и местные люди, то есть то, что предопределялось климатом, землей, всевозможными плодами, вызревающими на

этой земле, и обычаями народа, возделывающего эту землю.

Михаилу было лет сорок пять, Катя казалась лет на десять моложе, но, возможно, разница в летах между ними была не так велика.

Старшему сыну моих хозяев исполнилось четырнадцать лет: он учился в восьмом классе. Дочка Людочка перешла в шестой.

Как это часто бывает, на следующий год мы списались, и я приехал прямо к моим добрым хозяевам. Да так и наладил с тех пор каждую осень ездить в их чистый домик. Разложишь вещи, бумаги на столе, посмотришь в окно, увидишь синеву моря между кукурузными стеблями, и на душе сделается тепло и тихо, легко и радостно. Много ли человеку надо?

Значит, я сидел за столом и ел южное блюдо, приготовленное из сладкого перца, кабачков, помидоров, зеленой фасоли и лука, запивая еду молодой, ароматической «изабеллой», Катя сидела напротив меня и чистила чеснок для соленья. Виктор зашел в комнату, взял подводное ружье, ласты и ушел к морю. Людочка была неизвестно где. Михаил еще не вернулся с работы.

Разговор у нас с Катей шел самый дежурный, повседневный, невозможно и вспомнить, о чем мы тогда говорили. Да оно и не важно. Хотя, пожалуй, неплохо бы вспомнить, как именно наш никчемный разговор пришел к той неожиданной точке, когда Катя, несколько смутясь и покраснев, поделилась со мной:

— Нет, мы с Мишей твердо решили. Виктор, можно сказать, на ногах. Людочка тоже стала взрослая девочка. Неужели теперь снова все начинать? Это только со стороны хорошо. Или кому не дались дети в жизни, те тоскуют. Это я понимаю. И то правильно говорят: «Без детей — горе, а с детьми — вдвое». Мы, слава богу, двоих вырастили. Долг перед природой исполнили.

Насчет природы и долга она сказала с некоторым озорством, со смешинкой, но во всем остальном была очень даже серьезна.

— Мы теперь стали вольные птицы, руки наши развязаны. Хотим — здесь будем жить, хотим — в Россию подадимся, ближе к родным местам. И вообще... Разве кто знает, сколько я пережила, когда у Людочки двустороннее воспаление легких было в двухлетнем возрасте? А как

я ее ночи напролет на своем плече носила, и так целый год?

— Почему надо было носить?

— Орала. День молчит. А как только нам спать ложиться, так и начинает концерт. Орет и орет. Пока на плече носишь — замолкнет. Только положишь — снова ор. Я стала на тень похожа. И рожать — не конфетку съесть. Мы забываем. Так, наверно, устроено, чтобы женщины забывали. А ведь мука мученическая. Кричим ведь, визжим, как недорезанные поросята. Нет уж, как только вспомнишь... Б-рр! Ну, и возраст не тот. И Миша, как вы знаете... попивает. Мало ли как на ребенке отразится. Родится какой-нибудь трегубый. Вы которого, двадцатого уезжаете? Ну вот, вас проводивши, двадцать третьего и пойду. Четверг будет — хороший день.

Что за стих нашел на меня? Я и сам понимал, что двум этим людям, прошедшим своевременно через молодость, влюбленность, замужество, устройство гнезда, рождение детей, не нужен теперь новый пискун. А если и нужен, то — господи! — ни Виктор, ни Людочка не отложат дела в долгий ящик. Не успеешь опомниться — получай внуков! Ловкие пальцы женщины шелушили чеснок. Головка трескалась и с легким звуком рассыпалась на части. Белая и лиловая шелуха оставалась в стороне, и было ее много по сравнению с крепкими, глянцевыми дольками в тарелке, хранящими в себе тот крепчайший, сложнейший экстракт, изобретенный природой, который мы в человеческом обиходе зовем чесноком.

Пальцы Кати ловко шелушили чеснок. Я загляделся на них и именно по движениям пальцев, по их неуловимому почти волнению понял, что решить-то Катя с Михаилом решили, но все же теперь, сию вот минуту Катя ждет еще и моего слова, совета, одобрения их поступку.

Отчетливо помню, что я хотел сказать: «Правильно вы решили. Конечно, придется перенести операцию. Но в наше время от нее никто, пожалуй, не умер. Отдохните, поживите спокойно. Скоро внуки пойдут. А знаете ли вы, что внуков любят больше, чем своих детей?» Тут я, возможно, развил бы теорию о степенях биологического родства между ближайшими и между следующими поколениями, но вместо всех этих рассуждений я неожиданно и простодушно спросил:

— А не жалко?

Пальцы дрогнули и выронили дольку чеснока, которую чистили. Катя подняла голову и взглянула на меня удивленно.

Я не отдавал себе отчета, что от меня сейчас, в сущности, зависит жизнь человека: родиться ему или не родиться, быть или не быть. Высокие материи были чужды мне в тот миг. Я хотел одобрить решение семьи, а вместо этого выпалил свое нелепое, неуместное: «А не жалко?»

— Если бы все жалели...— начала Катя и не закончила фразы.

Кто-то продолжал говорить за меня, ведя свою линию:

— Мне отчасти знакомо это чувство. Я поэт, а вынужден заниматься прозой.

— Но вы же пишете и стихи.

— Время от времени. Но если бы я не занимался прозой, то стихов у меня теперь было бы гораздо больше. Я недосчитываюсь нескольких сот стихотворений. Выходит дело, проза их задушила, и они не появились на свет.

— И вам не жалко? — с горьковатой усмешкой спросила Катя.

— Не то чтобы жалко,— серьезно ответил я,— но иногда хочется знать, какие это были бы стихи, о чем, насколько хороши или плохи, и, поверьте, нападает тоска. Делается страшно от необратимости происшедшего, от того, что никогда уж я не узнаю, что задохнулось и погибло во мне под тяжелыми плитами проклятой прозы.

Я помолчал и ударил, выражаясь по-спортивному, ниже пояса:

— А женщины разве не думают о своих неродившихся детях? У вас, наверное, не первый аборт. Скажите, никогда не хотелось вам хоть одним глазком взглянуть на детей, которых вы отравили?

— Зачем же вы так? — Катя побледнела, у нее задрожали губы.

— Извините, конечно, я грубовато выразился. Но обычно женщины в этом не раскаиваются. Только одна женщина раскаивается и мучится, и то лишь потому, что умерла дочка, а дочке приснился сон.

— Какой сон? — насторожилась Катя.— И как мог девочке присниться сон, если она умерла?

— Перед смертью. Девочка умирала и знала, что умирает. И мать знала. И вот в день смерти, с утра, девочка говорит: «Бедная мама. Останешься ты одна. Мне присни-

лось сегодня, что ты стоишь на поляне и вокруг тебя много детей. Три девочки и четыре мальчика. Но только все они ужасные, жалкие, у одного голова похожа на бутылку, у другого три ноги. У девочки вместо рук маленькие лапки, как крылышки ощипанного цыпленка. Жуткий-прежуткий сон. А ты их всех обнимаешь и плачешь. И будто я бегу к ним, и они принимают меня в свою игру...» Женщина пропустила все мимо ушей: не тем была занята ее голова. Но потом, через месяц, вспоминая все время и перебирая в памяти последний день бедняжки и каждое ее слово, женщина вдруг похолодела от совпадения. Она вспомнила, что сделала в жизни именно семь абортов. И семь детей приснились умирающей девочке. Так вы знаете, она едва не свихнулась. Кажется, ее даже лечили.

— Ужасно вы рассказываете. Я не думала, что вы такой злой...

Тут прибежала Людочка. Разговор наш оборвался, и больше мы к нему не возвращались. Через несколько дней я уехал в Москву, и выпало несколько неудачных лет, без южного солнца, без теплого моря, без комнаты, выходящей окнами на старую узловатую хурму и на кукурузу, громко шелестящую в те часы, когда на сочной и звучной голубизне появляются яркие белые барашки.

Шли сентябри и октябри, тоже прекрасные, с листопадами в березовых рощах, с полосатыми рыжиками в молодых соснах, с хрустальными заморозками по утрам либо уж с черными ненастными ночами, в которых чувства и настроения ничуть не меньше, чем в прозрачном утре или в солнечном полдне.

Но тело истосковалось по солоноватому йодистому ветерку, по теплой, но уже не горячей гальке и по той неизъяснимой бархатной ласке, которую умеет дарить только одна морская вода.

Больше я ждать не мог. Я бросил всю суету (а основное дело всегда со мной) и поехал, помчался к морю. После долгого перерыва я подходил к поселку около рыбозавода, словно к родной деревне, по которой соскучился. У знакомой калитки поставил свой чемодан и уже предвкушал всплеск рук и возгласы, неизбежные при внезапной встрече. Улыбка заранее расплылась на моем лице, и как бы я ни хотел ее согнать, становилась только шире и лучезарнее, сказал бы я, если бы речь шла о чужой улыбке, про

свою же приходится сказать, что она становилась все глупее.

Глупее еще и потому, что никто не шел мне навстречу по дорожке от белого домика к калитке, под гроздьями черного винограда, все так же свисающими с витиеватых, загнутых в виде арки лоз.

Оставив чемодан на улице, я сам пошел к домику и около ступенек обнаружил чужую девочку, играющую в морские камешки.

Девочка оторвалась от игры и подняла на меня... Ну как там говорилось в старинных сентиментальных романах? Васильки глаз? Незабудки глаз? Бывают же такие синие, такие светлые глаза у детей! Вместе с тем во взгляде девочки не было никакой младенческой наивности, и, ну как бы это сказать, голубизны херувимчика, ангелочка, что ли. Напротив, взгляд ее был исполнен серьезности и даже строгости.

Надо было бы как можно дольше, ухватившись как за соломинку, держаться за эти глаза. Но как быть? Одновременно я увидел и то, что сама девочка поразительно, безнадежно некрасива. Что-то старушечье, что-то от сморщенного печеного яблока, что-то от жалкой обезьянки было в ее лице. Но самое главное, и это поразило меня, подобно выстрелу, у девочки была раздвоенная, заячья губа. С откровенной надеждой на чудо, как если бы вывалился из самолета и надеялся остаться в живых (известны же подобные случаи), я спросил:

— Ты чья?

— Миронова,— внятно ответила девочка.

— Как Миронова? Мироновых я всех знаю.

— Я Миронова. Я не виновата.

«Господи! Да конечно же, ты не виновата! — ослепительно сверкнуло в мозгу.— Это я, я виноват во всем! Начал плести тогда какую-то ахинею. Задел за живую струну, и вот результат! Посоветовал, называется, отговорил, убедил. Девочка, миленькая, да знаешь ли ты, что если бы не я, тебя могло бы не быть?..»

Я смотрел на нее, как на чудо. Некрасивость ее стушевалась и отошла на задний план. Руки, ноги, вздернутый носик, веснушки на носике и глаза, словно смотровые отверстия в некий сосуд, в котором горит ровный синий огонь. Волшебный огонь. Огонь любви, чистоты, приятия мира. Огонь души. И все это уже есть, двигается, отвеча-

ет на вопросы, морщит лобик, улыбается. И всего этого могло не быть. Должно было не быть. А где же оно было бы? Куда делось бы? Нелепым образом всплыла в памяти фраза какого-то индийского мудреца (Ганди?), которую я не помнил про себя, но которая, как видно, запала когда-нибудь: «В этом мире редко удается родиться в виде человеческого существа».

— Девочка, как же тебя зовут?

— Аннушка.

— А где мама?

— Пошла на базар. Ты кто?

— Меня зовут дядя Петя. Я раньше жил у вас вон в той комнате.

— А теперь там моя кроватка.

— Ну и хорошо. Только можно ли мне внести чемодан? Я подожду твою маму.

— Хочешь, покажу тебе мои секреты?

— Если ты не боишься их открыть...

— Я тебя не боюсь,— отрезала Аннушка и повела меня за угол дома. Мы пришли на площадку, засыпанную песком. Тут валялись инструменты Аннушки: совочки, лопаточки и формочки.— Сейчас увидишь секреты. Они очень красивые. Смотри.

В одном месте Аннушка начала разгребать песок, который лежал здесь довольно толстым слоем. Я ждал, что она вытащит сейчас из песка какую-нибудь игрушку, что-нибудь спрятанное. Или, может быть, там у нее кто-нибудь похоронен, птичка например? Тем неожиданнее было то, что я увидел. Я даже не сразу понял, что это такое и как это сделано. Но Аннушка не обманула: это было красиво. Странно, что мы не знали этого в нашем детстве и что я нигде не встречал этого раньше. Уж не придумала ли это Аннушка сама?

Секрет заключался в том, что в песке на некоторой глубине были уложены разные цветы, одни только головки цветов без стеблей и листьев. Эти цветы были уложены плотно, один к одному, придавлены осколком стекла величиной с чайное блюдце и засыпаны слоем песка. Когда Аннушка разгребла песок, то цветы под стеклом, сплюснутые в ровную плоскость, предстали взгляду как яркое, живописное пятно, как драгоценность, неожиданно обнаруженная в земле.

— Ну и секрет! — вырвалось у меня.

— Правда, красиво?

— Очень! Покажи еще, если есть.

Аннушка подводила меня то к одному месту песчаной площадки, то к другому, вглядывалась некоторое время, как бы видя сквозь землю, и начинала отрывать очередное маленькое чудо. Цветы были разные. И еще ярче, еще необычнее вспыхнули и засветились они, когда Аннушка откопала мне «секрет» не на песчаной площадке, а в обыкновенной черной земле, около грядки с огурцами. В одном месте под стеклом оказались уложенными разноцветные морские камешки, и это тоже получилось неожиданно и красиво, хотя и не равнялось цветам.

— Правда, хорошие камешки?

— Правда.

— Пойдем к морю, я наберу тебе таких же. Я знаю, где водятся самые красивые камешки.

— Пожалуй, пойдем. Я искупаюсь с дороги. Сколько лет не окунался в синее море.

— Сколько лет?

— Тебя еще не было на свете.

— А свет был?

— Свет был.

— И море было? И мама?

— Да. Только одной тебя не было. Чудно.

— Чудно,—согласилась Аннушка, и мы пошли к морю. Я разлегся на гальке, с наслаждением ощущая излучаемое камнями тепло. Раскинув руки, я купался в золотистом безоблачном небе.

Стоило мне чуть-чуть приподнять голову — и я видел на самой кромке воды и земли, на самом урезе моря, как сказал бы какой-нибудь водник, девочку в ситцевых трусиках, беленьких в крупный красный горошек. Девочка бежала вслед за откатывающейся, словно нарочно для нее, волной, выхватывала из-под волны нужные ей камешки и мчалась назад, потому что волна начинала обратное движение. Так они играли — море и девочка.

Девочка была маленькая, а море большое. И можно было увеличивать еще и еще то, что окружало маленькую девочку, потому что больше моря — страна, больше страны — океан, больше океана — земля, больше земли — небо, больше неба... Но, сколько бы ни разбегалось вширь и вдаль, подобно бесшумному взрыву, наше воображение, девочка оставалась все той же, не становилась меньше.

Вселенная вселенной, а девочка девочкой. Может быть, обе они — песчинки, может быть, обе они безграничны. А может быть, даже равны.

«Отговорил, насоветовал...— думал я между тем, все время взглядывая на девочку.— А что же с ней будет дальше? Можно, конечно, оттолкнувшись от этой точки, в два счета разработать ту или иную сюжетную линию, и после воплощения в форму романа (повести) будут эти линии убедительны и правдоподобны.

О, миллионы сюжетов и вариантов, которые тщетно было бы сводить к двум-трем нарочито огрубленным литературным схемам.

В том-то и дело, что мы и судьбы наши — как камешки на этом морском берегу. Все похожи один на другой, но двух одинаковых не найдешь. И хоть все камешки, вместе взятые, есть масса, и гальку для каких-нибудь строительных нужд можно черпать ковшом экскаватора, исчисляя на тонны, но каждый камешек все-таки сам по себе: этот в желтых прожилках, этот в розовых крапинках, этот черный, словно агат (а ведь бывает и вправду агат!), этот бел, как сахар, этот прозрачен, подобно стеклу.

Итак, миллионы сюжетов и вариантов, не поддающихся даже воображению, но и поддающихся, традиционных тоже много—до Улановой, до Тарасовой, до Гоар Гаспарян или по другому ответвлению — до Космодемьянской, до Терешковой, а там еще до матери Есенина, до подруги и сподвижницы протопопа Аввакума. Или самое-самое простое: дом, муж, работающий на рыбозаводе. Базар. Кабачки и помидоры, стирка, готовка, глаженье, подметанье, московские постояльцы, двое выучившихся детей.

Тут определилось во мне то, что существовало все это время, эти час-полтора, как смутная, но настойчивая помеха: я понял, что боюсь показаться Кате на глаза.

Не возникало ли в ее сердце упрека, когда разглядывала спящей свою некрасавицу, свою незадачницу, свою уродинку, не проливалось ли над ней тайной или явной слезы? Виду, конечно, не подаст, но встретит прохладно, холодно. Откажет от дома? Комната занята Аннушкой, очень удобно отказать. Если будет холодно, и сам уйдешь, не дожидаясь отказа, надо скорее, до ее прихода вынести чемоданы, перебраться на другую улицу, в другой конец поселка, в другой город. Что, в самом деле, я же независимый человек!

Девочка и море продолжали играть.

— Ну, ты пойдешь со мной? Не боишься у моря? Не утонешь?

— Пойду с тобой. Что-то мама задержалась на базаре.

— А... она любит тебя, твоя мама?

— Я не спрашивала. Разве есть мамы, которые не любят детей?

Уйти, не показавшись, все же было б смешно. Но и чемодан разбирать я пока не стал. Прилег на койку поверх шерстяного жесткого одеяла, и зыбкая, легкая дремота одолела меня. Кажется, я даже уснул. Во всяком случае, не заметил, много ли прошло времени, прежде чем послышался в саду знакомый, ничуть не изменившийся голос:

— Солнышко ты мое, ласточка ты моя! Заждалась. Я вон зашла к Наде Кавун и заболталась. Ах, ты ненаглядная моя! Как ты тут, без меня? А почему трусы мокрые? Ты что, купаться ходила? Одна?

— Я не одна. К нам дядя приехал.

— Какой дядя?

— Старый знакомый. Когда меня еще не было.

— Где же он?

— Спит в моей комнате.

— Ах ты, господи! Да ведь это, знаешь ли, наверно, кто?! Давай мы с тобой скорее переоденемся, чтобы он поглядел, какая ты у нас красавица. А то что же ты перед ним такой замарашкой. И я ушла, как на грех. Пойдем, наденешь белое платьице, красные сандалики, подвяжем бант. Ах ты! Он ведь, можно сказать, крестный твой, второй отец. А ты перед ним такой замарашкой, нехорошо.

Возраст, что ли, такой. От простых слов, от песни, от кадра в документальном кино наворачивается слеза. А еще меня обожгло стыдом за то, что четверть часа назад я так дурно думал о Кате, а вместе с ней — и обо всех человеческих матерях.

Homo sapiens

(Поездка на озеро Севан)

Накануне мы осматривали Джейранью степь. Никаких джейранов там теперь нет, затем, что их давно истребили (а носились когда-то чуткие, шарахающиеся стада), овец же не было по времени года: в апреле они пасутся в других местах. От безлюдья и от всякого беззверья выглядела Джейранья степь фантастично и жутковато, чему способствовали причудливые холмы, окаймляющие ее, и косое скользящее освещение: закатные лучи светили так, что вокруг нас господствовали только два цвета: черный и красный. Снимать фильм, в котором действие происходит на другой, неведомой нам планете, следовало бы приехать сюда.

Название «степь» меньше всего подходило к этой местности. Холмы и долины создавали впечатление вот именно лунного пейзажа. Каждый камень, каждый бугорок с одной стороны держали на себе кусочек огненного заката, а с другой стороны отбрасывали длинную черную тень. И не было под ногами ни травинки и ни кустика, голая темно-коричневая земля. Говорят, скоро зазеленеет эта степь и станет на короткое время изумрудной. Может быть, может быть. Но, зазеленев, она не производила бы уже такого торжественно-мрачного и космического впечатления.

Джейранов нет, овец нет, и людей, кроме нас, случайно заехавших сюда, тоже нет. Издали, осевшая на один бок (яма под колесом), в красных косых лучах, наша машина показалась мне, по чужеродности с окружающей землей, космическим аппаратом, на котором мы сюда прилетели.

Прилетели на планету, а кругом пустота. Впрочем,

эту степь, как прообраз неведомой планеты, можно было бы еще пережить. Но что, если она прообраз собственной нашей будущей земли? Коль скоро исчезли джейраны, почему бы не исчезнуть со временем и другой земной живности: лебедям и волкам, слонам и барсам, орлам и лисам, ястребам и журавлям?

С одним человеком мы шли однажды по земле. У человека было ружье. Вдруг с дерева вспорхнула шумная птица. Мой спутник проворно выстрелил, птица, мягко, но громко шлепнувшись, упала на землю.

— Зачем она тебе?

— Низачем.

— Зачем ты ее убил?

— А чего она летает?

Через некоторое время на дереве мы увидели белку. Не успел я ничего сделать, как ружье снова выстрелило. Зверек запрокинулся на ветке и, некоторое время покачавшись на одной лапке, полетел вниз.

— Зачем ты ее убил?

— А чего она бегает?

Нет, не устоять природе перед человеком, со стреляющим орудием прогресса в руках.

Прогресс свойствен только человеку. У зверей и растений никакого прогресса нет. У них, в лучшем случае,— эволюция. Получается, что животный и растительный мир нашей планеты — это как бы неподвижные берега, в которых несется бурный и мутный поток человечества. Поток размывает и частично уничтожает берега. Вот, как видим, исчезли стада джейранов.

Мой коллега и гостеприимный хозяин, заметив, какое мрачное, пусть и торжественное впечатление произвела на меня степь, словно бы извиняясь, заговорил:

— Да, этот уголок нашей республики мрачноват. Но мы здесь граничим с Арменией. До Севана каких-нибудь два часа езды. Дорога пролегает красивым Дилижанским ущельем. Поедем-ка завтра на Севан. Кроме прочего, там знаменитая севанская форель, душистый пар, нежное, розовое мясо.

И вот мы едем по Дилижанскому ущелью. Вчерашние шашлыки и вареная жирная баранина напоминает о себе приступами жажды. Мы останавливаемся, по круглым крупным камням подходим к светлой, стремительно мчащейся воде, намереваемся пить горстями, но шофер

подает стакан. Неправда, что вода из горсти вкуснее. Воду надо пить из стекла.

Второй раз мы пьем из родника, оборудованного, заключенного в трубу. Здесь уж мы не одни. Всякая машина, всякий прохожий останавливаются, чтобы постоять у воды, попить, взять с собой.

Едем дальше, и я размышляю о гостеприимстве, которым мне теперь приходится пользоваться. Система его ясна. Мой коллега и друг позвонил в райисполком этого отдаленного от столицы республики окраинного района и попросил разрешения привезти гостя.

Гостеприимство осуществляет теперь «район». Председатель райисполкома лично распоряжается, а иногда и ездит вместе с нами.

Это все хорошо. Но я стараюсь представить, насколько применима эта система к нашей какой-нибудь Владимирской, Вологодской, Рязанской области. Ну, положим, позвоню я в район и скажу, что приеду с азербайджанским (грузинским, украинским, таджикским) писателем. Что же, поможет мне председатель райисполкома? Где он возьмет овцу, чтобы приготовить из нее душистое, вкусное блюдо? И кто ему это блюдо приготовит?

Недостаточно ясно и распределение материальной ответственности. Не думаю, что коллега мой, у которого я теперь в гостях, сам покупает этих овец, этих кур и эти напитки. Сегодня, например, к нам присоединился почтенный, седовласый человек, много лет работавший председателем колхоза, герой, персональный пенсионер. Подозреваю, что сегодняшнюю поездку на Севан он, так сказать, возьмет на себя.

Мои размышления и догадки — из области «чистого искусства», потому что как гость я не могу ни вмешаться, ни исправить, ни даже спросить. Меня везут, мне показывают землю, меня поят и кормят, меня укладывают спать — я в гостях. Дай бог и нам научиться когда-нибудь такому гостеприимству.

Но как описать Севан?

«Есть что-то символическое в восхождении по Дилижанской спирали, словно дорога проложена не только в пространстве, но и во времени. За ярусами этого гигантского амфитеатра — голубая сцена Севана, которая поворачивается перед путником то одним, то другим тысячелетием...» — таким языком пишут теперь путеводители.

Один писатель сравнил Севан с куском неба, опустившимся среди гор на землю, другой — с голубым пламенем. Наверное, говорили также, что это заздравная чаша, поднятая землей в небеса, и что это драгоценный камень, вставленный как перстень в оправу гор. Но все слова вполне бесполезны, потому что больше всего Севан похож на море, а с морем обстоит дело очень просто: кто его не видел, тому ничего не расскажешь на словах, а кто его видел — тому не надо рассказывать.

Но Севан — особое, горное море. Десятки километров хрустальной холодной воды, пронизанной высокогорным солнцем и соприкасающейся с высокогорным воздухом, воды, кажущейся иногда голубым туманом, воды, становящейся вдруг ярко-синей и украшенной белыми барашками, воды, хранящей в себе серебряные стаи севанской форели — рыбы тоже уникальной и благородной, потому что может жить только в чистейшей и только в холодной воде, не терпя ни теплой бурды, ни мути.

Севан к тому же облагорожен и (можно ли так сказать?) дополнительно одрагоценен тем, что среди голубой севанской чаши положен остроганный камешек, а на камешке построен в девятом веке монастырский храм.

Нетрудно догадаться, что произойдет, если в боку каменной чаши, полной воды, просверлить дырочку. Вода постепенно вытечет. Именно так и поступили с Севаном. Зачем? А чего оно плещется!

Чего оно золотится под солнцем и серебрится в лунные ночи? Чего оно отражает в себе окрестные горы? Чего оно сияет, чего дышит прохладой, чего кормит народ прекрасной рыбой, чего питает тысячи родников в окрестных долинах, чего навевает легенды и песни, поэмы и просто светлые мысли, мечты и хорошее настроение духа?

Севан пока что вытек не весь. И мы увидели все же его ширь и его синеву. Только вот островок с монастырским храмом на нем превратился теперь в полуостров, в этакий узкий перешеек, один конец которого лежит среди севанской воды, а другой упирается здесь, на берегу, в современное, горизонтально-стеклянное здание ресторана. У ресторана мы остановили свою машину.

Всю дорогу мои спутники, мои хозяева, гадали, окажется сегодня в ресторане форель или нет. Конечно, ресторан для того и построен, чтобы угощать севанской форелью. Разварная севанская форель — специальность

этого ресторана. Но все равно, оказывается, можно приехать, а форели, скажут, сегодня нет. Приезжайте завтра.

Сегодня форель была. На больших блюдах носили груды этой редкой, если не уникальной рыбы. Положишь ее себе на тарелку, вверх спинкой, проведешь по спинке острием вилки, и она развалится на два пласта, обнажив розовое, сочное мясо. Пар и благодать, аромат и чревоугодие. Гора душистой зелени на столе: тархун, кинза, реган, цицмати. Коньяк темно-коричневый, многолетний, араратовский. Не успеем приняться, убирают пустое блюдо — несут другое со свежим паром, с горячим ароматом. Мне, как гостю, опять самую верхнюю, самую крупную на тарелку — бряк!

За соседним столом тоже, как у нас, воздвигаются горы из объеденных рыбьих скелетов. До хлеба никто не дотрагивается, мяса никто не хочет, идет в дело розовая, нежная, ароматная, сочная, тающая во рту, не отягчающая наших ненасытных утроб сереброкая разварная форель.

Монастырский храм надо было бы посмотреть сначала, до форели и коньяка. Все же остались в памяти темные камни с жесткой травой, пробивающейся между ними, прохлада тесноватого, ничем не украшенного интерьера, кованый железный крест в алтарной части и тонкие желтенькие свечечки, огарочки, прилепленные к темным камням там и тут. Когда мы вошли в храм, одна свечечка теплилась и светилась. Вспоминаю острое желание узнать, кто ее зажег. Ее не могли зажечь давно. Зажегший был в храме только что, перед нами, и кто же он был: пожилая женщина, старик, молодая армянка? Лежали у подножия креста живые цветы.

А нам — торопиться в обратный путь. Машина тронулась и, отъехав с полкилометра, остановилась. Мои хозяева, то есть мой друг и коллега, председатель райисполкома и герой-пенсионер, что-то начали обсуждать на своем языке, причем глаза всех троих невольно косили на багажник автомашины. Значит, догадался я, они говорят о чем-то, что находится в багажнике. Первым делом мне пришла мысль о взятых с собой на всякий случай запасах спиртного. Но что же тут обсуждать? Пить никто из нас больше не хочет, выбрасывать же такие запасы до сих пор было не принято.

Нужно сказать, что мысль моя с самого начала вышла на верный путь, однако ей не хватило фантазии. Поэтому она и остановилась на примитивных бутылках, не долетев, не поднявшись, не взорлив до той степени прозорливости, при которой я угадал бы, что находится в багажнике.

Посоветовавшись и, как видно, ничего не решив, друзья обратились ко мне.

— Ну, как, Володя,— осторожно заговорил мой друг.— Погода хорошая, близко течет река, может, посидим где-нибудь на травке?

— Не знаю... Воздухом, что ли, подышать? А сколько времени остается до поезда? Мы ведь должны сегодня уехать.

— Сегодня, завтра, какая разница?

— Но все-таки, что скрывается за этим свежим воздухом?

Тут они решили открыть свои козыри. Председатель вскинул крышку багажника, и я увидел в его глубине связанную по всем четырем ногам, не очень большую овечку. Она была бы, наверное, белоснежной, если ее хорошенько отмыть. Теперь же она казалась просто серой. Черные лаковые копытца, так изящно и точно очерченные тем, кто разрабатывал проект, беспомощно торчали в нашу сторону.

В сознании у меня сразу все сопоставилось. Мы — люди — целый день на свежем воздухе, на солнце, пьем родниковую воду, ведем задушевные беседы, осматриваем древности, едим форель, в это же время в багажнике, в темноте, в неудобном положении, связанная, приготовленная на заклание, ждет своей судьбы бессловесная тварь, наша сожительница по планете, участь которой с библейских времен и еще раньше — одевать нас и служить нам пищей.

Приручить в одном экземпляре или даже в ста экземплярах можно кого угодно: лося, белку, ежа, выдру, медведя и даже, говорят, крокодила. Но для того чтобы одомашнить, надо приручить целый вид и все потомство вида на веки веков. С тех пор как человечество себя помнит, ну, скажем, за четыре тысячи лет, не было одомашнено, по-моему, ни одного нового вида. Все уже было как бы дано: овца, коза, корова, лошадь, осел, собака, кошка, свинья...

Сейчас ученые подбираются к тому, чтобы воздействовать химическим путем на мозговые центры и на гены человека. Тогда можно будет, подмешав, скажем, химический препарат в водопровод, изменить психологию людей сразу целого города. Или народа. Или народов. Все станут покорные и смирные, как овечки. Ни одной мысли о собственной судьбе, ни даже сознания, что над тобой произвели какую-то химическую операцию. Тогда одна преступная группа людей или какое-нибудь одно государство, в руках у которого окажется ужасное снадобье, может добиться того, чего многие на протяжении истории пытались добиться силой грубого оружия — мирового господства. Повезут вот так же в багажнике, когда поедут осматривать интересные древности!

Но вернемся к нашей овце. Говорят, и раньше, в незапамятных веках, цивилизации на земле достигали время от времени своих высот. Не было ли произведено когда-нибудь подобного воздействия на гены некоторых видов животных? Или, может быть, пришельцы из других миров, представители других, покровительствующих Земле цивилизаций, которые, как говорят, время от времени вносят коррективы в течение нашей истории, помогли нам и сделали для нас покорными домашними овцу, козу, корову, лошадь, осла, свинью, собаку, кошку?

Нет, вероятно, все было проще. Если приучать из поколения в поколение, можно приучить и человека, не то что овцу. Постепенно сами собой изменяются гены, появляется новая психология. И вот она лежит в багажнике, и нет ни мольбы, ни презрения в ее глазах. Лежит и смотрит черными, маслянистыми, ничего не выражающими глазами.

Эту овцу мне стало жалко. Если бы в ресторане не оказалось форели (а именно на этот случай и была взята овца), то несколько часов назад, на зеленой траве, около быстрой речки, при виде неоткрытых еще бутылок и разгорающегося костра, я, наверное, другими глазами посмотрел бы на эту овцу. Ну, отвернулся бы, может быть, отошел бы в сторону на некоторое время. А потом — душистый шашлык и задушевные разговоры.

Теперь мало того что решили овцу не резать (это решение не трудно было принять на сытый желудок), во мне под воздействием коньяка проснулись вдруг особые чувства.

— Друзья! Давайте мы этой овце сохраним жизнь.
— И так решили.
— Нет, не сейчас, а вообще.
— Как вообще?
— Ну... Давайте развяжем ее и отпустим на волю!

Друзья посмеялись моему чудачеству, но я продолжал:
— Я ваш гость. Мы на Востоке. По восточному обычаю желание гостя — закон. В конце концов, если бы я вас попросил подарить мне ее, неужели бы вы отказали? Так вот, я прошу — ради чудесного дня, ради Севана, ради этой реки, ради этого облака — подарите мне несчастную овцу, отпустите ее на волю.

Смех прекратился. Друзья тревожно и быстро заговорили на своем языке. Моя просьба озадачила их. С одной стороны, чего бы и не подарить. Подумаешь, овца, все равно бы съели. Но с другой стороны — прихоть, каприз, и нужно ни за что ни про что лишаться целой овцы. Как ребенка, захотевшего слишком дорогую игрушку, начали уговаривать и просить:
— Послушай, дорогой Володя, ты, правда, наш гость, нам для тебя ничего не жалко. Но это бессмысленно. Все равно ведь через полчаса ее превратят в шашлык.
— Кто превратит?
— Первый, к кому она прибьется. Не побежит же она в горы, в ущелье, а побежит она к человеку, к человеческому жилью. Ну, тут — готово.
— А мы увезем ее подальше, в дикие места.
— Нет теперь диких мест. Везде люди.
— Я придумал. Увезем ее во вчерашнюю Джейранью степь. Во! Там — ни души. Пусть порезвится, подышит вольным воздухом, почувствует вкус свободы.
— Послушай, дорогой Володя, ничего она не почувствует. Ей будет очень плохо. Она будет всего бояться. В одиночестве и без людей она будет страдать. Те часы, а может быть, и дни, пока она не прибьется к человеку, будут для нее кошмарным сном. Зачем мы будем бедную овечку подвергать таким жестоким мучениям?
— Но ведь земля большая, впереди весна и лето, неужели она не сможет прожить? Живут же некоторые: лось, олень, дикий кабан.
— Они живут, а она не сможет. Она отвыкла. Она хочет, чтобы отара, чтобы ферма, чтобы зоотехник и кормовой рацион, чтобы ее пасли, стригли...

— Резали.

— Ну и резали, если надо. Ты успокойся, мы сыты, шашлык сегодня жарить не будем, сейчас поедем домой, скоро поезд...

Багажник захлопнулся, и мы покатили дальше.

Перед поездом, собирая вещи (надо и присесть на дорогу, и выпить чаю из самовара, хлопотливо раздуваемого во дворе, и этот, как его... посошок), некогда было думать о бедной овце.

До чемодана дотронуться не дадут. Мы с другом идем впереди, словно два президента, а сзади несколько человек: тот несет чемодан, тот — другой чемодан, тот — сверток с зеленью на дорогу, тот — сверток со свежим хлебом на дорогу, там еще какие-то бутыли, корзины, а под конец нам в купе, уже через окно, подали большую картонную коробку. Высвобождаются в продовольственных магазинах такие коробки из толстого картона. Не знаю уж, из-под чего они высвобождаются, но знаю, что в дорогу удобно в них укладывать и увязывать разные вещи.

Мой друг, принимая хорошо увязанную коробку, невольно крякнул, и руки его невольно опустились под тяжестью — не ожидал.

— Что там такое тяжелое? — полюбопытствовал я.

— Рис, наверное.— У них на базаре бывает очень хороший рис для плова, такого и в Баку не найдешь.

С большими усилиями он поставил коробку наверх над дверьми в купе, и я время от времени, сам не зная почему, на нее взглядывал.

Сначала на картоне появилось темное пятнышко с трехкопеечную монету, потом оно пошло шириться, растекаться во все стороны, и вскоре превратилось в широкую бесформенную кляксу. Картон намокал изнутри, и мы с другом, каждый про себя, знали, что от риса картон намокать не будет. Я сказал:

— Подвинь ее подальше. Не стало бы капать.

Друг ответил:

— Капать не будет. Кровь-то они спустили. А это просто так. Оттого, что парное мясо.

«Восхваление Гомера»

В небольшом захолустном городке, в трехстах километрах от Москвы мне посчастливилось купить несколько прекрасных старинных вещей, чудом сохранившихся и доживших до нашего времени. Их владелец писал в письме: «Все, кто заходит в мой дом, ужасаются обстановке и говорят, что пора выбросить весь этот хлам, но я жалею. Среди этого хлама жизнь прожита. Однако с некоторыми вещами я мог бы теперь расстаться. Поймите и то, что мне перевалило за восемьдесят...»

Если бы он написал, что люди удивляются, недоумевают, смеются, осуждают,— можно было бы сомневаться и колебаться, но, прочитав, что люди «ужасаются», я понял: дело тут серьезное и нужно скорее ехать.

Интересно было, кроме того, посмотреть на предметы, которые вызывают ужас у современного человека, живущего в небольшом, отдаленном городке. Не орудия же средневековых пыток собраны у него и развешаны по стенам, расставлены в комнатах? Не колесо для четвертования, не клещи для рванья ноздрей? Не музей восковых фигур с той долей натурализма, когда человек не может решить, чего больше слышит в себе — болезненного любопытства или действительного ужаса?

Я быстро отыскал тихую улочку, а на ней нужный дом. Этот уголок на земле не захватило еще многоэтажное, крупноблочное строительство, и улица была, как улица — два порядка домов, а в каждом доме — надо полагать — одна-единственная семья.

В Москве люди расстаются со старыми, дорогими сердцу вещами, отвозя их в комиссионные магазины в трех характерных случаях.

1. Умерли старики-родители, и молодежь немедленно меняет обстановку в доме, выбрасывая (иногда выставляя на лестничные клетки) прекрасные и драгоценные вещи, а ставя стандартную и безликую дешевку.

2. Семья (вместе со стариками) переезжает из насиженного места в кооперативную малогабаритную квартиру (в Кузьминках, Нагатине, Чертанове), в которой старому шкафу или буфету просто не уместиться по высоте.

3. Семья хочет купить кооперативную квартиру и собирает на это деньги.

Ни одно из этих трех обстоятельств, столь понятных всякому человеку, не подходило к нашему случаю. Письмо прислал мне сам хозяин дома, а не кто-нибудь из его потомков. В кооперативную квартиру в своем возрасте он едва ли стал бы переезжать. Судя по письму, не было и острой нужды. Но было все более обыкновенно, трогательно, более, я бы сказал, по-человечески... «...поймите и то, что мне перевалило за восемьдесят и я хотел бы знать, что вещи, среди которых я прожил жизнь, не выброшены на свалку, не распроданы неизвестно кому, а находятся у человека, который мне симпатичен и который может их по достоинству оценить».

Интеллигентное, подлинно интеллигентное письмо. Удивительно ли? Он окончил Московский университет еще в 1914 году.

В другом месте и по другому поводу я, может быть, расскажу подробнее об этом человеке, о судьбе его близких, о его судьбе, о его доме. Теперь у меня другое на уме, и достаточно того, что я нажимаю кнопку звонка у двери и слышу уже некоторое движение в недрах сеней и сейчас мне откроют.

Итак: «Все, кто заходит в мой дом, ужасаются обстановке...» Приготовив себя к преодолению ужаса, я переступил порог.

Судьба благоприятствовала мне, как она умеет иногда благоприятствовать, не объявляя мотивов своего доброжелательства. Хозяин ушел на почту и хотел еще зайти в магазин, а открыла мне посторонняя женщина тетя Зина, которая приходит раз в неделю (все это выспрошено у нее) убраться и помочь по хозяйству. Она была предупреждена о моем возможном приезде и потому позволила мне ходить по комнатам и разглядывать все с той

бесцеремонностью и дотошностью, которые были бы бестактны и даже невозможны в присутствии самого хозяина дома.

Шкаф «монашка» с «пламенем», пирамидально пробегающим по ящикам и расцветающим на выпуклых дверцах шкафа. Меня поймут ценители «пламени». Через полчаса я узна́ю, что этот шкаф стоял раньше в доме знаменитого Владимира Дурова.

Прекрасные мягкие кресла из сплошного красного дерева, находившиеся в Художественном театре до той поры, как Станиславский решил поменять всю мебель. Бронзово-мраморные часы «Восхваление Гомера».

Гарднеровское настенное блюдо с подглазурной живописью, изображающей встречу Александра I и Наполеона на середине Немана, на плоту.

Большие настенные блюда с изображением дворцовых сцен. Ценитель фарфора сказал бы про них, имея в виду их происхождение, что это «хорошая Вена».

Канделябры, красного дерева кабинет (с бронзой), французский хрусталь, русское серебро с эмалями и без них, Бенуа, Левитан, неизвестные мне голландцы. Было чему ужасаться жителям местного городка.

Собственно говоря, тут были вещи, которыми был набит, вероятно, каждый купеческий дом в России (а таких домов было десятки и сотни тысяч), но которые потом все расточились, словно их выдуло ветром, исчезли с лица земли, уступив место дешевым шифоньерам, бумажным цветам, репродукциям из «Огонька» и копиям с шишкинских «Мишек» в багетных рамках, измазанных пупырчатой бронзовой краской.

Нашелся уголок, как бы ямка, в которой застряло и уцелело от сквозняка несколько крупиц, и вот я хожу, разглядываю и поражаюсь не столько подлинности драгоценных вещей, сколько тому, что они застряли и уцелели. Не нужно представлять, что я ходил по просторным гостиным, кабинетам, столовым. Когда-то были, наверно, просторные комнаты, а теперь все сократилось во много раз и размеры комнат, и количество их, а главным образом количество вещей. Остались только приметы, признаки, так сказать, стрелочки, показывающие главные направления в главные сферы прежнего быта.

Было русское серебро? Было. От трехсот, допустим, предметов осталось десять.

Было собрание живописи? Да. От пятидесяти картин осталось пять.

Были женские украшения? Ну а как же! Видите портрет покойной жены хозяина дома? Нитка жемчуга спускается ниже пояса, а жемчуг словно лесной орех. От драгоценностей, наполнявших шкатулку, остались одни-единственные сережки. Но и они все равно годятся в музей. И так во всем. От большого гарнитура — два кресла. От хрусталя на шестьдесят четыре персоны — девять, четырнадцать, а то и пять разрозненных бокалов и рюмок. Но, собранные в небольших, тесных комнатах, и эти остатки все еще производили впечатление и напоминали о богатстве, о вкусе и красоте, об ином ритме, об ином течении жизни.

Мне были названы предметы, которые могут быть проданы (а некоторые подарены), мы сошлись в цене, и осталась только одна проблема — найти грузовик. Он понадобился из-за дуровского шкафа и мхатовских кресел, потому что все остальное, включая и часы «Восхваление Гомера», поместилось бы в легковую машину. Пришлось обратиться на местную автобазу. Через час с небольшим к дому подъехал фургон («ГАЗ-51»), и водитель Владимир Мефодиевич (какие еще сохранились местами отчества!) открыл у фургона заднюю дверь. Началась погрузка и увязка вещей.

Владимир Мефодиевич — мужчина лет сорока — сорока трех — сразу расположил меня к себе. У него было простое и вместе с тем характерное русское лицо из тех лиц, что остались от северных угро-финских племен, пришедших некогда со славянами в историческое, мирное, взаимно ассимилирующее соприкосновение. Белесые волосы, широковатый рот, голубые глаза, несколько угловатые со впадинами височные кости. И был он очень на месте в кабине своего грузовика. Если бы играть ему в кино какую-нибудь роль-типаж, то, верно, больше всего подошло бы ему играть именно роль грузового, периферийного, на громыхающем и готовом развалиться на мелкие части грузовике, спокойного и положительного шофера.

Шкаф мы положили на спинку поперек кузова вплотную к кабине. Часы сначала поставили в ящик, купленный мною за сорок копеек в продовольственном магазине, натискали в пустые места ящика старых тряпок и только тогда уж подняли в кузов. Но, может быть, не все

представляют себе размер и конфигурацию часов «Восхваление Гомера».

Им полагается стоять на специальном столике, на каминной полке или на очень просторном кабинетном столе. Внизу у них четыре бронзовые лапки, на которых они и стоят. Расстояние между лапками по ширине двадцать пять, а по длине пятьдесят пять сантиметров. На этих бронзовых лапках покоится массивный беломраморный остов, прямоугольный, украшенный со всех сторон бронзовыми барельефами. Внутри он полный, иначе негде было бы поместиться часовому механизму и маятнику. Левая часть этого мраморного остова выше правой (похоже на печь с трубой). На высокой части, как бы на постаменте, установлен бронзовый бюст Гомера. На нижней части — бронзовая муза протягивает Гомеру венок. Все сооружение семьдесят пять сантиметров высотой и весит около двух пудов.

Эти часы, вернее, ящик с этими часами, мы поставили посредине кузова, ближе к шкафу, но так, чтобы ящик не тер красную полированную стенку шкафа. Пришлось между ящиком и шкафом тоже натискать старых тряпок.

Кресла хорошо встали по бокам, а чемодан с фарфоровыми блюдами и кое-какой хрустальной мелочью удобно уставился вдоль борта: оставалось от шкафа место как раз втиснуть и закрепить чемодан. Пока я прощался с хозяином, Владимир Мефодиевич опутывал вещи длинной белой веревкой. Поглядев, как это у него получается, я понял, что придется вмешаться и внести исправления в его замысловатую, импровизированную систему узлов, перехлестов, оттяжек, перетяжек, петель. Коренная ошибка Владимира Мефодиевича крылась в том, что голову Гомера, находящуюся географически в центре кузова, он использовал при вязании как главную опорную точку. Он захлестывал веревку за борт, потом за какую-нибудь вещь, потом тянул к бронзовой голове, обкручивал веревкой бронзовую шею и снова тянул конец к борту. Получались веревочные лучи, род паутины с Гомером в центре.

— Отец у меня говорил: «Вяжи — плачь, поезжай — смейся!» — пояснил Владимир Мефодиевич свои старания.

— Представьте, у меня отец говорил то же самое. Но как бы нам не пришлось плакать, когда приедем на место.

— А что такое?

— Да вот — часы.

— По-моему, я их хорошо увязал. Видите какие оттяжки.

— То-то вижу. Кузов во время езды будет перекашиваться, ходить в разные стороны. Одну оттяжку будет натягивать, а другую ослаблять. И каждое движение кузова будет неизбежно передаваться бедной Гомеровой голове. К концу дороги его раздергает так, что привезем мы не часы, а кучу лома.

— Как же быть?

— Надо закрепить по возможности на одном месте сам ящик, чтобы он не бегал по кузову, а голова пусть останется свободной. Если ящик и сдвинется с места, это не страшно. Страшно, если он будет подпрыгивать. Но против этого мы с нашей веревкой ничего не сделаем. Чтобы часы не подпрыгивали, зависит только от дороги и от вас, от водителя. Вам приходилось возить когда-нибудь часы «Восхваление Гомера»?

— Что вы! Мы возим все больше простые грузы: коровью тушу, консервы, мешки с картошкой. Ну, правда, бывает, что стеклотара. Тоже деликатный предмет.

Хозяин вышел на крыльцо проводить нас.

— Счастливо. Сейчас вы — до города — пятьдесят, да там сто, да еще двести...

— Не, на город мы не поедем,— вдруг заявил Владимир Мефодиевич.— Мы на Гриднево.

— А дорога здесь как?

— Отличная дорога. На той неделе по ней ехал.

— Короче, что ли? — забеспокоился я.

— Да, попрямее.

— Бывает, лучше сто километров по хорошему асфальту, чем пять километров по проселку.

— Не, здесь хорошая дорога. Все время ездим.

— Грейдер или камешки?

— Да не беспокойтесь вы. Неужели мы свои дороги не знаем?

Я понял, что мой Владимир Мефодиевич начинает упорствовать и сердиться, и сказал себе: будь что будет. Мы помахали хозяину, который тоже махал нам, стоя на крыльце, и машина тронулась.

Нельзя не сказать несколько слов, какая это была машина. Когда Владимир Мефодиевич стал переводить

скорость с первой на вторую, раздался скрежет такой надсадный и продолжительный, что, право, не знаю, каким способом можно было бы вызвать его искусственно, если бы вдруг понадобилось. Быстро вращающееся зубчатое железо скрежетало о зубчатое железо, и когда наконец шестеренки вошли там одна в другую, почувствовалось облегчение, словно внезапно перестала болеть голова или утих зуб. Сложное дребезжание всей машины в целом казалось легкой музыкой по сравнению со скрежетом передач. Но так казалось только первые полчаса. Дребезжание в сочетании с урчанием мотора начало постепенно давить на уши.

— Удивительно, но она едет! — нарочно попробовал я поддеть шофера.

— Так ведь она для того и создана, чтобы ехать,— спокойно ответил тот.

— Когда создана?

— Одиннадцать лет назад.

— А сколько прошла?

— Свое, положенное, она уж три раза прошла. После капиталки вторую сотню наматываю. Да учесть наши дороги.

— Списать бы ее...

— Давно пора.

— Ну и что же?

— Экономия средств. Да вы зря на нее напали. Гремит, конечно, особенно без привычки. Но ездить можно. Тридцать километров спокойно. А на хорошем асфальте с разгоном — до сорока.

— Век космических скоростей...

— Так это где? В космосе! А мы пока на земле.

— Не может ли случиться так, что она вдруг развалится на ходу и мы окажемся сидящими на голом асфальте? Судя по ее дребезжанию...

— Не беспокойтесь, долетим, как на крыльях.

Скорость машин, потом, на большом шоссе, обгонявших нас, казалась вот именно космической. В моменты обгонов мне чудилось, что мы едем не вперед, а назад. Но нужно сказать по справедливости, что за все десять часов езды машина ни разу не остановилась, и мы доехали в конце концов, и я много раз вспоминал известную восточную мудрость: «Не бойся двигаться медленно, бойся стоять на месте».

Между тем мы проехали городок, пересекли в одном месте прекрасное, чистое от снега и льда шоссе, и на окраине выбрались на ту самую дорогу на Гриднево, по которой решил прокатить меня Владимир Мефодиевич и которая, по его словам, прекрасна.

На первых же метрах этой прекрасной дороги наш фургон перекосило, передернуло, он резко и громко подпрыгнул. Конечно, не слышно из кабины, но мне почудилось, что я слышу, как подпрыгнули в кузове мраморные часы, а вместе с ними и чемодан с фарфоровыми блюдами, с хрусталем.

Владимир Мефодиевич болезненно поморщился и сбавил скорость почти до остановки. На его лице появилось недоуменное выражение.

— Сколько лет езжу, а этой ухабы не замечал!

Характер дороги был таков. В основе своей она была, по-видимому, каменной, но за зиму на ней наросло льда и укатанного снега слоем сантиметров до двадцати. Оно бы и ничего. Но по каким-то причинам и законам черный как уголь лед местами проносился, протаял, образовались как бы ячейки, а проще сказать, выбоины, попадая на которые неизбежно должна была подпрыгивать наша машина.

Скорее всего дорога всю зиму была такой. Но везя мешки с картошкой или коровью тушу, не думаешь, резко ли и высоко ли подпрыгивает сзади кузов. Поэтому в сознании Владимира Мефодиевича эта дорога жила, как прекрасная и ровная. Собственноручно увязывая и перевязывая часы, он проникся их уязвимостью, хрупкостью, почувствовал их «запас прочности». Поэтому на первых же метрах дороги он и начал морщиться на каждом толчке.

Почти ощупью машина объехала две большие выбоины и понеслась было на все свои триддать километров, как нас снова тряхнуло.

— Хорошая дорога была...— про себя, но извиняющимся тоном говорил Владимир Мефодиевич,— все время ездили. И на той неделе я ехал.

— Возвратиться пока не поздно и выехать на асфальт...

— Теперь чего уж. Дело заехано...

Да. Вот еще одно обстоятельство: дело заехано. Развернуться и проехать назад три километра, но зато избе-

жать пятидесяти отвратительных километров, как-то получается против характера и против души. Дело заехано. Хорошо ли, плохо ли, надо продвигаться вперед.

— Там, на асфальте, тоже выбоины. Полно́. Другой раз так подкинет! А скорость там — больше. Поэтому самая маленькая выбоина...

Владимир Мефодиевич теоретизировал, черная ледяная дорога ползла нам навстречу, стараясь судорожно подсовывать под колеса свои наиболее ровные места, я молчал и прислушивался к происходящему в кузове, а по сторонам дороги проплывали солнечные мартовские пейзажи, наша средняя, наша русская сторона.

— На той неделе ехал, замечательная дорога была. Ни разу и не тряхнуло. Едешь, как спишь.

Я посмотрел на Владимира Мефодиевича и увидел, что от напряжения у него на лбу выступили мелковатые капельки пота. Как и для меня, каждый толчок, каждый перекос кузова, каждая его подпрыжка отзывались для водителя болью, словно мы не в кузове везли хрупкие и драгоценные вещи, но словно было нечто хрупкое внутри нас самих и вот-вот оно разобьется.

— Дорога осталась прежней,— решил и я привнести свою долю теории.— На той неделе она была такой же плохой... Но, собственно, почему она плохая? Мы ведь не завязли, не сползли в кювет, мы едем по сухому твердому месту. Значит, можно сказать, что вы правы: дорога осталась такой же хорошей, какой она была на той неделе. Все дело в вашем отношении к этой дороге. И все дело в том — что́ везти. Для коровьей туши она просто великолепна, а для «Восхваления Гомера», ну, как бы это сказать... жестковата.

— Да, немножко я не учел... А так-то мы все время здесь ездим. Даже и стеклотару я возил — ничего.

— Стеклотара небось в специальных ящиках, с перегородками. Для каждой бутылки своя ячейка.

— Это уж конечно. Бывает, разобьется одна-другая. Без этого тоже нельзя.

— Вот и новая разница. Бутылки, которые бьются,— все одинаковы. А наши часы — большая редкость. И блюда тоже. Так что боя быть не должно.

— Всю жизнь вожу, даже и не знал, что существуют такие предметы. Приходилось, ну... Шифоньер, ну диван-кровать один раз перевез. А ведь это что? Едешь, словно

стакан с водой на голове везешь. Значит, я так понимаю: разные вещи, разные должны быть и дороги?

— Почему же? Дорога может быть одна, но только хорошая.

Машину снова тряхнуло.

— Давайте отдохнем,— взмолился Владимир Мефодиевич,— постоим. Не могу больше. Такие колдобины. И откуда они взялись? Все время ездим. Хорошая дорога была.

— У меня такая уж специальность.

— Какая специальность? — удивился Владимир Мефодиевич.

— Чтобы плохое казалось плохим, а хорошее хорошим. Настоящее — настоящим, а мнимое — мнимым...

Перед выездом на большую асфальтированную дорогу я решил подвести для интереса некоторые арифметические итоги.

— Значит, так. Если бы мы поехали сразу по шоссе, мы бы сделали?..

— Пятьдесят до города, да еще двадцать до этого места, где мы сейчас выезжаем на асфальт.

— Семьдесят. Правильно я вас понял?

— Семьдесят.

— А здесь?

— От силы уж — сорок пять.

— А по времени?

— По времени... Сами видите, как мы ехали.

— Нет, если бы нормально. С коровьей тушей.

— Если нормально, как ни говорите, а минут двадцать выгадываем, а то и полчаса.

— Разве это выигрыш? Зачем же вы ездите по этой дороге, а не по хорошей в объезд?

Владимир Мефодиевич не сразу нашелся, что ответить, но ответ его оказался, можно сказать, классическим для выражения характера русского человека.

— Ну как же,— убежденно ответил Владимир Мефодиевич,— все-таки попрямее.

Под колеса пошло стремиться ровное широкое полотно асфальта. Машина не прыгала больше, ее не брало на излом с угла на угол, не испытывало на удары и на растряску. Не требовалось больше ежеминутного скрежещущего переключения скоростей. На одной и той же третьей передаче наш фургон, равномерно вибрируя и дребезжа,

шел, развивая скорость чуть ли не до пятидесяти километров. Когда мы оставались на шоссе одни, могло показаться, что мы мчимся с ужасной скоростью. Но когда с коротким рыканьем проносились мимо нас черные лаковые машины, то наш фургон останавливался и даже ехал назад. Но это не портило нашего настроения. Мы расслабились. Лоб у Владимира Мефодиевича обсох.

— А погодка-то, а? — заметил наконец он сияющий солнечный март по сторонам от дороги.— Погодка-то разгулялась. Кр-расота...

Картинка на стекле

Я выпрашивал у старухи деревянный старообрядческий крест, и дело мое было вполне безнадежно. Старуха сказала:

— Нет, милай, буду стоять, как часовой на посту, до последнего дня!

В это время из-за перегородки вышла сравнительно молодая, во всяком случае не старше сорока лет, женщина. Она слышала, наверное, весь наш долгий, упорный и ни к чему не приведший разговор. Она захотела смягчить суровость и непреклонность своей матери и подсластить мое отступление из избы.

— Если будете во Владимире, заходите. У меня есть картинка на стекле. Я хотела отдать в музей, а они не приходят.

Картинка на стекле — не икона, не деревянный писаный крест, но дело в том, что, собирая какую-нибудь одну старину, невольно начинаешь обращать внимание и на все другое, на чем лежит печать времени. Или, вернее, что рисует теперь для нас картину ушедшего времени, через что можно лучше его увидеть и лучше понять. Появляется вкус к старине, в каком бы виде она ни проявилась.

Зайдя мимоходом в магазин, где продают старинные вещи, невольно теперь будешь разглядывать и веер из страусовых перьев, с каким могла ходить в оперу Анна Каренина, и подсвечник, с каким мог шествовать по своему дому Арбенин, и часы, какие могли стоять на камине у Державина. И бокалы, из которых пили; и тарелки, с которых ели; фарфор и бронзу; стул и медальон; и серебряную чарку; и трость с набалдашником из слоновой кости; и шкатулку из малахита; и печатку из топаза;

и многое-многое другое, что нельзя и предположить, пока не увидишь.

Разглядывая вещи, выставленные на продажу, нельзя не посмотреть и на цены. Сначала подивишься ценам, потом привыкнешь, потом поймешь, что продаются вещи в сущности дешево, что по своей неповторимости они могут стоить и больше. Они больше и стоят, но кто может точно определить их цену?

Кто-то из серьезных людей, чуть ли не Диоген, стоя перед антикварным магазином (уже тогда, значит, была своя старина!), воскликнул: «Как много на свете вещей, которые мне не нужны!»

Другой тоже серьезный человек начал собирать как будто ненужные вещи и положил основание Британскому музею.

Эти два противоположных воззрения сохраняются и сегодня. Один за старинную керосиновую лампу не даст и трех копеек, потому что есть электричество, другой заплатит за нее большие деньги. Я знаю, что есть любители, которые собирают старинные керосиновые лампы.

Что касается цен, то на одном случайном, но редчайшем сопоставлении я понял: цены — дело условное.

В антикварном магазине на Арбате некоторое время стоял и красовался хрустальный елизаветинский кубок. На нем были изображены и сама Елизавета, и русские победоносные знамена, и перекрещенное оружие. Я же, повертев кубок в руках, больше всего заметил три маленьких воздушных пузырька в глубине витой ножки: два пузырька близко один от другого, а третий — поодаль. Я еще тогда подумал: «Вот особая примета кубка, как родинка у человека, не спутаешь ни с каким другим». Кубок продавался за сто шестьдесят рублей.

В этом месте предвижу затруднения, если захотел бы опубликовать рассказ, слышу справедливые замечания редактора:

— Разве можно писать про такие цены? А вдруг рассказ попадет в руки рабочего человека, простого труженика, который за целый месяц зарабатывает столько же, сколько стоит этот один стеклянный, пусть хоть и елизаветинский кубок. Тактично ли об этом упоминать?

Но что же сделаешь, если существуют такие цены на старину? На том же Арбате, в букинистическом магазине недавно лежали «Мертвые души» в старинном издании

с иллюстрациями. Цена книги была двести рублей. Тактично ли, нет ли, а полных двести. За фарфоровую статуэтку, за бронзовую группу, за единственную тарелку, за чашку с блюдцем, которые вовсе могут не понравиться рабочему человеку, любители платят и пятьдесят, и сто, и триста рублей. Однажды продавался серебряный ковшик петровского времени за 1700 (одна тысяча семьсот рублей). Четыре дня полежал и исчез — купили. Тут уж надо мерить не месячной зарплатой, а годовым заработком квалифицированного рабочего, служащего, интеллигента. После этого покажется, что хрустальный елизаветинский кубок продан был вовсе дешево.

Очень мне хотелось подержать в руках бокал за такую цену. Я и подержал, приняв все меры предосторожности, а три родимых пятнышка — три воздушных пузырька в витой и прозрачной ножке кубка я заметил случайно, в силу механической, может быть, впрочем, профессиональной наблюдательности.

Месяца три спустя волею судеб я оказался не где-нибудь, а в Париже. Гостиница, в которой меня поселили, находилась в Латинском квартале, а квартал этот, кроме своей всемирно известной Сорбонны, славится маленькими антикварными магазинами. Их там множество в узких улочках и переулках и самого разного пошиба. От тех, что производят впечатление развала, или по-нашему, «барахолки», до тех, в которые входишь, как в какую-нибудь графскую гостиную. Никого в магазине нет. Когда вы открываете наружную дверь, звонко щелкает звонок над головой. На этот звонок из внутренних комнат выходит хозяйка, спрашивает, что вам угодно.

Мне было угодно взять в руки и посмотреть елизаветинский кубок, который я углядел еще с улицы, сквозь витринное стекло, частью отражающее парижскую улицу, частью позволяющее видеть внутренность магазина.

Хотите мне верьте, хотите нет, кубок оказался тот самый, с тремя пузырьками в прозрачной ножке, и пузырьки те же: два близко один от другого, третий — поодаль.

Бокал стоил теперь четыре тысячи пятьсот новых тяжелых франков. То есть, значит, даже по официальному курсу — девятьсот рублей, а уже не сто шестьдесят. Если же взять покупательную способность франка... Не

будем ее брать, не будем углубляться в дебри денежных счетов и пересчетов. Важно, что я понял, почему в московских антикварных магазинах продается в течение нескольких дней любая старинная русская вещь, какая цена на ней ни была бы обозначена. В Латинском квартале Парижа или в соответствующих кварталах Лондона, Рима, Стокгольма, Нью-Йорка она, эта вещь, все равно продается дороже.

«Картинка на стекле», обещанная мне Алевтиной Петровной, занимала мое воображение. Адресок был записан. Относить ли к неудаче, что я по незнанию зашел не с того конца улицы, и мне пришлось пройти ее всю, от первого дома до 194-а. Улица была деревенского вида с деревянными домами, с палисадниками, с водопроводными колонками, расставленными вдоль по улице на некотором расстоянии друг от дружки. Однако нужный мне дом 194-а не походил на собственно деревенского типа домик, а походил скорее не то на барак, не то на четырехквартирный сборный дом, из тех, которые называют «финскими».

Мое длинное путешествие по глинистой улице вознаграждалось тем, что Алевтина Петровна оказалась дома. Она сама и открыла мне. По ее затрапезному домашнему платью и по всей ее женской неприбранности я понял, что у нее стирка. Так оно и оказалось. Проходя через тесную кухню, я должен был жаться к стене, чтобы не задеть за острый цинковый угол корыта, стоящего на табуретке и наполненного грязновато-мыльной водой.

В комнате, куда я прошел, не было никакой обстановки. Дешевый шифоньер, никелированная кровать, неубранная с ночи, четыре табуретки. Лампочка под потолком без абажура свисает на белом шнуре, обмотанном в одном месте черной изоляционной лентой. На стене два размывчатых фотографических портрета.

Странно было бы среди всего этого встретить антикварную вещь.

Алевтина Петровна усадила меня на табуретку, а сама, сунувшись под кровать, достала и понесла скорее к корыту, стирать пыль, нечто в позолоченной рамке. Я успел увидеть только, что пыль лежит на стекле белыми пуховыми хлопьями.

Но вот картинка в моих руках. На стекле, с обратной его стороны, изображена отдыхающая Диана. Размер 45 на 35 сантиметров. Масло.

Богиня охоты сидит в задумчивости на маленьком диванчике с бахромой. На коленях у охотницы лук. Тут еще антураж: колонна, каменная ограда, деревья. Стекло вставлено в рамку, очень строгую, изящную, никак не соответствующую самой картинке, производящей впечатление примитивного и кустарного изделия, хотя и не лишенного некоторого артистического вкуса. Отметив про себя это несоответствие рамки и картинки, я вернул стекляшку Алевтине Петровне.

— Не нужна?

— Да, знаете ли... Как-то не знаю...

— Значит, выброшу... Два года назад говорила музею, обещали прийти. Не пришли. Мне она тоже не нужна, выброшу. А игрушки-то не хотите посмотреть?

— Какие игрушки?

— Из меди, из глины.

— Откуда они у вас?

— Как и картинка, вместе с домом достались.

— С этим домом? Он же не старый.

— Сюда мы недавно перебрались. До этого была у нас гнилая хламида. Мужниной родни дом.

— Скажите пожалуйста!

— Да. У Коли бабка была из очень богатой семьи. Ее родители жили в замке на Украине. И было у них сорок штук одних только борзых. Уж, наверное, жили они неплохо, если кормили столько собак. Большую собаку прокормить не легче взрослого человека.

— Ну, если был замок...

— И вышла эта бабка замуж — тогда она, конечно, не бабка, а девица была — за Александра Сергеевича Огаркова, тоже богатого человека, из нашего города... Погоди-ка, где-то у меня бумажка была.

Алевтина Петровна покопалась в ящике и подала мне пожелтевшую визитную карточку, на которой действительно было написано золотой каллиграфией «Александр Сергеевич Огарков».

— Этот Александр Сергеевич был дед моего мужа. Как уж они познакомились, где, я не знаю. А игрушки я сейчас покажу. Остатки. Три шкафа было этих игрушек. Теперь я и сама Огаркова. По мужу. Дом был большой, старый. Достался нам. Что с ним делать? Три шкафа с игрушками. Посуды одной — страсть! В нашей тепе-

решней квартире и не поместилась бы вся посуда. А мебели этой старинной...

— Какая мебель?!

— Буфеты, стулья, стол яйцом на одной ножке, комоды, зеркала, диванчики, кресла. А то еще тумбы какие-то вроде столбов. Говорят, на них раньше вазы стояли. И все медью украшено. А дерево называется — красное. Не знаю, почему так называется, на вид оно было темное, да и все. А то еще шкафчик с секретами. Откинешь переднюю стенку, получается стол. Внутри ящички, ящички, штук не двадцать ли. А то еще дамская принадлежность вроде трельяжа. Но только доска, на которую что-нибудь положить,— из зеленого камня. Красивый камень был, я и то любовалась этакими разводами.

— И куда же все это делось?

— Прижгли. А куда нам? Прижгли, повыбросили. Дом надумали продавать. Хламида. Из мебели, что не успели прижечь, новым хозяевам досталась.

— Что ж, Алевтина Петровна, вы считаете ваши теперешние табуретки красивее тех стульев и кресел?

Женщина поглядела на табуретки оценивающим взглядом и, как видно, представила себе те стулья, сопоставила с табуретками. Впервые она задумалась над тем, что, может, вовсе те стулья и кресла были не хуже табуреток. В следующих ее словах послышалось желание как бы оправдаться перед самой собой.

— Они, может, и не хуже, со спинками и сиденья синим шелком обтянуты. Но шелк выносился, поредел. Да и тяжелые они, куда нам? Табуретки привычнее, проще. Хотите я вам пузырь покажу, где-то валялся во дворе, если не разбили.

Покрытый толстым слоем запекшейся пыли и присохшими комочками куриного помета, пузырь был внесен в комнату. Сначала нельзя было определить, что это прекрасное малиновое стекло. Снизу — донышко для свечи, по верхнему краю фонаря — ажурная бронзовая решетка и три бронзовые цепочки.

Если правда, что по одной кости археологи определяют весь скелет ископаемого животного, то по одному этому фонарю можно было бы восстановить всю обстановку и атмосферу дома, где он раньше висел, если бы Алевтина Петровна и не успела рассказать про «дамскую принадлежность с каменной зеленой доской».

— А то еще был голубой пузырь, и не стеклянный, а фарфоровый, там были нарисованы разные картинки, вроде пастушок играет на дудке, девка молодая возле него, овечки, ручеек, а вдали башенки. Этот — что! Этот против того невзрачный.

— Где же теперь голубой пузырь?

— Дети играли, да и разбили... Могу шкуру вам показать. Золовка все уговаривает меня на шапки ее изрезать, а мне жалко. Если купите, недорого отдам, все равно пропадает, выбросим.

Тут я едва не ослеп. Алевтина Петровна достала из сундука и развернула на столе горностаевую мантию. Ну, не мантию, конечно, накидку, или как ее назвать? Женщине среднего роста накидка доходила бы до середины бедра, но и такой я не видел никогда в жизни.

— А еще вы говорили про какие-то игрушки, которых было три шкафа.

— Ничего не уцелело почти. Мне самой, по правде сказать, было жалко их выбрасывать, но муж с деверем, как выпьют, как только я отвернусь, скорее эти игрушки в ведро и в Ирпень.

— В реку?

— Да, речка у нас текла около старого дома, Ирпень. Они, муж со свояком, и приладились весь хлам из старого дома в Ирпень таскать.

— Много они перетаскали?

— Много, ой, много! Три шкафа. А если ведрами мерить, ведер, я думаю, шесть, если не восемь. Они без меня таскали. Только я отвернусь, они сейчас все медные да фарфоровые игрушки и туда. Уцелело несколько штук, и те побитые. Шкафчик во дворе стоит, можете посмотреть.

Шкафчик, между прочим, тоже красного дерева, и хоть фанеровка теперь вся отклеилась и обшелушилась, все же он, стоящий в курятнике, свидетельствовал, что большой старый дом, наполненный антикварными вещами, не приснился Алевтине Петровне, не привиделся в романтических мечтах, не придуман в виде красивой сказки.

В шкафчике на трех полках в беспорядке, производящем впечатление посудного боя и черепков, стояли стеклянные и фарфоровые вещицы. Первое, к чему потянулась моя рука и что я извлек на свет божий, была прямоугольная, плавновогнутая тарелка с изображением на ней во

всю ее плоскость московского дореволюционного Кремля. Дворец — еще с галереей, Колокольня Ивана Великого — в лесах. Справа — панорама не вовремя обрывалась, а то можно было бы увидеть памятник Александру Второму и Чудов монастырь, ныне не существующие. Кузнецовский фарфор.

Вторая тарелка, извлеченная мной, оказалась квадратной, и был это английский фаянс. Вид священного города Мекки, несколько мусульман в чалмах: один на ослике, второй идет рядом, третий отдыхает в тени под деревом.

Увидев в моих руках фарфоровую фигурку — мужичка, сидящего на пеньке в непонятной позе, Алевтина Петровна пояснила:

— Он раньше на балалайке играл. Балалайка, видите, отбилась и потерялась вместе с левой рукой. К нему была пара: мужичок же, но только лапти плетет, та игрушка пропала.

Следующие фарфоровые группы, найденные мной в шкафчике, были нерусского происхождения, это была Вена восемнадцатого — начала девятнадцатого века. Девочка в кружевном переднике и в широкой шляпе сидит на земле, обхватив руками величиной с нее же, яйцо. Верхушка яйца срезана и, значит, можно было бы что-нибудь в него положить, какую-нибудь домашнюю галантерейку. Еще одна девочка, поющая, и, как видно, на улице, под окнами высокого дома, потому что личико поднято кверху.

— Тарелок этих было множество,— рассказывала между тем Алевтина Петровна,— они загромождали весь дом. Помню, одну большую я отдала племяннику, и он из вежливости взял, а как вышел из дома, так у забора и прислонил. Потом я их соседкам раздавала, капусту накрывать вместо кружков.

— И ни одной не осталось?

— Одна сохранилась у золовки. Написано «Петр I» и нарисован двуглавый орел.

— Я бы ее купил.

— Золовка и так отдаст, только ее теперь нет на месте, в отпуске она, уехала к родственникам в Москву.

— Адреса этих родственников у вас нет?

— Она вернется дней через десять.

Я продолжал ревизию шкафчика. Вот стеклянный графинчик семнадцатого века из двухслойного стекла, вот венецианский графинчик, вот бокал времен Павла I.

— Один только остался. У этих бокалов мы отшибали ножки и давали детям играть.

— В какие игры?

— Вместо формочек.

От бронзы осталась только оленья голова с ветвистыми рогами — деталь чернильного прибора. Под конец шкафчик преподнес мне еще один сюрприз — перламутровую витую раковину с тонким резным китайским рисунком. На ней, как на прочих изделиях,— коллекционный номерок.

Черепки и обломки я расставил на доске, подвернувшейся под руку. Среди курятника мои находки представляли из себя не только живописную, но и фантастическую картину.

— А картинка на стекле вам, значит, неинтересна?

Да, картинка. Что же она такое? Пока я разбирал содержимое шкафчика, картинка не выходила из головы. Было тут два вопиющих противоречия. Первое противоречие — между самой картинкой и рамкой, и второе — между ними обеими и всеми остальными предметами. Кроме вкуса, оставшиеся от прежнего собрания предметы говорили о больших средствах, о богатстве. Каким образом среди венского фарфора и павловских бокалов, среди английского фаянса и венецианского стекла, могла оказаться примитивная картинка, написанная на стекле, хотя бы и вставленная в дорогую, изящную рамку? И как мог человек со вкусом соединить изящную рамку с примитивной картинкой?

Я вертел картинку и так и сяк, а в конце концов отложил в сторону.

— Значит, не возьмете? Придется выбросить. Из музея не идут, под кроватью надоела. Сколько раз собиралась выбросить, а раздумаешься, и жалко. Пусть еще полежит.

Я даже рассердился немного.

— Настоящие вещи выбрасывали — не жалели, а дешевую стекляшку теперь жалеете.

— Мы ничего не понимаем. Вы сразу во всем разобрались, что стоящее, а что пустяк. Я по темноте считала, что картинка на первом месте, а не черепки в шкафу. Оказалось — наоборот.

Случилось так, что в Москве, вскоре после этого события, ко мне зашел мой товарищ, искусствовед. Трофеи

все еще были разложены на столе и сразу бросились в глаза моему гостю. Тут было и еще одно совпадение: искусствовед месяц назад вернулся из поездки в Австрию, в Вену. Венский фарфор тем более не мог ускользнуть от его внимания. Он насмотрелся там, в каком-нибудь Бельведере и венского стекла, и венского фарфора, и теперь ему странно было увидеть образцы того же искусства в виде почти что черепков.

— Что это у тебя, откуда, клад, что ли, нашел какой?

— Клад пока в Ирпени. Восемь ведер. Плита из зеленого камня разводами.

— Погоди, погоди, какие ведра, расскажи по порядку.

Я начал рассказывать. Более благодарного слушателя у меня не было никогда. Он временами схватывался за голову, раскачивал голову в своих руках, при этом морщился, как от зубной боли. Временами он извергал нечленораздельные звуки, междометия. В богатом регистре умещались и подобные львиному рычанию, и жалкие стоны терзаемой жертвы.

— Р-рр, ар-рр-вар-рр! Вар-ррр-ы!

Мой рассказ между тем перешел на стеклянную картинку. Лицо искусствоведа странным образом сосредоточилось и насторожилось. Перестал схватываться руками за голову, перестал метаться по комнате, перестал рычать. Посмотрел на меня, на мои трофеи и вдруг разразился хохотом.

Я испугался сначала: слишком резкий получился переход из одного состояния в другое. Но в хохоте приятеля я не слышал никаких истерических и надрывных ноток. Хохот был как хохот: здоровый, жизнерадостный, веселый.

— О-охо-хо, а-ха-ха! — хохотал мой приятель, чуть не умирая от смеха.

— Черепки... Малиновый фонарь... И-хи-хи! Фонарь — в мешок, шкуру — в мешок, черепки — в мешок, картинку — выбросить. А-ха-ха! Валидолу мне, капель Зеленина, спасите!

Я и правда хотел бежать за каплями, но хохотавший неожиданно успокоился.

— Ты знаешь ли, что это было?

— Где?

— Картинка твоя.

— Не знаю.

— Так слушай. В начале девятнадцатого века в Австрии, в небольшой альпийской деревне появился художник-самоучка. Он писал на стекле. Сначала христианские мотивы: мадонна, евангелисты, Христос. Потом написал серию древнегреческих богов и богинь: Афродиту, Аполлона, Артемиду, она же Диана... Слава художника вспыхнула, как сухая солома. Скоро его картинки на стекле могли покупать только самые богатые люди. За них платили баснословные деньги. Ну... стекло, как известно, бьется, да и слава прошла. Теперь — мне об этом сказали в Бельведере во время экскурсии — осталось во всем мире лишь несколько картинок знаменитого самоучки. Четыре хранится в самом Бельведере, три являются собственностью герцога Эстергази. Одна затерялась, не то во Франции, не то в Швейцарии в частных руках. И вот еще одна под кроватью у Алевтины Петровны... А-ха-ха! О-хо-хо! Шкуру — в мешок, пузырь — в мешок, картинку — выбросить. И-хи-хи! Валидолу мне, капель Зеленина, воды, спасите!..

— Постой! — закричал я сердито.— Что же ты не скажешь мне имя знаменитого самоучки?

Искусствовед замер на полусмехе и посмотрел на меня, растерянно заморгав.

— Забыл. Хочу вспомнить и не могу. Забыл. Но я узнаю. Пойду в библиотеку, напишу в Вену. Узнаю.

— Ну, вот, а еще искусствовед! Невежда ты, братец мой, а не искусствовед.

Бутылка старого вина

Мы сидели в просторной комнате маленького особняка, расположенного в дипломатическом районе Рангуна. Это, правда, не имеет никакого значения для той безделицы, которую я хочу рассказать, но если сам ее услышал в рангунском особнячке, то для чего мне придумывать и убеждать самого себя, что дело было где-нибудь в Варшаве, Софии или Будапеште. Я один самостоятельно путешествовал по Бирме. Кто не проделывал столь занимательного путешествия, тому трудно понять, как я тянулся к каждому русскому человеку. Я ждал, как милость, вечера, когда можно пойти в ту или иную русскую семью и посидеть там, попивая прохладный напиток или даже простую воду из холодильника. (О, наслаждение — кипяченая вода из холодильника!) К тому же у меня в гостинице не было установки, охлаждающей воздух.

Итак, мы сидели в просторной и, самое главное, прохладной комнате. Мой собеседник, хозяин, русский дипломат, давно уж не бывал в отпуске и, значит, скучая по Москве, угощал меня экзотическими и свойственными этому уголку земного шара винами. Естественно, что разговор наш на некоторое время переключился на вина.

— Вы знаете,— признался я чистосердечно,— было время, когда я не понимал никакого толка в натуральном виноградном вине. Попробовал однажды — квас, кислятина, да и крепости никакой. Или вот тоже коньяк. Помню, в студенческом общежитии лежали с ребятами, разговаривали, и вдруг выяснилось, что никто из нас троих ни разу не пробовал коньяка. Спохватились: да что же мы, ребята, пошли немедленно, рестораны еще не закрыты.

Тогда рестораны в Москве до трех часов ночи работали, не как теперь.

Побежали, как помню, в «Узбекистан», в нетерпении подзываем официанта:

— Нам бутылку коньяку и что-нибудь закусить.

— Какого вам коньяку?

— ...А разве не все равно? А... какая между ними разница?

Теперь-то все кажется смешным, теперь, когда я не смог бы спутать грузинского «Енисели» с армянским «Двином», когда перепробовал всевозможные там «Мартели» и «Мартини», это, конечно, кажется смешным. Официант пожал плечами и принес нам то, что попалось под руку. Право, я не помню, что это было. Должно быть, какой-нибудь ординарный дежурный коньячишко. Налили мы по стограммовой рюмке, выпили единым духом — переглядываемся. Бураки! Точь-в-точь украинская самогонка из бураков.

— Вроде бы денатуратом припахивает.

— Нет, клопами.

Заплатили мы по тому времени шестьдесят рублей и в том нашли себе утешение, что никогда уж, никто уж не соблазнит нас на эту дорогую вонючую дрянь.

— Ну что ж, выпьем по этому поводу,— и Николай Сергеевич налил по крохотной рюмочке из породистой коньячной бутылки.

Мы выпили, помолчали, оберегая во рту всю сложность аромата и вкуса, которые накапливались в напитке в течение полутора десятков лет.

— Да... нет... Божественно... Неповторимо...

— И при всем том какая нежность.

— Бархат.

— Бальзам.

— Амброзия.

— А что касается натуральных вин,— вспомнил я опять свою первую тему,— то они казались мне все положительно на один вкус — кислые, и все. Чтобы улавливать терпкость «Мукузани», пикантную горчинку «Гурджаани», солнечную тонкость «Цинандали», розовую сластинку «Чхавери», сложность, так сказать, вкусовой гаммы «Изабеллы» или легкость «Васкеваза», чтобы улавливать все это и наслаждаться этим, такое не дается с первого раза.

Зато уж если поймешь, приобщишься — в жизни не возьмешь в рот никакой крепленой и подслащенной дряни.

Оказывается, Николай Сергеевич знал болгарские вина, и мы провели несколько приятных минут, обмениваясь впечатлениями по этому поводу. Вспоминали густые сорта «Маврута», которые там, в Болгарии, называют еще «Заячья кровь». Мы поговорили о том, что некоторые вина, в частности самые дорогие сорта настоящей мадеры «прогуливают»: бочки с вином погружают на корабль, совершающий рейс в Индию. Совершив путешествие туда и обратно, вино приобретает особые качества. Может быть, это зависит от плавного беспрерывного колыхания на морских волнах, может быть, от тропической жары — не знаю.

Какое наслаждение пить небольшими глотками драгоценную влагу, кровь земли, сердцевинную сущность солнца. Конечно, и цвет имеет большое значение: то темный рубин, просвеченный кровавой искоркой, то чистое полдневное золото, то легкая утренняя позолота. Конечно, и посуда не последнее дело. Например, я убежден, что самое тонкое и самое богатое оттенками вино, если пить его из жестяной или алюминиевой кружки, теряет половину своей прелести.

— А еще,— продолжал Николай Сергеевич мою мысль,— большое дело обстановка, в которой пьется вино. Люди, с которыми пьешь, убранство стола, так сказать, весь антураж и зрительный и, ну, что ли, нравственный, психологический. Это отнюдь не последнее дело.

— Николай Сергеевич, вы — дипломат, ездили и видели, вероятно, больше меня, скажите, приходилось ли вам пить очень-очень старые вина? Ведь рассказывают столько легенд и о столетних, и времен Наполеона, и еще дальше. Я сам видел винотеки в подвалах Арарата и все эти замшелые бутылки, но говорят, что вино со временем умирает и остается в замшелой бутылке только уксус. Вот я и спрашиваю, приходилось ли вам пробовать, ну так лет пятьдесят или семьдесят, а если приходилось, то как оно звучит?

— Вы заставляете меня вспомнить один маленький эпизод из моей жизни. Я работал тогда в нашем посольстве в Париже. По долгу службы часто приходилось угощать дипломатов дружественных, и не очень дружественных, и просто недружественных стран. Разные там приемы и встречи, так сказать, в интимной домашней обста-

новке — все случается в дипломатической практике. Короче говоря, хорошие вина требовались то и дело. Таким образом, у меня завязались потребительские, ну что ли, отношения с одним парижским винным погребком — довольно известная во Франции фирма. Я был у них постоянным клиентом, за два года не изменил им ни разу, а частные предприниматели это умеют ценить. Дальше — больше, пора мне собираться домой, в СССР. Тут-то и возникла у меня идея захватить с собой в Москву бутылку очень старого французского вина. Ну не такого уж старого, чтобы, как вы говорите, уксус, не времен Наполеона, конечно, но все же.

Хозяйка встретила меня, как всегда, приветливо, как будто я пришел не покупателем, а дорогим гостем: «Мсье, бонжур, мерси, бьен, же ву при» и т. д.

Я сказал зачем пришел, так, мол, и так, хорошо бы в Россию на память бутылку вина, ну хоть... ну хоть... ну хоть начала века, что ли, то есть тысяча девятисотого года.

— Наш дорогой друг, пожалуйста, очень рады, но только тысяча девятисотого года мы вам не советуем. В том году было очень дождливое лето, и виноград уродился не совсем хороший. В нем было много лишней влаги, он был водянистый. Нет, я ничего не говорю, вина получились отличные. Но вы — наш друг, поэтому, если уж хотите совсем-совсем настоящее вино, остановитесь либо на тысяча восемьсот девяносто девятом годе или тысяча девятьсот первом годе. Оба эти года были весьма благоприятные. Тысяча девятьсот первый даже получше.

Я попросил, чтобы мне принесли бутылку 1901 года.

— Вы серьезно ее возьмете?

— Ну конечно.

— Тогда одну минутку. Ее нельзя отдать просто так.

И вот по коридору движется маленькая процессия, несут драгоценную влагу. Двое рабочих погребка идут впереди, играя на мандолинах, третий — на вытянутых руках, на салфетке торжественно держит бутылку. На моих глазах салфеткой терли бутылку от зеленой замшелости, от плесени, а салфетку тут же подарили мне на память, чтобы я в Москве мог показать ее друзьям и чтобы все удостоверились, что бутылка действительно была покрыта плесенью.

Затем заставили меня расписаться в какой-то торжественной фирменной книге, чтобы потом они могли кому-

нибудь показать, что такая бутылка действительно была и что она продана действительно в Москву. У них есть, конечно, такие бутылки, которые прадедушка завещал не продавать дедушке, дедушка теперешнему владельцу погребка, а он, наверное, в свою очередь, завещает наследникам не продавать ее ни в коем случае. Это гордость фирмы, знак ее древности.

По поводу продажи мне редкой бутылки тут же хозяйка открыла молодую бутылку, и мы, как в России это называется, спрыснули мою покупку.

Бережно я вез вино в Москву после такого торжественного ритуала. Но вот бутылка в Москве и даже в холодильнике. Теперь все в порядке.

Случая, достойного бутылки, все не приходилось. Через год мне должно было исполниться сорок лет, я решил отметить это событие бутылкой французского вина, тем более что меня послали на несколько месяцев в командировку.

Возвратившись домой из командировки, я, едва лишь поцеловав жену, устремился к холодильнику, чтобы убедиться в целостности и сохранности бутылки. Туда-сюда глазами: помидоры, яйца, говядина, сосиски. Черт возьми, где же бутылка?!

— Какая бутылка? — наивно спрашивает жена.— Та, что лежала в холодильнике?

— Ну да, конечно, где она, зачем ты ее переложила в другое место?

— Я не перекладывала. Однажды зашел в гости братишка, знаешь, что слесарем на водокачке работает. Ну, а был дождичек. Мне не хотелось бежать в магазин. Я открыла ему эту бутылку.

— Да как же так? Да ведь это...

— Так получилось. Уж он ругался, ругался, мол, какой ты меня густой, липкой дрянью угостила.

— Чем хоть он пил-то?

— Из чашки.

Я потом нарочно ездил к этому Витьке и выспрашивал у него насчет вкуса и запаха, чтобы хоть немного представить, какой это был напиток.

— Да что,— отвечал Витька,— разве я разобрал. Да не убивайтесь вы, Николай Сергеевич, не страдайте, говорю, дрянь — значит, дрянь.

Обед за границей

Злиться я начал еще с утра. Вечером у меня был небольшой жар, ночью я потел и проснулся с сильной жаждой. Мне хотелось (да и нужно было, чтобы оборвать начинающуюся болезнь) чаю с малиновым вареньем. И чтобы были большой чайник с огненным кипятком, а другой — с крепкой заваркой. И чтобы пить с блюдца, испытывая ни с чем не сравнимое наслаждение медленного, постепенного утоления жажды. Тогда на какой-нибудь седьмой чашке капельки пота начнут щекотать лоб, шею, ложбинку на груди, и ты почувствуешь, как с этими каплями выпаривается из тебя простуда, мутная дрянь.

Я жил в прекрасной гостинице. По первому требованию завтрак приносят в номер. Но я ни разу не воспользовался этим удобством. Я не люблю, чтобы в комнате, где я сплю и где разложены на столе мои бумаги, стояли еще и тарелки с объедками. И вообще, хорошо с утра одеться, подтянуться и выйти на люди, нежели в халате и в одиночестве, при неубранной еще постели, жевать бутерброд, запивая его чем-то теплым и желтеньким, что здесь называется почему-то чаем.

Каждое утро я спускался в ресторан, садился за стол, и мне подавали карточку.

Не все, может быть, знают, что за границей в хороших гостиницах завтрак бесплатный. Не совсем, конечно, бесплатный, но стоимость его заранее включена в цену номера. Чаще всего он стандартный: чашечка кофе (или кофе с молоком), булочка, масло и конфитюр. В гостинице, где я жил, теперь имелось шесть таких стандартов на выбор.

Они шли по номерам. Нужно назвать официанту только номер завтрака, и он принесет все, что нужно. Под номером первым значилось, например: яичница с ветчиной, масло, булочка, конфитюр и чай. Под номером шесть: вареное яйцо, брынза, масло, конфитюр и молоко. Можно потребовать и еще что-нибудь сверх программы, но тогда уж плати наличными. Я брал всегда завтрак номер шесть, но только просил молоко заменять чаем.

Чай подавали налитым в чашку. Его было мало. Его оказывалось меньше из-за того, что стенки у чашки были толщиной в палец. В чашку с кипятком опущен на ниточке пакетик из прозрачной бумаги. В пакетике — чай. Он постепенно размокает и сквозь тонкую бумагу начинает окрашивать кипяток в желтоватый цвет. Чтобы ускорить процесс, начинаешь за ниточку вынимать и опускать пакетик. Кипяток постепенно принимает окраску чая, но и остывает. Становится просто теплой водой.

В то утро я чувствовал себя неважно, и у меня была сильная жажда. Я хотел даже не выходить целый день, а завтрак попросить в номер. Но вспомнил чашку с толстыми стенками, отбирающими у воды половину ее тепла, представил, как вода остынет еще больше, пока ее несут на четвертый этаж. Кроме того, мне хотелось не одну, а семь, восемь, десять чашек, и хорошо бы с малиновым вареньем.

Я собрался с духом и пошел в ресторан. Я пытался внушить, чтобы мне принесли сразу много кипятку, и официант, пожав плечами, принес пять чашек. В каждой плавал пакетик на ниточке. Чаепитие, какого хотелось, не получилось. Некая черта моего характера мешает мне заставлять человека идти ради меня еще раз, переделывать сделанное не по-моему.

Официанты, подметив мою нетребовательность, обслуживали меня с той степенью снисходительности и фамильярности, когда ни в чем нельзя упрекнуть и которая тем не менее обидна. Не балансируют на быстром ходу подносы, не летают по ветру черные заутюженные фалды.

Виновата моя нетребовательность. Сажусь обедать, читаю карточку. Надо бы покопаться в ней, повыбирать, посоветоваться с официантом, покапризничать. А я просто: салат из помидоров. Суп? Ну, какой-нибудь суп. Мясо? Какое-нибудь мясо с картошкой. Вино? Рюмку водки. Вино к мясу? Нет. От смеси у меня болит голова.

Официант шокирован, удручен. Он не понимает, как можно есть мясо, не запивая его соответствующим вином. Впрочем, это советские, что с них спрашивать? Ну хорошо же, сейчас посмотрим.

Злиться я начал еще с утра, когда не удалось напиться чаю, как я хотел. Теперь же, придя обедать, я рассердился окончательно, потому что едва сел за стол, официант поставил передо мной салат из помидоров и рюмку водки.

Вообще-то очень мило с его стороны, что он привадился к моему вкусу и в некотором роде упредил мои желания. В другой раз я не сказал бы ни слова, наверное, мы пошутили бы по этому поводу. Он и ждал, что я улыбнусь, поблагодарю. Но я был зол еще с утра, и все пошло по-другому. Я посмотрел на официанта вопросительно, недоуменно, и он ответил мне тем же. Но право было за мной:

— Что это?

И водка и помидоры нехотя, недовольно исчезли со стола.

— Впрочем, водку оставьте. И принесите мне, пожалуйста, шампиньонов в уксусе.

Официант хотел что-то сказать, но проглотил слова.

— Пусть только выберут цельные, не разрезанные грибы и пусть постараются, чтобы они были ровные. И пусть приготовят мне еще «бифштекс по-татарски».

«Бифштекс по-татарски» — это не еда, а целая эпопея. Его можно потребовать в каждом большом европейском городе, где есть хороший ресторан. Подается он так. Посредине тарелки лежит большая и толстая котлета из сырого мяса, из вырезки. Никаких примесей тут еще нет. Чистое мясо, превращенное в фарш, в мелкий и ровный фарш, и оформленное в виде котлеты. В середине ямка. В ямке сырой желток. Вокруг на тарелке лежат небольшими кучками мелко рубленный лук, мелко рубленный соленый огурец, измельченная зелень и еще разнообразные компоненты будущего блюда, которое вы готовите сами.

Все, что лежит на тарелке, нужно неторопливо и тщательно перемешать и перемять с сырым мясом. При этом добавляется соль, перец, горчица и вообще все, что вам взбредет в голову. Блюдо редкое. Не всегда указывается в меню. Но в каждом уважающем себя ресторане его гото-

вят, если клиент потребует. Итак, я потребовал «бифштекс по-татарски».

Шампиньоны были все один к одному, цельные, не разрезанные пополам, и «татарский бифштекс» был такого цвета, словно его приготовили для рекламы.

— Прекрасно,— одобрил я.— Но, пожалуйста, добавьте две-три сардинки. Я думал, вы знаете, что к настоящему «бифштексу по-татарски» полагаются еще и сардинки. И потом оливковое масло. И половина лимона.

Официант дернулся, точно его ударили по ногам. Он исчез в мгновение ока, но успел, однако, что-то шепнуть своему коллеге, стоявшему в праздности. Тот подтянулся, одернулся и устремился к моему столу. Он смахнул со скатерти несуществующие соринки и осведомился (получилось, как в знаменитом романе), вино какой страны я предпочитаю в это время года и суток.

— К сырому мясу хотелось бы что-нибудь потяжелее. Что вы можете предложить из испанских?

Через минуту около меня хлопотали трое официантов. Один ставил сардинки, другой хлопотал с бокалами, третий показывал мне вино.

Мистер Норман, где вы? Вас я представил в эту минуту. Помните, как вы двадцать дней возили меня по Англии и как мы с вами садились обедать? Не случилось ни разу, чтобы бутылку вина открыли, не показав ее вам со всех сторон. И не случилось ни разу, чтобы вы отмахнулись, пренебрегли, как бы говоря: «Ладно, нам все равно». Вы внимательно изучали этикетку, хотя знали ее наизусть. Не случилось также ни разу, чтобы официант налил целый бокал. Он наливал сначала на донышко, чтобы вы могли попробовать и оценить. Каждый раз одинаковым жестом вы приближали бокал к носу и внимательно, прикрыв глаза, втягивали аромат. Потом брали вино на губы, задумчиво чмокали и только потом уж одобрительно кивали официанту.

Однажды я спросил вас, что будет, если вино не понравится, и вы искренне удивились вопросу.

«Как что? Он откроет другую бутылку». Мистер Норман, где вы? Вас я вспомнил в ту минуту, когда трое официантов хлопотали вокруг моего стола и один из них показывал мне бутылку испанского черного вина, которым я решил запивать мой «бифштекс по-татарски». Я вспомнил, как вы, ритуально священнодействуя, нюхали вино, и

вспомнил об этом потому, что сию минуту он совершил грубую ошибку: не дал мне попробовать, а сразу налил полный бокал.

А я вспомнил о вас. Я был зол еще с утра и разозлился еще больше, когда мне принесли, не спрашивая, хочу ли я салат из помидоров и стопку водки.

Вот почему я пригубил вино, испанское, черное, тяжелое, и вопросительно посмотрел на официанта. Вопросительно посмотрел и он на меня. Но я знал, что право на моей стороне.

— Мне жаль, но вино кислит.

Официант как-то судорожно, молниеносно отпил глоток. Некоторое время он прислушивался к тому, что происходило у него на языке и вообще в полости рта.

— Вы ошибаетесь, сударь. Это новая партия. Мы ее вчера получили. И мы ведь берем у одной и той же фирмы. Ошибки быть не могло.

— Мне очень жаль, но вино кислит. Неужели вы не чувствуете?

Досадно пожав плечами, официант передал бокал со злополучным вином своему коллеге, а тот другому. Они пробовали и неуверенно убеждали меня, что «не может быть... только вчера.. одна и та же фирма... свежая партия...».

Между тем заминка около моего столика не ускользнула от внимания хозяина ресторана. Он подошел спокойной, твердой походкой президента, когда тот выходит на трибуну, заранее зная, что каждое его слово — закон.

— Что такое?

— Господин утверждает, что вино кислит. Но вы же знаете, новая партия...

Официант протянул хозяину бокал с вином, но тот и не взглянул на него. Не глядя на вино, на официантов и на меня, впрочем и не думая ни секунды, жестко проговорил:

— Если господин утверждает, что вино кислит, значит, оно кислит. Уберите и принесите другую бутылку.

Через несколько минут я пробовал новое вино.

— На этот раз то, что надо. Только почему оно не подогрето. Разве вы не знаете, что красное вино полагается слегка подогревать?

Когда на другой день я появился в дверях ресторана, шестеро официантов выстроились в две шеренги в виде почетного караула. Я прошел мимо них и сел за стол. Трое подбежали ко мне, протягивая сразу две карточки, но я сказал:

— Салат из помидоров, рюмку водки, какой-нибудь суп и какое-нибудь мясо. С картошкой. А вина не надо, у меня от него болит голова.

Распоряжение

Это было ужасно. Двухлетняя девочка, наша дочка, наша Олечка — умирала. И только потому, что прошло с тех пор много времени, некоторые воспоминания о ее болезни вызывают вместо содрогания чуть ли не улыбку.

Ночью начался бред. Доктор — милая, приятная, но совсем растерявшаяся женщина, недоумевала: почему ангина, хотя бы и двухсторонняя, протекает столь тяжело.

— Позвоните Юваловой,— сказала она, перешагивая, может быть, через свое самолюбие,— терапевту здесь делать нечего. Это специальность — ухо, горло, нос.

— Но Ювалова ночью не поедет!

— Умоляйте. Поезжайте за ней на такси и сами же отвезете обратно. Ее зовут Наталия Дмитриевна.

Трубку долго не снимали, и во мне, пока я слушал длинные надсадные гудки, боролись два чувства. Если трубку не снимут совсем, не надо будет вести тяжелый ночной разговор. Но если ее не снимут, что же нам делать?

Возмущенно и бестолково, перебивая сам себя, я что-то долго говорил Наталии Дмитриевне. Меня слушали молча. И еще некоторое время молчали, когда я сказал все, что мог. Наконец тихий и усталый голос ответил:

— Хорошо, приезжайте.

На безвременье между осенью и зимой Москва особенно неприглядна и тосклива. Да еще ночью. Да еще если сознаешь, что двухлетняя девочка бредит и задыхается и температура у нее перевалила за сорок. И надо поймать такси, которые все почему-то идут «в парк». И ехать из Черемушек на Хорошевское шоссе.

Все-таки, оказалось, было что делать и терапевту. На двухстороннюю ангину наслоилось двухстороннее же воспаление легких.

— Всю ночь будете давать ей кислород. Дежурная аптека на Серпуховке. Утром попробуем положить в больницу. Не скрою, с больницами сейчас очень трудно. Направление я выпишу, а потом вам придется похлопотать. Попробуйте через Константина Васильевича. У него по долгу службы — обширные связи.

К утру я определил для себя три точки, три телефона, трех человек, к которым придется обращаться за помощью: Константин Васильевич, Дмитрий Алексеевич, Алексей Иванович. Инстанции были одна другой авторитетнее, я бы и не осмелился никогда. Но если умирает дочка, и врачи не скрывают тяжелого положения, и, прощаясь, Ювалова сказала, что она — не бог, а я знаю, в каких случаях врачи говорят, что они не боги, то — был бы телефон — позвонишь и самому богу, а не только Дмитрию Алексеевичу.

Однако вопрос с больницей решился довольно быстро. Все-таки не Дмитрий Алексеевич и не Алексей Иванович, а именно Константин Васильевич и ответил мне через двадцать минут, что к четырем часам дня можно везти девочку... И он назвал крупную детскую больницу. И то хорошо. До четырех часов как-нибудь сообща дотянем. Хотя тянуть-то главную тяжесть приходилось не нам, взрослым, вполне беспомощным людям, а маленькому и слабенькому тельцу, борющемуся за свою жизнь и сгорающему в огне сразу двух жестоких болезней.

Моя помощь состояла в том, что я звонил по разным телефонам, но от этого не выздоравливают. Мать помогала лишь тем, что если девочка открывала глаза, и сознание ее прояснялось, и внешний мир обозначался, пусть туманным, но все-таки просветленным пятном, то всегда в этом пятне была и мать. И не могло никак быть иначе. Если бы пятно почему-либо опустело, девочка, может быть, не открыла бы глаз никогда.

Вот почему в приемном покое больницы мы были ошарашены и потрясены, когда нам сказали, что больную положат одну, а мать пусть идет домой. Наш жалкий лепет насчет человечности, особенностей характера ребенка и насчет маматерапии, вычитанной в журнале «Здоровье», не произвел на бесстрастных людей в белых халатах ни-

какого впечатления. Тогда я сказал, что скоро приду, чтобы до моего прихода Олю не уносили, и пошел искать правду.

Плоские деревянные диваны приемного покоя, двери с двух концов, не очень просторное помещение, где по ночам тянет сквознячком, а сам воздух пережарен на железных батареях парового отопления, бело-желтоватый колорит стен, кучки одежды, остающиеся после детей, уносимых куда-то в недоступные, безграничные сферы больницы, все это само по себе создавало тягостное, почти безысходное настроение, не говоря уж о хриплом прерывистом дыхании девочки.

Выйдя на улицу, я почувствовал облегчение. Но оно было мнимое. Предстояло возвратиться в тот же приемный покой, возвратиться как можно скорее, возвратиться с положительным результатом.

У заведующего отделением я, помнится, задержался недолго. Полнеющую молодую еще женщину с округлым приятным лицом легче было бы представить хозяйкой стола, накрытого по случаю дня рождения мужа или десятилетия свадьбы. Она бы и потчевала грибной икрой, и просила бы не наедаться закусками, потому что впереди еще телятина, и заварила бы крепкий чай, и запела бы «За окном черемуха колышится»; и можно было бы пригласить ее танцевать, и танцевала бы она прилично, примерно, холодновато, стараясь не касаться партнера всем своим телом, хотя это и невозможно было бы при ее полноте, а в особенности — бюсте. Впрочем, неизвестно, как бы она танцевала.

Но теперь она была заведующая отделением, и от нее зависило, положат мою дочку в больницу одну или положат ее вместе с матерью. В ту минуту мне казалось, что от этой приятной женщины зависит, в сущности, жизнь Олечки. А может, так оно и было на самом деле.

Женщина поглядела на меня серыми большими глазами. Я не вообразился ей в другой обстановке, где графинчики на белой скатерти и крутится пластинка с медленным танцем. Она сказала, что существует распоряжение министерства, которое никто не имеет права нарушать.

— А если главврач больницы?

— Никто, вы понимаете русский язык? Никто не имеет права нарушать приказ министра.

Я ушел от нее озадаченным. Мысль моя не хотела примириться с тем, что так-таки и нельзя ничего сделать.

Не может быть, чтоб нельзя! Не было отдано еще ни одного распоряжения, ни в какие времена, ни в какой стране, которое ни разу не нарушалось.

Но сразу к главврачу я не пошел.

Одно дело, если приду я — частное лицо, а другое дело, если попросит учреждение, организация, притом какая-нибудь такая организация, которой никак нельзя отказать.

Редактор влиятельной газеты оказался на месте, и я изложил ему по телефону суть дела.

— Хорошо. Только скажи мне телефон главного врача, чтобы не искать. Ну и как зовут. А потом позвони через десять минут.

За десять минут я успел купить три килограмма бананов, надеясь вернуться в приемный покой не только с хорошей вестью, но и с гостинцами. Ведь если жена моя ляжет вместе с дочкой, все равно придется носить передачи. Теперь сразу будут бананы.

Десять минут прошло, и я снова соединился с редактором.

— Главврач не снимает трубку. Давай сделаем так. Ты иди и сиди у него в приемной. Как только он войдет к себе в кабинет, ты сообщишь мне. Я сразу буду звонить. Тогда он никуда от нас не денется.

Рабочий день между тем шел к концу. В приемной главврача не было уже секретарши. На столе стояли беспризорные телефоны, и никто не мог мне сказать, вернется ли в свой кабинет главврач.

Пластмассовое пресс-папье, рассыпанные скрепки и кожура от мандарина, забытая секретаршей на уголке стола, излучали тоску и могли бы совсем доконать меня, если бы пришлось дожидаться дольше. Но, посидев в тишине, я стал различать, что из кабинета главврача доносятся приглушенные кожаной дверью голоса. Я подошел к этой черной двери и прислушался. Сомнений быть не могло, в кабинете находились и говорили люди.

Скорее набрал я номер редактора влиятельной газеты.

— Зверь в берлоге. Звоните!

Секунд через двадцать оглушительно зазвонил телефон передо мной, на столе секретарши. Поколебавшись, я поднял трубку.

— Станислав Сергеевич? — спросил редактор важным баском, добросовестно выполняя мою просьбу.

— Сию минуту,— пискляво ответил я, подражая голоску неведомой мне секретарши.

Ответить-то я ответил, но что мне теперь оставалось делать? Решительно открыл я высокую черную дверь, увидел главврача за своим большим столом, еще двух мужчин, разговаривающих с ним, и, не дав им опомниться, четко произнес:

— Извините. Я случайно оказался в приемной. Вас просят взять трубку.

Закрыл дверь и опрометью бросился с третьего этажа. Из уличной будки стал нетерпеливо звонить редактору. Тотчас послышались длинные гудки. Значит, разговор его с главврачом был коротким.

— Старик, ничего не выходит. Он говорит, что есть приказ министра и нарушать его никто не имеет права. Приказ отдан недавно, свеженький, поэтому действует во всю силу.

Мне здесь хлопотать — одна надсада, а каково им дожидаться меня в приемном покое? И с чем же я к ним приду, с тремя килограммами бананов?! Нет, борьба — есть борьба. И она не кончена. Схватив такси, я помчался в редакцию. Там, на телефонном столике в кабинете главного редактора, стоит телефонный аппарат по виду самый неказистый и старомодный. Редко снимает трубку с этого аппарата главный редактор, редко звонит и сам аппарат. Но если нужно, но если важное дело...

— Ты сам знаешь,— без особой радости встретил меня редактор,— это ведь для особых случаев, если важно...

— Что может быть важнее человеческой жизни.

— Хорошо, я дам тебе номер министерства, но звонить будешь сам.

Полистав небольшую красную книжицу, он сообщил мне четырехзначный номер, и я без колебаний его набрал.

Усталый низкий голос послышался в трубке. Я представился. Я рассказал, в чем дело, затратив на рассказ минимальное количество слов и придав им максимум выразительности.

— Да, был такой приказ. Он мотивирован и обоснован. Вы просто не знаете положения вещей! Да, это был мой приказ. Но поскольку он мой, я в первую очередь не могу его нарушить.

Пакет с бананами прорвался в двух местах, и держать его стало неудобно и трудно. Бананы грозили рассыпать-

ся. Мне хотелось выбросить их в урну или встать бы на углу улицы и начать расстреливать ими прохожих. Или встать бы в дверях главврача и... Но ни прохожие, ни главврач не виноваты. Не виноват даже министр. Приказ мотивирован и обоснован.

До меня дошел вдруг весь ужас положения. Из-за этих хлопот я подверг девочку дополнительному риску. Уже два часа она лежала бы в больнице. Вокруг нее хлопотали бы врачи. И вот я возвращаюсь ни с чем. И в ответ на огонек надежды в глазах жены я протяну ей прорвавшийся во многих местах пакет с бананами.

Чем ближе я подходил к приемному покою, тем тяжелее становились мои ноги. Не хотелось туда, к несчастью, к страданию, тем более что я не знал, что произошло там за два часа. А могло ведь произойти.

Окинув взглядом совсем пустое приемное отделение, я похолодел. Не было ни одной души в этих бело-желтоватых стенах. Ни узелков с детской одеждой, ни какой-нибудь тетечки в халате, у которой можно спросить, справиться, разузнать.

Мое воображение завертелось вокруг возможных вариантов исчезновения дочери и жены, и были эти варианты один хуже другого.

Но в это время из противоположных дверей, из тех, в которые уводят и уносят больных детишек в недоступные, поглощающие сферы больницы, вышла женщина, ведя за руку выздоровевшего мальчика. Лицо ее вспомнилось мне, она сидела здесь (ждала, значит, выписки сына) еще до того, как я ударился в хлопоты.

— А где?.. Вы не знаете... такая, очень больная девочка?

— Положили их час назад.

— Двоих?

— Обеих и положили.

— Кто же осмелился это сделать?! Приказ министра...

— Нянечка в шлепанцах пришла да и увела с собой.

Тут появилась и нянечка с узелком в руках. Протянула одежду мне.

— Ваши, что ли?

— Наши, наши, да где же они?

— В хорошем блоке лежат. Одни. Никто не мешает.

Нянечка была пожилая, худощавая. Такую за гостевым столом и не представишь себе. Когда гости пируют,

такие все больше на кухне или в другой комнате детей забавляют, чтобы гостям не мешали. Можно вообразить ее, пожалуй, в очереди в магазине, лифтершей в подъезде, а вернее всего, она здесь на самом своем исконном месте.

— Как же вы так? Министерство и то не могло. Редактор газеты... по «вертушке»...

— Не знаю я ваших вертушек.

— Но кто-нибудь вам сказал?

— И говорить нечего. Нешто я не вижу, что девочку класть надо.

— С матерью-то кто разрешил?

— Нешто я не вижу, что ей с матерью лучше будет. Вылечим твою дочку, ступай домой. Принеси завтра соку какого ни на есть, да малинового варенья.

Я уходил со спокойной душой и уверенностью, что дочку действительно вылечат.

Уже на улице я обнаружил в своих руках, кроме узелка с одеждой, и надоевшие мне бананы, которые надо бы отдать нянечке, что ли... А еще я забыл спросить, как ее зовут. Потом, когда дело пошло на поправку, я и вовсе забыл про нянечку. Так и не знаю до сих пор, кто она была: Екатерина Ивановна, Агриппина Николаевна, Фенечка, Паша, тетя Поля, Дуняша, Аннушка...

II

Трава

Ньютон объяснил,— по крайней мере так думают,— почему яблоко упало на землю. Но он не задумался над другим, бесконечно более трудным вопросом: а как оно туда поднялось?

Джон Рескин

Наиболее выдающаяся черта в жизни растения заключена в том, что оно растет.

К. Тимирязев

Колокольчики мои,
Цветики степные.

А. К. Толстой

* * *

Строго говоря, я не имею никаких оснований браться за эту книгу. У меня нет ни осведомленности ботаника, чтобы я мог сообщить миру нечто новое, неизвестное современной науке, ни опыта, скажем, цветовода, чтобы я мог поделиться им, ни накопленных веками, а может быть, во многом интуитивных знаний знахаря, чтобы я мог обогатить народную медицину.

После пятого класса средней школы я уже не считал на цветках лепестков, не разглядывал в лупу тычинок и пестиков, не опылял кисточкой, не засушивал цветов для гербария. Я не выращивал цветов в теплицах или на клумбах. Я не собирал таинственных трав, чтобы развешивать их на чердаке, сушить, а потом варить из них зелье и пить от разных болезней.

Некоторые травы я, правда, собирал, но все больше зверобой, зубровку, мяту и тмин, которые очень хороши для домашних настоек.

Леонид Леонов, всю жизнь разводивший кактусы и создававший время от времени бесценные коллекции этих удивительных растений, мог бы, вероятно, рассказать нечто интересное из жизни кактусов.

Рядовой работник ВИЛАРа, выезжающий каждое лето в экспедиции на поиски лекарственных трав, мог бы поделиться своими наблюдениями, присовокупив к ним несколько приключений, неизбежных во всякой экспедиции.

Индийские ученые, установившие, что травы воспринимают музыку, что музыка влияет на самочувствие и рост трав, что классическая музыка стимулирует их рост, а джаз угнетает, эти ученые смело могут браться за перо, ибо они имеют сообщить человечеству нечто новое, неслыханное, потрясающее.

Я же умею только мять траву, валяясь где-нибудь на опушке леса, набрать букет и поставить его в кувшин, сорвать цветок и поднести его к носу, сорвать цветок и поднести его женщине, и просто смотреть на цветы, когда они расцветут и украсят землю.

Я косил траву, возил ее на телеге, и тогда она называлась сеном.

Я выдергивал одни травы, оставляя другие, и это называлось прополкой.

Я ел траву, когда она была щавелем, заячьей капустой, а также спаржей, луком, укропом, петрушкой, чесноком, сельдереем...

Я бродил по траве, когда на нее упадет роса. Я слушал, как шумит трава, когда подует ветер. Я видел, как трава пробивается из черной апрельской земли и как она увядает под холодным дыханием осени. Я видел, как трава пробивается сквозь асфальт и часто поднимает, разворачивает его, как это можно сделать только тяжелым ломом.

Чаще всего это была трава. Просто трава. Сознание выделяет из нее обычно несколько травок, знакомых по названиям. Крапива и одуванчик, ромашка и василек. Еще десятка два-три. Валериану, пожалуй, не сразу отыщешь и покажешь в лесу. С ятрышником дело будет еще сложнее. Когда черед дойдет до вероники и белокудренника, не спасует только специалист.

Однажды я записал смешную историю, как мы с другом пытались выяснить название белых душистых цветов, растущих около речек и в сырых оврагах. Лесник, к которому мы обратились, обрадованно сообщил нам, что это бела трава. Теперь я знаю, то была — таволга. Но лесник не знает этого до сих пор и бела трава для него вполне подходящее и даже исчерпывающее название.

Тут невольно я вспоминаю гениальную книгу Метерлинка «Разум цветов». Метерлинк говорит, что отдельное растение, один экземпляр может ошибиться и сделать что-нибудь не так. Не вовремя расцветает, не туда просыплет свои семена и даже погибнет. Но целый вид разумен и мудр. Целый вид знает все и делает то, что нужно.

Все, как у нас. Поведение отдельного человека может иногда показаться неразумным. Человек спивается, ворует, лодырничает, может даже погибнуть. Отдельный индивид может не знать что-нибудь очень важное, начиная

с истории, кончая названием цветка. Отдельный Серега Тореев может не понимать, куда идет дело и каков смысл всего присходящего с ним самим. Но целый народ понимает и знает все. Он не только знает, но и накапливает и хранит свои знания. Поэтому он богат и мудр при очевидной скудости отдельных его представителей. Потому он остается бессмертным, когда погибают даже лучшие его сыновья.

Мой сотоварищ по перу Василий Борахвостов, узнав, что я собираюсь писать книгу о травах, стал посылать мне время от времени письма без начала и конца, с чем-нибудь интересным. Обычно письмо начинается с фразы: «Может, пригодится и это...» Или сразу идет выписка из Овидия, Горация, Гесиода.

Чтобы подтвердить свою мысль о поэтичности и мудрости народа, несмотря на невежественность отдельных людей, выписываю полстранички из борахвостовского письма.

«Теперь о траве (эти названия я собрал за 50 лет сознательной жизни, но мне не понадобилось). Русский человек (надо бы сказать — народ.— В. С.) настолько влюблен в природу, что эта его нежность к ней заметна даже по названиям трав: петрушка, горицвет, касатик, гусиный лук, баранчик, лютики, дымокурка, курчавка, чистотел, белая кашка, водосбор, заманиха, душичка, заячья лапка, львиный зев, мать-и-мачеха, заячий горох, белоголовка, богородицы слезки, ноготки, матренка, одуванчики, ладаница, пастушья сумка, горечавка, поползиха, иван-чай, павлиний глаз, лунник, сон-трава, ломонос, волкобой, лягушатник, маргаритки, мозжатка, росянка, ястребинка, солнцегляд, майник, Соломонова печать, стыдливица, северница, лисий хвост, душистый колосок, ситник, гулевник, сабельник, хрустальная травка, журавельник, копытень, пужичка, сныть, пролеска, подморенник, чистяк, серебрянка, жабник, белый сон, кавалерийские шпоры, горький сердечник, буркун, сухаребрик, девичья краса, калачики, волгоцвет, золотой дождь, таволга, бедренец, купырь, золотые розги, мордовник, куль-баба, ласточник, румянка, наперстянка, богородская трава, белорез, царь-зелье, жигунец, собачья рожа, медвежье ушко, ночная красавица, купавка, медуница, анютины глазки, бархатка, васильки, вьюнки, иван-да-марья, кукушкины слезки, не-

забудка, ветреница, кошачья лапка, любка, кукушкин лен, барская спесь, бабий ум (перекати-поле), божьи глазки, волчьи серьги, благовонка, зяблица, водолюб, красавка... Сколько любви и ласки!»

Конечно, хоть и за пятьдесят лет, Борахвостов собрал не все. Достаточно заметить, что в списке нет хотя бы колокольчиков, мышиной репки, птичьей гречки, ландыша, солдатской еды, столбецов, земляники, манжетки, купальницы, зверобоя, незабудки, чтобы понять, как список не полон и как можно продолжать и продолжать. Но зато в нем есть иные истинно народные названия, не встречающиеся в ботанических атласах.

Важно и другое. Читая все эти названия трав, отчетливо понимаешь, насколько народ знает больше, чем мы с тобой, ты да я. И что, пожалуй, мы с тобой (ты да я) просуществуем на свете зря, если не добавим хоть медной копеечки в драгоценную вековую копилку, коли иметь в виду не названия трав (которых мы с тобой безусловно не добавим), но всяких знаний, всякой культуры, всякой поэзии, всякой красоты и любви.

* * *

БОРАХВОСТОВ

«Я, видимо, больной человек, если я что-либо захочу узнать, то обязательно должен докопаться до нуля.

То же вышло и с золототысячником. Он не давал мне покоя.

Не может быть, чтобы наш русский народ назвал траву золототысячником. Это ни в какие ворота не лезет. Это произошло, видимо, в эпоху нашествия немцев на Россию при Петре I или при Екатерине II, которые «втихаря» колонизировали Русь, предоставляя лучшие земли немецким переселенцам. Так, например, появились немцы Поволжья и колония Сарепта (знаменитая сарептская горчица) в Сталинградской области... [1]

[1] Приводя здесь выдержки из писем моего любезного корреспондента, я оставляю на его совести подобные исторические экскурсы и оценки, некоторые рискованные суждения (не о травах), а также эмоциональные сопоставления русского народа с другими просвещенными народами, мне лично не свойственные.

Или же золототысячник появился у нас (название, конечно) в то время, когда наша интеллигенция стала изучать немецкий язык.

Но ведь у нас в истории были времена, когда — слава богу! — не было интеллигенции: а народ — слава богу! — был, и трава тоже — слава богу! Значит, наш народ как-то называл ее. Наши древляне не ждали, пока придут немцы и назовут эту траву, а мы потом переведем ее на наш кодовый язык.

И я стал копаться. И докопался. Народ ее называет и до сих пор «игольник», «грыжник» (В. С.), «травенка» и «турецкая гвоздика» в зависимости от области, края.

Так же в свое время я интересовался происхождением названия «бессмертник». Оказывается, в этом опять виновата наша — на этот раз не интеллигенция, а аристократия. Привыкнув с детства балакать по-французски, они название этих цветов (травы) просто перевели с французского. Там она называется «иммортели», это в переводе и означает — «бессмертник». А наш великий народ называет эту траву «неувядка», «живучка». Куда там французикам тягаться с нами в любви к природе. «Бессмертник» и «неувядка» — канцелярщина и поэзия!

Еще нашел я тебе о траве в некоторых книгах. Вот «Записные книжки» Эффенди Капиева.

«Как бедны мы, горцы! Как беден наш язык! Виноград у нас называется «черный цветок», подсолнух у нас называется «пышный цветок», розу у нас зовут «многознающий цветок» (стр. 198).

Это я привел для сравнения с нашими многообразными и многозначительными названиями трав. А теперь — Куприн:

«Для своего обихода, для своих несложных надобностей, русский крестьянин обладает языком самым точным, самым ловким, самым выразительным и самым красивым, какой только можно себе представить. Счет, мера, вес, наименование цветов, трав...» (Куприн, «Бредень»).

Примечание: *И это писал человек, знавший немецкий и французский!*

— Вы бы, мужички, сеяли мяту. Э... вы бы мяту сеяли (Лев Толстой, «Плоды просвещения»).

Примечание: *Так аристократ Вово учил крестьян сельскому хозяйству.*

Снова Куприн:

«Обхожу его (древнеримский цирк.— В. С.) по барьеру. Кирпич звенит под ногами, как железный, кладка цементная, вековая, в трещинах выросла тонкая трава, иглистая, жесткая, прочная, терпкая. Вот и теперь она лежит предо мной на письменном столе. Я без волнения не могу глядеть на нее» («Лазурный берег»).

«Потом Зоя затуманилась, развздыхалась и стала мечтательно вспоминать Великую неделю у себя в деревне.

— Такие мы цветочки собирали, называются «сон». Синенькие такие, они первые из земли выходят. Мы делали из них отвар и красили яйца. Чудесный выходил синий цвет» («По семейному»).

Примечание: *Зоя — проститутка.*

«Сегодня троица. По давнему обычаю, горничные заведения ранним утром, пока их барышни ещё спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали ее, длинную, хрустящую под ногами, толстую траву, всюду: в коридорах, в кабинетах, в зале» («Яма»).

Примечание: *У нас в Волгоградской области посыпают полы богородской травой, на Украине — чабрецом. Есть о травах и у Марко Поло, но я не выписывал, а память изменяет, начинается склероз. Да и читал-то я его лет сорок назад.*

Жером Бок. «Книга трав» издана в 1557 году. Есть в нашей библиотеке. (В библиотеке Центрального Дома литераторов.— В. С.) В ней много интересного, вплоть до средневекового салата из крапивы, листьев фиалки и репейника. Без уксуса (тогда еще не знали его) и без масла (оно в то время считалось роскошью). В салат для остроты прибавляли хрен.

Я еще покопаюсь в записных книжках. Привет!

* * *

Существует точное человеческое наблюдение: воздух мы замечаем тогда, когда его начинает не хватать. Чтобы сделать это выражение совсем точным, надо бы вместо слова «замечать» употребить слово «дорожить». Действи-

тельно, мы не дорожим воздухом и не думаем о нем, пока нормально и беспрепятственно дышим. Но все же, неправда,— замечаем. Даже и наслаждаемся, когда потянет с юга теплой влагой, когда промыт он майским дождем, когда облагорожен грозовыми разрядами. Не всегда ведь мы дышим равнодушно и буднично. Бывают сладчайшие, драгоценные, памятные на всю жизнь глотки воздуха.

По обыденности, по нашей незамечаемости нет, пожалуй, у воздуха никого на земле ближе, чем трава. Мы привыкли, что мир — зеленый. Ходим, мнем, затаптываем в грязь, сдираем гусеницами и колесами, срезаем лопатами, соскабливаем ножами бульдозеров, наглухо захлопываем бетонными плитами, заливаем горячим асфальтом, заваливаем железным, цементным, пластмассовым, кирпичным, бумажным, тряпичным хламом. Льем на траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щелочи. Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгородить от солнца траву? Подумаешь! Сколько там травы? Десять квадратных метров. Не человека же засыпаем, траву. Вырастет в другом месте.

Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был уже не нужен, я открыл краник, и вся жидкость из радиатора вылилась на землю, там, где стояла машина — на лужайке под окнами нашего деревенского дома. Антифриз растекся продолговатой лужей, потом его смыло дождями, но на земле, оказывается, получился сильный ожог. Среди плотной мелкой травки, растущей на лужайке, образовалось зловещее черное пятно. Три года земля не могла залечить место ожога, и только потом уж плешина снова затянулась зеленой травой.

Под окном, конечно, заметно. Я жалел, что поступил неосторожно, испортил лужайку. Но ведь это под собственным окном! Каждый день ходишь мимо, видишь и вспоминаешь. Если же где-нибудь подальше от глаз, в овраге, на лесной опушке, в придорожной канаве, да, господи, мало ли на земле травы? Жалко ли ее? Ну, высыпали шлак (железные обрезки, щебень, бой-стекло, бетонное крошево), ну, придавили несколько миллионов травинок. Неужели такому высшему, по сравнению с травами существу, как человек, думать и заботиться о таком ничтожестве, как травинка. Трава? Трава она и есть трава. Ее много. Она везде. В лесу, в поле, в степи, на горах, даже в пустыне... Разве что вот в пустыне ее поменьше.

Начинаешь замечать, что, оказывается, может быть так: земля есть, а травы нет. Страшное, жуткое, безнадежное зрелище! Представляю себе человека в безграничной, бестравной пустыне, какой может оказаться после какой-нибудь космической или не космической катастрофы наша земля, обнаружившего на обугленной поверхности планеты единственный зеленый росточек, пробивающийся из мрака к солнцу.

Не помню где, в воспоминаниях какого-нибудь революционера, я вычитал, трогательную историю о травинке.

Арестанту, заключенному в одиночке, принесли из большого мира стопу книг. Кроме самого арестанта в камере не было ничего живого. Каменные стены, железная кровать, тюфяк, набитый, мертвой теперь, соломой, табуретка, сделанная из бывшего живого дерева.

Ученый человек тотчас прервет меня и скажет, что плесень в углу тоже есть жизнь и разные там бактерии в воздухе... Но не будем педантами. Забудем даже про то, что в тюремном тюфяке могли водиться совсем уж живые существа. Будем считать условно, что кроме самого арестанта никакой жизни в камере не было. И вот ему принесли стопу книг. Он стал книги читать и вдруг увидел, что к книжной странице прилипло крохотное, право же, меньше булавочной головки семечко. Арестант аккуратно это семечко отделил и положил на лист бумаги.

Непонятное волнение охватило его. Впрочем, если вдуматься, то волнение арестанта можно понять.

Как дышим воздухом, точно так же бездумно мы обдуваем головки одуванчиков, раздавливаем в пальцах созревшую ромашку, пересыпаем с ладони на ладонь сухое зерно, лузгаем семечки подсолнуха, щелкаем кедровые орешки.

Но в особенной обстановке, в безжизненном (как мы условились) каменном мешке, в оторванности от обыденной жизни планеты, арестант посмотрел на семечко другими глазами. Он понял, что перед ним на листе бумаги лежит величайшее чудо из всех возможных чудес и что все это поистине величайшее чудо (и в этом еще дополнительное чудо) помещается в крохотной, едва различимой соринке.

При своем тюремном досуге, арестанту не трудно было вообразить, что, допустим, оголилась земля и осталось от бывшего пышного изобилия, от роскошного даже, как бы

праздного зеленого царства, одно это, последнее, случайно прилипшее к книжной странице, семечко.

Ну да, в одной коричневой легковесной шелушинке могут скрываться гигантский сосновый ствол, крона, подобная зеленому облаку, и даже впоследствии целая сосновая роща. Или бело-розовые яблоневые сады, если взять глянцевое, лаковое, остренькое с одного конца зернышко яблока, или колосящееся пшеничное поле, если взять столь знакомое всем пшеничное зерно.

Но как узнать, что скрывается в семечке, если оно не знакомо нам по своему внешнему виду? Сумев увидеть и понять в семечке великое чудо, наше сознание невольно делает еще один шаг и тотчас натыкается на глухую, абсолютно черную, непроницаемую завесу, отделяющую нас от тайны тайн.

Если бы в распоряжение арестанта, обладающего таинственным семечком были отданы все современные химические и физические лаборатории мира с их сложными реактивными, утонченными анализами и электронными микроскопами, если бы эти лаборатории изучили каждую клетку семени, если бы они после клетки добрались потом до молекулы, до атома, до атомного ядра, если бы они даже расщепили все атомы, из которых составлено семя, они все же не сумели бы приподнять черной завесы и не узнали бы, какое растение (какой формы листья, какого цвета, какого вкуса плоды) заключено в семечке, так просто лежащем на листе бумаги, перед вопрошающим, но бессильным взглядом человека.

Короче говоря, все ученые мира, вооруженные современными знаниями и современной техникой, не смогли бы все равно помочь тому арестанту и прочитать ту программу, которая вложена в семечко и у которой только две судьбы в этом мире. Либо погибнуть вместе с семечком при неблагоприятных условиях, либо включиться, прийти в действие, в осуществление и тогда показать, проявиться, и сделаться видимой для простого человеческого глаза. И тогда чудо превратилось бы в повседневность и будни: одуванчик, подорожник, ромашка с белыми лепестками, ядреная морковка или душистый укроп (порезать в суп).

Завеса остается непроницаемой.

Что из того, что мы вмешиваемся в жизнь растения, скрещиваем, создавая всякие черемухо-вишни, картофеле-томаты и много всего мичуринского. Все равно мы мани-

пулируем при этом с видимыми результатами тайной программы, с цветами, почками, ветками, а не с самой программой, зашифрованной надежным шифром.

Так радиотехник может уметь починить приемник, хорошо разбираясь в проволочках и гаечках, но ничего не знать о теоретической сущности радиоволн. Так наши пращуры пользовались огнем, не сознавая, что тут происходит соединение веществ с кислородом, бурное окисление, сопровождаемое выделением тепла и света. Так мы пользуемся теплом и светом напропалую, все еще не зная их конечной, а вернее, начальной сути.

Но подобные рассуждения увели бы нас далеко, а главное совсем развеяли бы ту обстановку романтичности и таинственности, которая создалась в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, когда заключенный обнаружил в книге неизвестное, случайное семечко. У заключенного не было другого способа разгадать тайну, кроме как посадить семечко в землю и предоставить дальнейшее самой природе.

Тюремный ли режим тех времен допускал подобные сантименты, по сговору ли со сторожем, но у арестанта появилась банка с землей. Дрожащими руками человек опустил семечко в землю, и оно тотчас потерялось в ней. Теперь, если бы человек снова захотел отыскать семечко и отдельно положить его на бумагу, то вряд ли ему это удалось. Семечко измазалось в земле, само стало, как земля, слиплось, слилось с остальной массой, относительно огромной, если даже и всего-то земли было там треснутый негодный горшок.

В красивой классической легенде узник поливает цветок в темнице своими слезами. В нашем, не столь уж романтичном случае, обошлось без слез, но можно было из своей кружки отдавать немного цветку. Впрочем, пока еще не цветку, а черной земле, хранящей тайну поглощенного ею семечка.

Если бы я обладал точными ботаническими знаниями, я написал бы, на который день произошло прорастание семени и как именно выглядел первый, высунувшийся из земли росточек. Из книжки, прочитанной мною давным-давно и наполовину забытой, явствовало лишь, что семечко, найденное прилипшим к странице, в конце концов проросло и что это очень обрадовало человека. Да и как могло не обрадовать. Дело было не только в том, что затея

удалась, но и в том, что та завеса, которая, как мы предполагали, абсолютно непроницаемая для человека, вдруг прираздвинулась сама собой, показав сокровенное и чудесное.

Чудо, к которому мы так привыкли только потому, что оно происходит вокруг нас всегда в миллионно-миллиардном повторении, но тем не менее все-таки самое подлинное чудо, начало происходить и развертываться на глазах у потрясенного узника. как награда за его внимание и терпение.

Первым делом из земли показалось нечто нежно-зеленое и при тщательном рассмотрении (без рук, без дотрагивания, конечно,— замерла душа) нечто собранное в комочек, в щепотку и покрытое прилизанными серебристыми ворсинками, отчего и выглядело вовсе не столько зеленым, сколько серебристым.

Счастливый сеятель (если можно назвать счастливым человека, сидящего в тюрьме, но все равно счастливый относительно того маленького дела, о котором идет речь), наверное, наблюдал за развитием растения, как теперь наблюдает иногда замедленная кинокамера, в объективе которой наглядно разворачиваются листья и раскрываются бутоны цветов. Нам приходится следить за растениями рывками, и вот, во-первых, обнаруживается, что серебристый росток подрос еще и развернулся вдруг в два самостоятельных отдельных листа. Листья при этом получились не простые, а строенные, разрезанные. Три овальных, зубчатых по краям плоскости сходятся в одной точке, образуя розетку. Можно и так сказать, тонкий стебелек, поднявшись из земли и дорастая до определенной высоты, растроился, разбежался на три жилки. Каждая жилка сделалась осью зеленой овальной плоскости. Три жилки, три плоскости, а в целом — один тройной лист. Сверху он получился почти темного зеленого цвета, и если не глянцевый, то, во всяком случае, гладкий, снизу же матовый, серебристый. Стебелек, вознесший лист над черной материнской землей,— тонкий, круглый в сечении и весь покрыт мелким нежным пушком. Зачем ему этот пушок, мы не знаем (растут же другие без пушка!), но, значит, зачем-нибудь нужен.

Два стебелька подняли два листа, подставив тем самым свету две огромные, грандиозные, в масштабах посеянного зернышка, зеленые плоскости. Эти светоуловители

сразу же начали действовать. Сверхсложная и сверхточная химическая лаборатории заработали на всю мощь. Вскоре двух светоулавливающих плоскостей оказалось мало, и были выставлены еще две дополнительные плоскости. Потом появился и быстро перерос все растение еще один тонкий стебель. Однако он не торопился увенчивать себя листом, но разделился на два отдельных, еще более тонких стебелька. На конце каждого из них возникло по островерхой зеленой шишечке, очень похожих на миниатюрные церковные луковки.

Эти луковки-маковки росли не по дням, а по часам, набухали, что-то распирало их изнутри, словно некие гномы под землей день и ночь работали насосами, нагнетая подземную силу и в листья, и в стебель, и в островерхие шишечки. И вот — стебелек держится прямо, не сгибается и не никнет. Огромные зеленые плоскости сочные и потому, безусловно, тяжелые держатся горизонтально, а не повисают, как тряпки. Островерхие шишечки раздуваются и того гляди лопнут.

Настал день, когда шишчатые бутончики действительно не выдержали внутреннего напора, лопнули, и два ослепительно-белых цветка озарили сырую тюремную камеру.

Напрасно было бы гадать и спрашивать, где взяло растеньице такой нежный и белый материал, как оно сумело соткать такие чистые тонкие лепестки, по пяти на каждом цветке. Где взяло оно и яркого желтого материала на круглую шишечку в середине цветка и на крохотные булавочки, натыканные в эту шишечку со всех сторон.

Сравнительно с самим собой семечко подняло эти цветы на головокружительную высоту, если учесть, что стебель у куста лесной земляники около двадцати сантиметров, а семечко земляничное в одном миллиметре уложится не четыре ли раза.

Значит, цветок цветком, кустик кустиком, но больше всего это похоже на мощный зеленый взрыв неведомой энергии, сконцентрированной и сжатой, до времени упакованной в весьма экономную портативную упаковку мельчайшего семени.

Кустик был красив, а вернее сказать — прекрасен. Два листа, протянувшихся горизонтально, держались почти около земли. Три стебля росли прямо вверх и поддержи-

вали там каждый по листу... Еще один стебель держал два белых цветка. Все вместе радовало глаз законченностью, стройностью и той разумностью, которая не поддается анализу и объяснению, но которая воспринимается тем не менее человеком, может быть, потому, что и сам он содержит в себе частицу все той же разумности, а вернее, является ее частицей.

Откуда ни возьмись, проклюнулся и быстро вытянулся новый гибкий стебель, значительно тоньше остальных, снабженный на конце утолщеньицем. Этот стебель не стремится держаться прямо, в нем не было жесткости, которая позволила бы потом держать лист или цветок. Он вытягивался в длину, но все время тяготел к земле, словно искал соприкосновения с ней.

Сколько ни гадал терпеливый наблюдатель, чтó разовьется из утолщения на конце этого нового, странно ведущего себя, стебелька — цветок или лист, ничего не выходило. Чем длиннее вытягивался стебель, чем дальше уносил он от куста свою утолщенную головку, тем настойчивее искала головка желанной влажной земли. Но витала она в бесплодной пустоте, потому что в поисках земли стебель унес ее за пределы той банки, или того горшка, где расцвел коренной куст. И ежели новоявленный садовод догадался подставить под шарящую в пустоте округлую головку новую банку с землей, то она дотронулась бы до нее, раздвинула бы наружные комочки, вонзилась в глубь земли, пустила бы корни. Так растение, преодолев свою корневую прикрепленность к одному месту, сделало шаг в пространстве. Шаг небольшой, но зато надежный.

Конечно, шагнуло растение и тогда, когда сумело прилепить свое семечко к книжной странице и когда книгу увезли, может быть, за тысячу верст от того места, где семечко вызрело, и передали в тюрьму, а оно все ждало своего часа и, как нетрудно это понять, могло бы ничего не дождаться. Но это даже не шаг, а целый космический перелет.

Правильно ли написать о растении, что оно «сумело прилепить свое семечко»? Не сознательно же оно его прилепило? Да. Но зачем оно вырабатывало сложную сочную, ароматную ягоду? Только затем, чтобы этой ягодой ктонибудь напитался. Проще всего, если склюет птица. Тогда — путешествие на крыльях. Птица уронила бы семеч-

ко, пролетая над лесом, и это был бы для растения тоже шаг, в пространстве. Собственно, на птицу и был основной расчет, а вовсе не на книжную страницу. Но так же, как у людей, бывают, оказывается, и у семян необыкновенные, приключенческие, прямо-таки фантастические, судьбы. Например, пролежать сорок веков в гробнице египетского фараона, а потом прорасти в парижской лаборатории. Согласимся, что и наше семечко постигла именно такая приключенческая судьба.

Но растение полно реализма. Оно не доверяет случаю. Романтика ему ни к чему. Оно выбрасывает гибкий стебель с шишечкой на конце и в десяти—двадцати сантиметрах от себя укореняет новый куст. На птицу надейся, а сам не плошай. Маленький шажок, но зато надежный.

Арестант, в своих изданных впоследствии воспоминаниях, утверждал, что у него в жизни ни до тюрьмы, ни в тюрьме (естественно), ни после тюрьмы не было радости более полной и острой, нежели та, которую подарила ему земляника, выросшая в разбитой плошке.

Глоток воздуха, когда человек задыхается. Зеленая живая травинка, когда человек совсем отрезан от природы. А вообще-то — трава. Скобли ее ножами бульдозеров, заваливай мусором, заливай горячим асфальтом, глуши бетоном, обливай нефтью, топчи, губи, презирай...

А между тем ласкать глаз человека, вливать тихую радость в его душу, смягчать его нрав, приносить успокоение и отдых — вот одно из побочных назначений всякого растения и в особенности цветка.

Какой-то восточный мудрец учил: если хочешь быть здоровым, как можно больше смотри на зеленую траву, на текучую воду и на красивых женщин. Некий практик захотел уточнить: нельзя ли ограничиться только третьим, а травой и водой пренебречь? «Если не будешь смотреть на зеленую траву и текучую воду, на женщин не захочется смотреть само по себе». Так ответил мудрец.

Но любуясь и даже наслаждаясь растением, не каждый, может быть, вспоминает, что перед ним кроме того сверхсложный работающий химический кабинет.

В книге о грибах под названием «Третья охота» я истратил порох, отпущенный мне для прославления земляники. Переписывать, пусть свое же, из одной книги в другую излишне. Лучше я перепишу частично то, что гово-

рит о землянике Михаил Андреевич Носаль, которого я назвал бы знахарем с высшим образованием.

«При чтении перечня болезней, которые лечат ягодами и листьями, а также стеблями земляники, собранными в цвету, у читателя невольно возникает вопрос: почему же так полезна земляника? Ответом на этот вопрос в известной степени может служить ознакомление с богатым химическим составом, которым обладает невинная дикая ароматная ягода. Как свидетельствует ряд источников, в составе земляники прежде всего известны:

1. Многие натроны и кислоты (яблочная, лимонная, хинная). 2. Дубильные вещества. 3. Салицил. 4. Пигменты или красящие вещества. 5. Летучие масла. 6. Сахары. И, наконец: 7. Витамины, особенно витамин «С». Из всех известных мне дикорастущих лекарственных растений, я не знаю более богатого, пожалуй, по химическому составу растения, чем наша земляника. В землянике, я уверен, имеются и другие, еще не изученные лечебные вещества. Вот почему она так полезна.

Земляничный сезон обыкновенно продолжается у нас от 3-х до 4-х недель. Если бы мы правильно использовали этот сезон несколько лет кряду (года 2—3), мы бы реже нуждались в курортах... На курорты раньше имели возможность ездить не все больные. Однако приходилось наблюдать, что и без курортов больные вылечивались земляникой. Лечение земляникой в народе популярно.

Многие в народе знают, что такое земляника, пользуются ею, и от нее получают исцеление.

При лечении земляникой, просто едят ее сырою, но не вареной или сушеной. Едят одну или с молоком, сливками, молодой сметаной, с сахаром (иногда с вином). Из личной практики и наблюдений над самим собой, прихожу к заключению, что ее можно и нужно есть так много, чтобы на третьей неделе она настолько надоела, что нужно заставлять себя есть ее. Давайте ее детям, давайте много. Не жалейте средств на приобретение земляники. Не считайте ее баловством или роскошью, а считайте ее необходимой, как хлеб, крупу, картофель...

...Не умаляя достоинства чая, как общеизвестного напитка, скажу одно, что если бы прижился такой же напиток из листьев земляники, как чай, здоровье людей при этом только выиграло бы...

...По действию на организм похожа на землянику еще одна ягода — черника. Кнейп по поводу этих ягод оставил нам такой афоризм: «В том доме, где едят землянику и чернику, врачу нечего делать».

* * *

БОРАХВОСТОВ

«Володя, может, пригодится и это...

О траве лук — личные наблюдения. Народу исстари известно, что «лук — от семи недуг», «кто сеет лук, тот избавится от мук», «лук да баня — все правят». Это его целебное действие я наблюдал лично. В 1935 году меня черти носили (по командировке Главзолото) около двух лет по золотым приискам Якутии и Дальнего Востока. Так летом мы (старатели и я) спасались от цинги диким луком.

Во время войны, когда наша дивизия дралась на Ленинградском направлении, то во время блокады кое-кто из дистрофиков находил в себе силы перейти через линию фронта. Кормить их солдатской пищей было бесполезно. Они умирали от нее. Их кишки уже присохли к спине. Но в одной деревне нашлась старуха, которая спасала дистрофиков от смерти. Она перетирала зеленый лук в зеленую кашицу, сдабривала его сметаной и кормила их этой жевкой. Только одним луком. И больше ничем. Порция — не меньше миски. Я думал, что они «дадут дуба», а получилось наоборот. После лечения этим заслуженным деятелем знахарства, они на другой день уже могли принимать нормальную шамовку.

Еще о луке:

В средние века, в эпоху крестовых походов лук был очень дорог. Он считался панацеей от всех болезней. О его стоимости можно судить по тому, что в 1250 году французы выменивали своих пленных у сарацинов по цене 8 (восемь) луковиц за одного человека.

В древности лук служил наглядным пособием по астрономии. Учитель разрезал луковицу и по ее слоистому строению объяснял строение вселенной, якобы состоящей из нескольких сфер — оболочек, окружающих землю.

Теперь трава — перец. О ее целебных свойствах Ф. Ф. Талызин (врач-биолог, Советник по вопросам меди-

цины в Представительстве СССР при ООН) в своей книге «Под солнцем Мексики» пишет (стр. 61): «Заметив действие на меня перца, дон Плетч (мексиканский врач) поясняет обычай пользования им в каждом блюде.

— Видите ли,— говорит он энергично,— направляя картошку с перцем в рот,— в Мексике довольно часты желудочно-кишечные заболевания, дизентерия и летние диареи (понос.— В. Б.). Чтобы избежать их, тут принято широко добавлять в пищу перец. Он наилучший защитник от болезней. Советую и вам побольше перчить содержимое тарелки».

Жозуэ де Кастро в своей книге «География голода» пишет: «Хронически недоедающие люди почти не замечают отсутствия пищи. Чувство голода у них ослаблено, а иногда и вовсе исчезает. Чтобы возбудить притупленный аппетит, хронически голодающие народы часто вынуждены стимулировать его различными возбуждающими средствами, такими, как перец и прочие острые специи, что, например, имеет место в Мексике».

Записки, сделанные мной, когда я был еще студентом рабфака. Интересуясь народной медициной, я побеседовал со старой — 93 года — казачкой, известной в то время знахаркой, которая была неграмотна и ни хрена не знала в анатомии, но великолепно вправляла вывихи.

Вот ее рецептура:

Донские степи, как известно, покрыты полынью. Поэтому она была ингредиентом любой микстуры.

Так, например, расстройство желудка народ лечил полынью с небольшой примесью «травы-дивины» (что это за трава, я не знаю).

От простуды лечили той же полынью, но только настоянной на водке с примесью белоголовника или золототысячника.

Полынь же входила в настойку, которой лечили больных коклюшем, рожей, дизентерией и лихорадкой. Подорожником пользовали гнойные раны, нарывы и зубную боль.

От кашля хорошо помогал настой на репьях, выдранных из собачьих хвостов. Когда я поинтересовался у колдуньи — почему именно из собачьих хвостов? Она объяснила, что собаки уносят на своих хвостах только самые спелые репьи.

Камни в печени и мочевом пузыре лечили соком редьки.

Жар сбивали малиной, липовым цветом и бузиной.

Людей, покусанных бешеными собаками, лечили соком молочая. Технология лечения, укушенных бешеными собаками, была такова:

Знахарка ставила на стол икону и перед ней разжигала в миске древесные угли. Помешивая их серпом (а не чем-нибудь еще), она шептала:

— Царь-огонь разгорается. Царь-железо накаляется. Царь-железо царь-огню покоряется. Репей-трава прилипчива. Больное сердце сбивчиво. Сердце на место стань! Хворь бесова перестань! Уйди болезнь лихого зуба, дурного духа бешеной собаки! Будь мое слово крепким, твердо-крепким, тверже самого твердого белгорюч-камня. Шел на Голгофу Иисус Христос, крест тяжелый на себе нес. Ты помахай Иисус крестом — мясоедом и постом! Отгони хворости-напасти от бешеной пасти! Аминь, аминь, аминь!

А потом на рану прикладывались листья подорожника...

Теперь — забавное о траве.

Я не знаю, как это делается у вас во Владимирщине, а у нас на Волге и Дону, если хозяйка не желает, чтобы курица стала наседкой, то как только она «распаляется» и начинает квохтать, то ее ловят и обнажив задницу, бьют крапивой. Это помогает. Будущая наседка теряет всякий интерес к воспроизведению потомства и продолжает нести яйца...

...Кузмичевскую траву поставлял главным образом Бузулук, в окрестностях которого ее очень много. Она якобы помогала от 40 (сорока) болезней...

...Душевные болезни и ипохондрию древние лечили чемерицей. Об этом есть как у древних греков, так и у римлян. Видимо, нет дыма без огня...

...В Японии выведены съедобные сорта хризантем. Из их лепестков делают салат. Высушенные лепестки идут на врачевание. Ими лечат простуду и употребляют как аппетитные капли...

«Луговая и степная трава настолько отличаются друг от дружки, что это понимают не только люди, но и скотина. Траву она предпочитает степную, а сено — луговое. Это я знаю по своему личному опыту, когда пас коров и

овец. Мой хозяин, как опытный крестьянин, выбрал место для своего хутора на грани луга и степи, и скотина, выгоняемая мной на рассвете, обычно тянулась в степь, а не на луг, а хозяин предпочитал луг, а не степь: больше нагула, больше молока, и оно лучше по вкусу, ибо все женщины Волгограда и до сих пор, покупая молоко, спрашивают:

— Степное или луговое?

Или, не доверяя торговцам, пробуют.

А мясо — наоборот, лучше степное.

Научного объяснения этому, то есть разницы между лугом и степью я не знаю, но думаю, что степи моей области слегка солоноваты, и та трава, что там растет, имеет соленый привкус, то есть является чем-то вроде салата, приготовленного природой. Луговая же почва каждый год промывается полой водой в течение двух месяцев, но зато «ассортимент трав» там лучше и они «жирнее».

Мясо в сыром виде, конечно, нельзя отличить степное от лугового. Поэтому женщины задают продавцам коварный вопрос:

— Из какого района ваше мясо?

Но продавцы тоже не дураки. Они говорят то, что нужно...

...Собаки и кошки лечатся травами.

Снова Куприн.

...— Помнишь, как мы с тобой — тебе было одиннадцать лет, а мне десять — как мы ели с тобой просвирки и какие-то маленькие пупырышки на огороде детской больницы?

— Конечно, помню! Такой сочный стебель с белым молоком.

— А свербигус? Или свербига, как мы ее называли?

— Дикая редька?

— Да, дикая редька!.. Но как она была вкусна с солью и хлебом!» (А. Куприн, «Травка»).

...Пифагор был вегетарианцем. Он поучал жить на подножном корму. Питаться травкой. Овидий отобразил это в своих «Превращениях»: «Не оскверняйте, люди, своих уст нечистой пищей! Есть у нас деревья, есть яблони, склонившие ветви свои под тяжестью плодов, есть на лозах зрелый виноград, есть сладкие овощи, которые можно употреблять в пищу, если сварить их в воде».

...Толстой (Лев, конечно, ибо в литературе было много Толстых, но только один из них Лев, даже с маленькой буквы) любил, чтобы в его кабинете всегда лежала охапка сухой травы (сена).

Пока все. Но где-то есть еще кое-что записанное. Привет. Борахвостов В.».

* * *

Лежать на траве. Опуститься, опрокинуться навзничь, раскинуть руки. Нет другого способа так же полно утонуть и раствориться в синем небе, чем когда лежишь на траве. Улетаешь и тонешь сразу, в тот самый миг, как только опрокинешься и откроешь глаза. Так тонет свинцовая гирька, если ее положить на поверхность моря. Так тонет напряженный воздушный шарик (ну, скажем, метеорологический зонд), когда его выпустишь из рук. Но разве есть у них та же стремительность, та же легкость, та же скорость, что у человеческого взгляда, когда он тонет в беспредельной синеве летнего неба. Для этого надо лечь на траву и открыть глаза.

Еще минуту тому назад я шел по косогору и был причастен разным земным предметам. Я, конечно, в том числе видел и небо, как можно видеть его из домашнего окна, из окна электрички, сквозь ветровое стекло автомобиля, над крышами московских домов, в лесу, в просветах между деревьями и когда просто идешь по луговой тропе, по краю оврага, по косогору. Но это еще не значит — видеть небо. Тут вместе с небом видишь и еще что-нибудь земное, ближайшее, какую-нибудь подробность. Каждая земная подробность оставляет на себе частицу твоего внимания, твоего сознания, твоей души. Вон тропа огибает большой валун. Вот птица вспорхнула из можжевелевого куста. Вон цветок сгибается под тяжестью труженика-шмеля. Вот мельница. Она уж развалилась.

Ты идешь, а окрестный мир снабжает тебя информацией. Эта информация, по правде говоря, не назойлива, не угнетающа. Она не похожа на радиоприемник, который ты не волен выключить. Или на газету, которую утром ты не можешь не пробежать глазами. Или на телевизор, от которого ты не отрываешься в силу охватившей тебя (под влиянием все той же информации) апатии. Или на вывески, рекламы и лозунги, которыми испещрены городские улицы.

Это иная, очень тактичная, я бы даже сказал — ласковая информация. От нее не учащается сердцебиение, не истощаются нервы, не грозит бессонница. Но все же внимание твое рассеивается лучами от одной точки ко многим точкам.

Один лучик — к ромашке (не погадать ли на старости лет — и тут далеко уводящая цепочка ассоциаций), второй лучик — к березе («чета белеющих берез»), третий лучик — к лесной опушке («когда в листве сырой и ржавой рябины заалеет гроздь»), четвертый — к летящей птице («Сердце — летящая птица, в сердце — щемящая лень»), и пошла лучиться, дробиться душа, не скудея, не истощаясь от такого дробления, но все же и не сосредотачиваясь от многих точек к одной, как это бывает в минуты творчества, в минуты — вероятно — молитвы, да еще вот когда остаешься один на один с бездонным небом. Но для этого надо опрокинуться в летнюю траву и раскинуть руки.

Между прочим, хватит у неба глубины для тебя и в том случае, если по нему будут неторопливо и стройно двигаться белые полчища облаков. Или если эти облака будут нежиться в синеве неподвижно. Но лучше, конечно, чистая синяя бездна.

Лежишь на траве? Купаешься в небе? Летишь или падаешь? Дело в том, что ты и сам потерял границы. Ты стал с небо, а небо стало с тебя. Оно и ты стали одно и то же. Не то летишь, возносясь,— и это полет по стремительности равен падению, не то падаешь,— и это падение равно полету. У неба не может быть ни верха, ни низа, и ты это, лежа в траве, прекрасно чувствуешь.

Цветочная поляна — мой космодром. Жалкими представляются отсюда, с цветочной поляны (где гудит только шмель), бетонированные взлетные дорожки, на которых ревут неуклюжие металлические самолеты. Они ревут от бессилия. А бессилие их в том, что они не могут и на одну миллионную долю процента утолить человеческую жажду полета, а тем более его жажду слиться с простором неба.

Вот, допустим,— прозой пересказываю к случаю свое давнее стихотворение,— ты не в силах больше терпеть. Ты жил на земле и с усладой смотрел на белые плывущие облака. Вся твоя сущность тянулась ввысь. Улететь в небо, раствориться в нем, что может быть желаннее, слаще? Судорожно отсчитываешь ты тридцать рублей, нетерпели-

во толчешься у весов, где сдают чемоданы, потом около трапа, по которому поднимаются в самолет. Скорее садишься в кресло. Уши твои забивает грохотом. Каждая твоя клетка неприятно и болезненно вибрирует вместе со стенками самолета.

Ну что же, вот она, твоя синь, вот они, твои облака. Скопление сырости и тумана. По стеклу иллюминатора бегут бесконечные капельки воды. Около желудка тошнотворно сжимает. Назовите мне человека, который, летя в самолете, вожделенно смотрел бы вверх, на небо, а не вниз, на землю.

Внизу между тем лес, похожий больше на мох. Речка, словно серебристая нитка. Около речки — зеленая поляна. Какая-то букашечка там, среди поляны. Человечек! Он лежит на траве, раскинув руки, и смотрит вверх, в небо. Господи! Скорее туда, на землю, где трава и цветы. Лечь и раскинуть руки...

Моряки, как бы они ни тосковали по морю, хорошо знают, что море прекрасно только тогда, когда у него есть берег.

Человек сам, как трава, как растение, на которое извечно действуют две противоположные силы: тяжести, привязанности, прикрепленности к земле и стремления вверх, полета, роста.

У прорастающего семени появляются два ростка. Один неукоснительно стремится вниз, а другой кверху. Один превращается в корни, которые все глубже будут зарываться в землю, другой в стебель, а то и в ствол, который будет тянуться выше в небо. С одной стороны, растение тянет к себе центр земли, а с другой стороны — центр солнца. Поэтому растение не обвисает, подобно мертвому бесчувственному шнуру. Пока оно живо, то есть пока оно способно подвергаться воздействию внешних космических сил и воспринимать их, оно будет натянуто в пространстве. Оно растягивается в противоположные стороны двумя, казалось бы, враждебными, а на самом деле согласованно действующими силами.

Как хмель, украшающий дачную террасу, растет вдоль шпагатных струн, натянутых для него человеком, так всякая травинка, всякий стебель и ствол растут вдоль незримого силового луча, натянутого между двумя точками: центром земли и центром солнца.

Скажут: но бывают же кривые, изогнутые стебли? Где

же их скольжение по прямому лучу? Где же их стремление к свету, где же их прямизна?

Отвечу: прямизна их — в стремлении. Все они рождены, чтобы быть и расти прямыми. Однако внешние случайные, привходящие, чаще всего механические силы заставляют их сворачивать с прямого пути. И все же, если взглянуть на искривленный, на уродливый стебель (ствол), нетрудно заметить, что, может быть, он и искривился только для того, чтобы обойти внешнее грубое препятствие, а потом снова подчиниться лучу.

Кроме того, в его стремлении вверх таится глубокое, с трагическим оттенком противоречие. Чем больше стебель растения подчиняется тяготению вверх, чем длиннее (выше) он становится, чем больше строительного материала приходится ему употреблять, строя самого себя, тем он становится тяжелее в самом земном и вульгарном смысле этого слова. Стебель начинает сгибаться в дугу. Жизнь принимает характер борьбы, она протекает отныне между поползновением и порывом. Береза стремится кверху, а ветви ее свисают вниз. Налившийся ржаной колос сгибает в лебединую шею прямой, как стрела целеустремленный, стебель. Созревшие яблоки не только сгибают, но и ломают сучья.

Возьмем уже упомянутый хмель. Вся жизнь его является примером титанической непрерывной борьбы между пресмыканием и полетом.

В дедовом саду был уголок между двором и старой рябиной, где водился хмель. Строго говоря, ему был отведен даже не уголок сада, а участок тына, протяженностью в десять шагов, по которому он и завивался из года в год. Тын в этом месте был нарочно сделан в два раза выше, нежели по всему остальному саду. Кажется, дед устанавливал здесь еще и дополнительные высокие колья, чтобы было хмелю куда расти.

Хмель живописно украшал дедов сад. Рядом с ним стояли пчелиные улья, так что уже здесь, невольно и случайно пока соседствовали хмель с медом, предназначенные впоследствии друг для друга.

Соединялись они в бочонке, в котором варилась «кумушка» — медовая, хмельная (от слова «хмель») брага. Хмель этой браги, по общему мнению всех многогодних гостей, бил в двух направлениях: и в ноги, и в голову. Голо-

ве он придавал легкость и веселость, а ногам тяжесть и неподвижность. Головой — словно вскочил бы и — плясать, порхать с платком по просторным и чистым половицам, а ноги невозможно сдвинуть с места и оторвать от пола.

«Неужели? — думаю я теперь.— Неужели два своих состояния, две своих крайности: тяжелую, удручающую пресмыкаемость и легкость, граничащую с полетом (на восемнадцатиметровую высоту), хмель сообщает потом и нам; и мы говорим его именем: хмель, хмельной, захмелел, хмельная голова, во хмелю, похмелье...»

Дедов сад постепенно нарушался. От прежнего протяженного тына остался только тот его десятишаговый отрезок, где вился хмель. Когда я стал возобновлять дом и сад, то новый забор провел, отступя на три шага от старого, и вот внутри сада получилась у меня весьма живописная, декоративная, как сказали бы теперь, гнилушка, все еще напоминавшая своим видом старый тын. Вокруг этой реликвии густо разрослись хмелевые лианы.

Надо бы этот обломочек старого сада оберегать и хранить. Но он, как и все остальное в саду, был пущен на произвол судьбы и однажды зимой под тяжестью снега рассыпался, теперь уж на форменные гнилушки. Оставалось их собрать и сжечь в печке.

Когда собирали остатки тына — ранней весной,— хмель сидел затаившись в земле. Ведь он каждый год вырастает заново. Мы как-то и забыли про него, пока он сам не напомнил нам о себе, превратив заросли малины в одну непролазную зеленую мочалку. С какого бы конца ни подошел, куда бы ни протянул руку за малиной, всюду натыкаешься на хмель. Он расползался от того места, где раньше стоял тын во все стороны, цепляясь за все на своем пути, и все ему было мало. Окончание каждой ползущей зеленой змеи было ищущим, шарящим и, что поразительнее всего, смотрящим вверх. Ползет по земле, а смотрит в небо!

Пришла идея украсить хмелем ту часть дома, которая выходит в сад. Сказано — сделано. Впрочем, чтобы сделать это, надо было ждать либо поздней осени, либо ранней будущей весны и, вернее всего, весны, когда хмель еще не вырос в длинные змеи, но уже проклюнулся из земли и обозначил себя: видно, где врезать в землю острый железный заступ. Вот еще одно обстоятельство в жизни хмеля: каких бы ни достиг похвальных результатов за

лето, на какую бы ни вскарабкался высоту, на будущий год все приходится начинать сначала. Но неправда, не совсем напрасно прошел год. В земле выросли на какую-нибудь толику, пустили новые отростки, укрепились еще больше толстые, глубокие корневища. За этими корневищами мы и пришли теперь с острым заступом. Раздвинув стебли малины, мы увидели, как из черной перегнойной земли высовываются тут и там острые, сочные, яркие ростки хмеля. Мы стали обкапывать землю вокруг побегов, и лопата вскоре наткнулась на древовидные, толщиной не с руку ли, еще при дедушке росшие корни. Хмель угнал их в землю на трехметровую глубину, и мы не пытались, конечно, выкорчевывать хмель со всеми его корнями. Мы брали обрубки корневищ, горизонтальные, с тремя-четырьмя вертикальными ростками на них и укладывали эти обрубки в землю вдоль бревенчатой стены нашего дома. Ложе для этих обрубков мы сначала выстилали перегнойной землей из того же малинника, из того же места, откуда взяты были обрубки.

Первый год пересаженный хмель болел. Побеги он выпустил тонкие, хилые, листья мелкие, а вскоре на него набросилась тля. Эта травяная вошь, как и человеческая, набрасывается на больных, хилых, съедаемых тоской или другим душевным недугом.

На второй год, переболев и освоившись на новом месте, хмель показал свою силу.

Я наблюдал за ним. Уже с первых шагов ему приходилось решать дополнительную задачу по сравнению, скажем, с близрастущими одуванчиками и крапивой. У одуванчика есть, наверно, свои, не менее сложные, задачи, но все же на первых порах ему нужно просто вырасти, то есть создать розетку листьев и выгнать трубчатый стебель. Влага ему дана, солнце ему дано, а также дано и место под солнцем. Стой на этом месте и расти себе, наслаждайся жизнью.

Другое дело у хмеля. Едва-едва высунувшись из земли, он должен постоянно озираться и шарить вокруг себя, ища за что бы ему ухватиться, на какую бы опереться надежную земную опору. На молодом побеге хмеля больше всего заметно действие тех сил, о которых говорилось немного раньше. Естественное стремление всякого ростка расти вверх преобладает и здесь. Но уже после пятидесяти сантиметров жирный, тяжелый побег льнет к земле. Получа-

ется, что он растет не вертикально и не горизонтально, а по кривой, по дуге. Эта упругая дуга может сохраняться некоторое время, но если побег перевалит за метр длины и все еще не найдет, за что ухватиться, то ему волей-неволей придется лечь на землю и ползти по земле. Только растущая, ищущая часть его будет по-прежнему и всегда нацелена кверху. Хмель, ползя по земле, хватается за встречные травы, но они оказываются слабоватыми для него, и он ползет, пресмыкаясь, все дальше, шаря впереди себя чутким кончиком. Что делали бы вы, очутившись в темноте, если вам нужно было бы идти вперед и нашарить дверную ручку. Очевидно, вы стали бы совершать вытянутой рукой вращательное, шарящее движение. То же самое делает растущий хмель. Его шершавый, как бы сразу прилипающий кончик все время совершает, продвигаясь вперед или вверх, однообразное вращательное движение по часовой стрелке. И если попадется по пути дерево, телеграфный столб, водосточная труба, нарочно подставленный шест, любая вертикаль, нацеленная в небо, хмель быстро, в течение одного дня взлетает до самого верха, а растущий конец его снова шарит вокруг себя, в пустом пространстве. Не выяснен вопрос: чувствует ли хмель возможную опору на некотором небольшом расстоянии и ползет ли в ее сторону? Есть предположение, подтверждаемое практикой, что побеги хмеля ползут по земле, предпочтительнее в сторону близко расположенных опор. Во всяком случае, когда мы натянули на наш дом параллельными струнами шпагат и когда хмель, немедленно воспользовавшись нашей помощью, полез по нему с проворностью матросов, карабкающихся по вантам, все же некоторые побеги, успевшие отклониться от стены, мне пришлось пригибать к шпагату и как бы показывать этот шпагат побегам, подобно тому, как слепых котят тыкают мордочками в соски матери.

Дорастя до крыши, ветви хмеля начали шарить вокруг, но натыкались лишь друг на дружку. Они сплетались, перепутывались, свисали беспорядочными, праздными кудрями. Силы еще были, а высоты больше не было. Хмель залезал во все щели, в неплотно прикрывающиеся окна, под застреху, под тесовую обшивку.

Один побег я с самого начала не захлестнул на шпагат, и можно было наблюдать, как он, бедняга, день за днем пластается, ковыляет, ползет по земле, обремененный

собственной силой, собственной тяжестью, как он вынужден переползать и тропинку, и лужайку, и помойку; и пора бы уж изнемочь и отказаться от цели, но самая нежная, самая чувствительная часть зеленой шершавой змеи все время продолжала быть начеку, все смотрела вверх, в синее теплое небо, в высоту, по которой так тосковало все растение в целом.

Этот хмель напоминал человека, переползающего гиблую трясину и почти уж засосанного ею. Тело его увязает в воде и грязи, но голову он из последних сил старается держать над водой. И взгляд его, полный тоски, устремлен кверху.

Я бы сказал тут, кого еще мне напомнил этот хмель, если бы не было опасности переключиться от невинных заметок о траве в область психологического романа.

Достаточно сказать, что вот я лежу на траве и каждая моя клетка льнет к земле и, между прочим, блаженно, радостно льнет, а какая-то иная часть меня рвется в синюю бездну. Да, я ползаю, погрязаю и пресмыкаюсь. Но самое лучшее во мне, самое ищущее и чуткое, всегда нацелено вверх, и, может быть, это лучшее и чуткое нашарит еще какую-нибудь опору, и тогда недорастраченные силы устремятся в последнем рывке завоевывать зыбкую высоту, которой жажду...

...Вчера я пересказал вслух соображения насчет двух сил, действующих на растение и растягивающих его вверх и вниз. Слушательница — моя дочь,— получившая уже достаточное количество двоек по физике, чтобы задавать осмысленные вопросы, спросила:

— Следовательно, у растения есть точка, где эти силы уравновешивают одна другую и на которую не действуют никакие силы? Наверно, эта точка испытывает состояние невесомости и блаженства? Неужели такая точка на растении никак и ничем не обозначена?

— Может быть, именно в этой точке на растении возникает цветок...

* * *

БОРАХВОСТОВ

«Привет, Володя!

Кое-что раскопал для тебя в старых книжках.

«Флора.

Юная, маленькая, нежная богиня цветов, столько же привлекательная, как и самые цветы, и столь же упоительная, как аромат их. Она страстно любила Зефира, который как ни был ветрен, по преданию, платил ей взаимною неизменной любовью; они были неразлучны вместе; когда Борей сгоняет с полей Зефира — нежная Флора лишает те поля даров своих. Царство ее — вечная весна!» «Волхв., или Полное собрание гаданий с краткой мифологией», Москва, 1838 (есть у нас в библиотеке).

«Гадание»

«В июле месяце можно набрать двенадцать различных цветов, сплести из них небольшой венок и положить на ночь в головы под подушку. Суженый непременно приснится. Должно при этом заметить, что это делается только раз в неделе: именно с понедельника на вторник» (Там же, стр. 265).

«Когда созреет хлеб, должно взять три различных колоса с той десятины, которую еще не начали жать, обернуть их во что-нибудь льняное или шелковое и, ложась спать, укрепить поясом этот сверток так, чтобы он был прямо против сердца, и сказать — сужвный, ряженый, приходи ко мне рожь жать.
Суженый верно явится» (Там же, стр. 265).

«В Семик, когда завьют венки, оставить свой, как он есть; потом вплести в него еще несколько цветков, стараясь, чтобы в нем было семь разных сортов растений; ложась спать, надеть венок на голову и три раза проговорить:

— Суженый, ряженый, явися ко мне сам! Я тебе украшенный венок свой отдам!

Суженый приснится. Только должно заметить, что, проговорив эти слова, не должно после ни с кем разговаривать в этот вечер» (Там же, стр. 266).

Я еще наткнулся на кое-что...

Наговор. (Даю, так сказать, технологию присушки.)

Из-под правой ноги, из-под самой пятки нужно выдрать клок травы (какой безразлично) и положить ее под матицу (потолочная балка), приговаривая следующее заклинание:

«И как трава сия будет сохнуть во веки веков, так, чтоб и он, раб божий (имя рек), по мне, рабе божьей (имя рек), сохнул душой и телом и тридесятью суставами. Чтобы мне, красной девице, быть для него милее светлого месяца, красного солнышка, роднее отца-матери, дороже живота (жизни). Спать бы ему не заспать, есть ему не заесть, пить бы ему не запить, гулять бы не загулять без меня, красной девицы. И как рыба-белуга без воды бьется-мечется, так чтобы и он, раб божий (имя рек), без меня бился-метался».

Примечание: *Говорят, что действовало. Не знаю. Я не пробовал. Но меня присушивали. Так я полагал, когда был волжским грузчиком, ибо деваха та была неказиста. Но потом, с годами, я понял в чем дело.*

Это тоже о траве...

Царское правительство ежегодно весной, когда особенно часто умирали чахоточные, устраивало «День белого цветка» (ромашки). По улицам ходили парочки — гимназисты и гимназистки, студенты и студентки — с жестяными кружками, отпечатанными сургучными печатями и побирались в пользу больных туберкулезом...

...О значении цветов.

Желтые — разлука и измена, красные — любовь, белые — уважение, невинность. А у древних греков роза служила символом тайны. Если над столом висела роза, следовательно, все, что будет здесь говориться, должно остаться в тайне.

...Еще нашел в записных книжках, что существует книга Скальера Метьюза «Полевые и лесные цветы». Привет!»

* * *

...Итак — лежать на траве. Но почему именно на траве? Что же, если не нравится, ложитесь на пыльную дорогу, на кирпичи, на обрезки железа, на кучу минерального удобрения, на сучковые доски. Можно, конечно, расстелить на земле плащ. Но я бы советовал — на траве. Эти минуты сделаются, может быть, лучшими, памятными минутами вашей жизни.

Недавно я ездил в Белоруссию. Янка Брыль и Пимен Панченко приветили меня в Минске и решили показать

мне, хоть немного, родную землю. Они раздобыли на три дня казенный автомобиль, и мы помчались на запад.

Поездка захватила три области: Минскую, Брестскую и Гродненскую. Мы обошли кругом озеро Свитязь и любовались сквозь прозрачную воду его белым песчаным дном. У лесничего в погребе мы пили квас из березового сока. Мы сидели на берегу Немана в предвечерней тишине и видели, как бултыхнулся жерех в десяти метрах от нас. Мы осмотрели несколько закрытых полуразрушенных церквей. Мы обедали в Новогрудке ядреной редиской и щами из свежего щавеля. Мы ночевали в Любиче, в тихой деревенской гостинице. Мы осмотрели замок Радзивиллов в Несвиже, а также прекрасный радзивилловский парк, где меня поразила необыкновенная высота самых обыкновенных деревьев: берез, лип, дубов, вязов и даже рябин. В костеле, в подвалах костела мы осмотрели фамильный склеп Радзивиллов. Около города Мир (старое название) мы любовались восстанавливаемыми руинами замка и зарослями шиповника, омывающими руины, подобно розовому прибою. Мы побывали на родине Адама Мицкевича и взбирались на так называемый Курган Бессмертия, который насыпали поляки, принеся сюда землю в горстях со всех уголков своей страны. Наконец, мы просто ехали три дня по красивой земле Белоруссии.

Янка Брыль, как инициатор поездки и как уроженец тех мест, все время говорил нам с Піменом Панченко:

— Ну что? Какова земля? С вас за такие виды надо бы брать по гривеннику с каждого километра.

Таким образом определилась шутливая цена окрестным пейзажам. Иногда Янка Брыль уточнял, когда попадался очень яркий луг (дело было в июне) или очень красивый изгиб реки:

— За этот километр я с вас возьму по сорок копеек.

Иногда мы сами, восклицая, опережали хозяина:

— За этот километр даем рубль!

Между тем разговаривали, вспоминали, делились мыслями, признавались в желаниях и мечтах. Так, например, Янка Брыль вдруг сказал:

— Хотите верьте, хотите нет, лет двадцать уже мечтаю полежать во ржи!

— И за чем дело?

— Да вы сами-то когда лежали в последний раз?

— Давно. Не вспомнишь когда.

— Так же и я. То — одно, то — другое.

Большая часть жизни проходит в городе, в поездах, в самолетах, в гостиницах. Считаем, что важнее просидеть три часа на собрании или в ресторане, нежели пролежать эти часы во ржи. Проходят годы, а мечта остается мечтой. Она все отодвигается. Думаешь: ничего, успею. А потом — инфаркт, инсульт или, не дай бог — прихватит рачок, и прощай рожь навсегда...

Мы ехали в это время по узкой полевой дороге, а справа и слева от нас колыхалась высокая, почти уж цветущая рожь. Должно быть, потому и зашла о ней речь.

— Может быть, не надо больше откладывать? — робко посоветовал я.— Отойди на двадцать шагов от дороги и ложись.

— Разве я об этом говорю? — удивился и даже обиделся Янка Брыль.— Разве так нужно лежать во ржи?! Чтобы я лежал, а вы сидели в машине и ждали? И поторапливали меня: ну скоро ли, наверно, уж належался?

— Я знаю, что так во ржи не лежат. Но все-таки, если двадцать лет не удавалось, то, может быть, лечь хоть на три минуты?

— А вы?

— Что мы? Ляжем тоже.

Машина остановилась. Трое взрослых, более того, пожилых людей пошли в тихую зеленую рожь, расходясь веером, чтобы отдалиться на несколько шагов друг от друга. Потом я опрокинулся на спину, и в мире не осталось ничего: ни друзей, ни машины, ни Белоруссии, ни Москвы. Высоко в небе, почти не склоняясь надо мной, стояли колосья.

Внизу, где я лежал, был микроклимат и микромир. Он состоял из зеленого полусвета, прохладной тишины, свежести, пахнущей молодой сочной рожью. Гораздо выше меня, в тех сферах, где находились колосья, струился легчайший ветерок. Его не хватало на то, чтобы шевелить сами колосья, но трепетали на ветерке пыльники — продолговатые серые мешочки, как бы приклеенные к колосьям. На каждом колосе их было по десять, а то и больше, и все они трепетали, вытягиваясь в одном направлении, и можно было предугадать, как через день-другой из них полетит пыльца, и ветерок будет развеивать ее, оплодотворяя все это поле.

Конечно, не о таком, минутном лежании во ржи меч-

тал поэт Янка Брыль (то что он пишет прозу, не имеет значения), конечно, это было эрзацлежание во ржи, суррогат. Однако суррогатными были лишь наши обстоятельства, а рожь была настоящая, и утро было настоящее, и жаворонок над нами (один на всех нас троих) был самый подлинный, неподдельный жаворонок.

Рожь доказала нам свою власть и силу. Вечером, подъезжая к Минску, стали вспоминать весь проделанный путь — за́мки, озера, реки, города, деревни, костелы, склепы, рестораны...

— Объявляется конкурс. Давайте оценим по нашей шкале не километры, а отдельные эпизоды путешествия. Что поставим на первое место?

— Рожь! — воскликнули мои друзья.— Рожь, лежание во ржи и песню жаворонка над нами.

— Цена?

— Сто рублей!

На втором месте оказалось озеро Свитязь.

* * *

БОРАХВОСТОВ

«Копаясь в старых записных книжках эпохи своего студенчества, случайно наткнулся на высказывания Лукреция о травах. Посылаю, может, сгодится.

Кроме того, почему распускается роза весною.
Летом же зреют хлеба, виноградные осенью гроздья?
Не иначе как потому (перевод, конечно, хреновый, хотя издание «Академии»), что
Когда в свое время сольются
Определенных вещей семена (Лукреций, *О природе вещей).*

Без дождей ежегодных в известную пору
Радостных почва плодов приносить никогда не смогла бы,
Да и природа живых созданий, корму лишивши,
Род умножать свой и жизнь обеспечить была бы не в силах (Там же).

В самом начале травой всевозможной и зеленью свежей

Всюду покрылась земля изобильно,
холмы и равнины,
Зазвенели луга, сверкая цветущим покровом (Там же, *стр. 327, Изд. Ак. наук СССР, 1946).*

«Володя!

Я сейчас занимаюсь «повторением пройденного». Перечитываю свои записные книжки. В них я наткнулся еще на античную траву. Правда, не такую древнюю, как у Лукреция. Но все же! Это — Овидий. Вот что он написал в своих буколиках и георгиках:

Мальчик прекрасный, сюда! О, приди!
Тебе лилии в полных
Нимфы корзинах несут, для тебя
белоснежной наядой
Бледных фиалок цветы («Фиалок цветы» — перевод не ахти, но это не я, а Шервинский)
и высокие сорваны маки,
Соединен и нарцисс с (три «с» подряд)
анисовым цветом душистым
(Овидий, *Сельские поэмы,*
Изд-во «Академия», 1933, стр. 28).

Травы, что мягче, чем сон, и
источники, скрытые мхом,
И осенивший редкою тенью зеленый кустарник,
*Вы защитите от зноя стада (*Там же, *стр. 49).*

Высохло поле. Трава, умирая от
порчи воздушной
Жаждет... (Там же).

Прежде всего, выбирай для пчел
жилище и место,
Что недоступно ветрам (затем, что препятствуют ветры
Пищу к дому нести), где ни овцы,
ни козы-бодалки
Скоком цветов не сомнут, где корова,
бредущая полем,
Утром росы не стряхнет и поднявшихся
трав не притопчет (Там же, *стр. 119).*

Этот мой интерес к травам объясняется тем, что в 1918—1919 годах я был пастухом у нас под Царицыном-

Сталинградом-Волгоградом. Получив высшее образование, я решил узнать, как интеллигенция называет травы, которые я видел и которые щипала моя скотина.

Еще немного античности.

Спорить давай, кто скорей: сорняки
из души я исторгну,
Иль же ты — из полей, и кто чище:
Гораций иль поле? (Квинт Гораций Флакк. *Полное собрание сочинений, Изд-во «Академия», 1936, стр. 307).*

Вот пасут пастухи жирных овец стада,
Лежа в мягкой траве, тешат свирелью слух (Там же, *стр. 163).*

Вот в чем желания были мои, необширное поле,
Садик, от дома вблизи непрерывно текущий источник.
К этому — лес небольшой (Он же, *Сотулы, 1958, стр. 167).*

...Сивилла сказала, что может
Пеньем и травами мне горечь любви облегчить.
(Авл. Левий Тибул, *Любовные элегии, 1961).*

Идет молва, что она (Венера.— В. Б.) одна обладает зловредными травами... Она сказала мне, что ее чары и травы властны потушить огонь моей любви (Тибул, *Элегии, 1912, стр. 5 и 6. Переведено прозой)».*

* * *

У растения во время любви поднимается температура. В особенности это происходит у тех растений, которые цветут пышными крупными цветами. У Виктории-регии, у магнолии, например. В белых, бело-розовых брачных одеждах, величественные, роскошно раскрывшиеся навстречу неизбежному и самому главному, одурманивающие воздух вокруг себя крепкими ароматами, эти царицы, эти клеопатры, эти жрицы любви распаляются настолько, что температура внутри цветка получается на целых девять градусов выше температуры окружающего воздуха, или температуры того же цветка, но только в спокойном состоянии.

Но и у самого скромного цветочка, у любого из наших луговых лесных, полевых цветов все равно наступает возбуждение, сопровождающееся повышенной температурой, пусть и не такое бурное, как у тропических красавиц.

Выражение насчет любви у растений звучит на непривычный слух вульгарно, как метафора, либо поэтическая вольность. Существует даже термин — антропоморфизм. То есть приписывание животным и растениям человеческих свойств и человеческих чувств.

Однако дело не в антропоморфизме, но в истинной сути происходящего.

Возьмем несколько разных пар, то есть несколько женских и мужских особей, соединяющихся велением закона жизни. Их соединение принято называть любовью[1].

Испанец поет серенады своей возлюбленной, дерется из-за нее на шпагах, пробирается по шелковой лестнице в заветное окно. Навстречу ему тянутся нежные руки возлюбленной. Страстный шепот, объятия. Любовь.

Жених и невеста приезжают из загса. Свадебный пир, провозглашение здоровья, песни и пляски. Потом молодые остаются одни. Страстный шепот, объятия. Любовь.

Воображение и память подскажут нам десятки и сотни известных (хотя бы из литературы и других видов искусства) любовных пар. Влюбленные разлучающиеся, гибнущие, упивающиеся счастьем, путешествующие, ревнующие, изменяющие, раскаивающиеся...

Влюбленные на балу, в церкви, в театральной ложе, в корчме, на берегу моря, в уединенной хижине, на войне, на службе, на трудовой вахте... Какое нагромождение событий, переживаний, восторгов, слез, надежд, ожиданий, разочарований, взаимных упреков, встреч, прежде чем влюбленные останутся одни и обнимут друг друга. Любовь.

Два огромных тяжелых лося сходятся в поединке. Самка ждет в стороне, независимо пощипывая траву. Два лебедя, два волка, два зубра (он и она)... Двое сходятся, чтобы из двух разрозненных единиц образовать пару.

В книге о дельфинах написано, что любовное желание у дельфина-самца возникает после того, как самка несколько раз дотронется до него своими ластами. Все это, очевидно, тоже — любовь.

---

[1] Здесь и далее имеется в виду половая любовь, а не любовь как философская, нравственная, религиозная и т. п. категория.

Может быть, внешняя надстроечная сторона тут проще, чем в случае с испанцем, поющим серенады, звякающим шпагой и карабкающимся по шелковой лестнице. Или чем в случае с Карениной и Вронским. Или чем в случае с Дубровским и Машенькой Троекуровой.

Но с другой стороны, был я однажды в доме отдыха. Десятки пар разбредаются после кино по обширному темному парку, и не слышно ни серенад, ни звяканья шпаг.

Внешняя сторона события может быть очень разной. Назвать остров или пролив именем любимой женщины и взять женщину, не поинтересовавшись, как ее зовут. Посвятить женщине поэму и дать ей рубль. Преодолевать ради нее тысячеверстые расстояния и не проводить до троллейбусной остановки. Застрелиться из-за женщины и обложить ее матом.

Совершают государственные карьеры, становятся великими художниками, производят грандиозные ограбления, поют песни, спиваются, изменяют отечеству (Андрей из «Тараса Бульбы»), попадают в руки врагов (какого-нибудь атамана в кинофильме ловят непременно, когда он идет к женщине)... Тысячи романов уже написаны, тысячи еще будут написаны, и все это называется любовью, вернее, внешней, событийной, декоративной, надстроечной частью любви. Потому что ученые говорят и, в частности, наш великий ученый К. А. Тимирязев, что «брак на всех ступенях органической лестницы, начиная водорослью и кончая человеком, представляет одно и то же явление: это слияние... двух клеточек в одну».

Я уж думаю, иногда вырисовывается странное, фантастическое предположение: а может быть, реально в основе, и существуют-то на земле эти самые половые клетки, может быть, они-то (а ведь они живые организмы) и есть основное, реальное население мира? Эти существа умеют создавать для себя очень сложные обиталища, которые, кроме удобств еще и обеспечивают им практическое бессмертие. Ибо обиталища время от времени отмирают и истлевают, а половые клетки (вместе с генами и хромосомами) продолжают существовать во времени и пространстве, воссоздавая себе все новые и новые обиталища.

Но оставим шутки и вернемся к неоспоримой истине: любовь у человека, любовь у дельфина и любовь у цветка по своей сокровенной сути ничем не отличаются друг от друга — она есть соединение двух половых клеток.

Вокруг этих клеток, вокруг факта их соединения существует разный антураж. Чем дальше от них, тем антураж различнее, непохожее, но чем ближе к самому непосредственному соединению их, тем различие все больше утрачивается.

Скаканье на тройках, тайное венчание в ночной сельской церкви; игры двух подвижных существ в теплой морской воде; утонченное ароматное цветенье ночной фиалки. Это все еще как будто далеко одно от другого. Но все равно дело сквозь любовную шелуху должно идти к двум клеткам, и чем ближе оно к ним будет подвигаться, тем общее, однороднее, похожее будет становиться любовь. А все эти тройки, игры, благоухания останутся позади, осыпятся сами собой. У цветка это произойдет весьма наглядно, когда осыпятся лепестки, в других случаях не так уж буквально и зримо. Дело закончится прикосновением, соединением и слиянием.

Причем, как утверждает К. А. Тимирязев, «сущность этого явления, химизм этого процесса для нас почти неизвестен». «Почти» употреблено ученым из осторожности. Зато все ученые сходятся на том, что каков бы ни был этот процесс, в нем нет никакой принципиальной разницы.

Но если это так — а это так,— то нет и никакого иносказания, никакого антропоморфизма в том, что мы употребляем слово «любовь» применительно к растению, к цветку. Напротив, может быть, нужно идти в приписывании качеств и свойств от цветка к человеку. Да мы так и делаем на каждом шагу, отнюдь не называя это фитоморфизмом. Такого и слова-то не существует в человеческом языке. Сейчас оно впервые появилось написанным на бумаге.

Но разве мы не говорим о какой-нибудь женщине, что полюбив, она расцвела? Или разве мы не говорим о женщине, что она преждевременно увяла? Или разве мы не говорим о подрастающем поколении: молодо-зелено? Не называем его порослью? Не называем кого-нибудь пустоцветом? И разве то, что мы называем человеческой любовью (вся событийная сторона любви) не есть цветенье нашей души? И как вернее сказать — цветок ли расцветает подобно душе влюбленного человека или душа влюбленного раскрывается и расцветает подобно цветку?

Цветенье души проявляется в поступках. Мужчина ста-

новится ласковым, нежным, предупредительным. Он приглашает ее в кино, на футбол, на хоккей. Он начинает лучше учиться или работать. Он следит за своей внешностью. Он томится, грустит, улыбается, ликует. Все это (если брать не отдельного влюбленного «антропоса», а человека, как такового) должно найти себе обобщенное выражение, должно проявиться в каком-нибудь локальном образе. И оно действительно перерастает и воплощается в слово и в музыку. Слово и музыка — вот обобщение цветения человеческой души. «Лунная соната», «Я помню чудное мгновенье...», сонеты Петрарки...

Но разве цветок менее удачное, менее яркое и выразительное обобщение того же самого?

Ни поэт, ни живописец, ни музыкант не нашли бы столь образного, столь лаконичного и — главное — столь наглядного выражения своей любви, как если бы они воплотили ее в живой благоухающий цветок и, показав людям, заявили: вот какова моя цветущая душа, вот какова моя любовь!

И люди изумились бы и были бы потрясены, потому что ничего прекраснее и чище цветка нет и быть не может.

Подсознательно мы так и делаем, даря своим любимым цветы. Разве мы не передаем вместе намека на то, что и я, мол... и у меня, мол, в душе... и моя, мол, любовь похожа на этот цветок, приближается к нему.

Украсить землю цветами — это значит украсить ее любовью.

Когда бы созвали самых великих художников и сказали им, что существует во всей вселенной голый серый камень и что нужно украсить его разнообразно и одухотворенно, с тем чтобы красота облагораживала, поднимала, делала лучше и чище, разве могли бы они, эти художники, придумать что-нибудь прекраснее обыкновенного земного цветка?!

Но дальше встает вопрос: сумели бы эти художники или нет додуматься до цветка, если бы они никогда его до сих пор не видели, не знали бы, что это такое, то есть, если бы не было в их распоряжении образца?

Важен именно принцип и образец. Потом-то, оттолкнувшись от образца, они насочиняли бы, наконструировали бы и василек, и ромашку, и незабудку, и ландыш, и одуванчик, и подсолнух, и клевер, и кошачью лапку, и шиповник, и сирень, и жасмин.

Постепенно они дошли бы до каких-нибудь экстравагантных заумных форм, до расщепления формы, до цветка абстрактного, то есть, по-русски говоря, беспредметного, до какого-нибудь там кубизма в цветах. В этом нет никакого сомнения.

Сомневаюсь я в другом: что они смогли бы с самого начала додуматься до цветка, так сказать, изобрести цветок, если бы в их руках не было образца.

Смотрю на цветок жасмина. Его чистота, нежность и тонкость неправдоподобны. Глаз не устает любоваться им. Кроме того, он источает неповторимый во всей многообразной природе, только ему, жасмину, присущий аромат. Его конструкция проста и строга, он построен по законам геометрии. Его четыре лепестка, расположенные крестообразно, вписываются в условный круг.

Все это — и белые лепестки, и желтая серединка цветка, и даже сам аромат,— все это создано при использовании девяноста двух (или сколько их там теперь открыли?) элементов менделеевской таблицы, путем гениальных комбинаций.

Ни один элемент в чистом виде жасмином не пахнет. Ни один элемент не может произвести такого же эстетического воздействия, то есть такого же очарования, какое производит живой цветок.

Ну конечно. Ведь и буквы, будучи рассыпанными, тоже не значат ничего. Возьмем хотя бы такой бездушный и бесчувственный, бесцветный набор букв: в, з, ы, з, ш, х, о, м, у, д, н, и, о, ы, р, а, д, с, в, к, о, у, ь, н, о, м, р, о, к, н, ж, ы, и, й, ж, у, ь, и, е, я, ж, у, ь, и, е, я, ж, с, ч, б, ш, ь, о, ч, н, х, а, т, и, у, с, п, ы, ж, я, н, е, м, ж, л, е, н, в, о, у, г, б, и, в, з, д, я, з, с, а, д, з, е, в, з, ю, о, е, о, г, и, п, р, ш, о.

Увидим ли мы, читая эти буквы, какую-нибудь картину, тем более прекрасную? Услышим ли аромат темной горной ночи, ее тишину? Возникает ли перед нами мерцание звезд, почувствуем ли мы в гортани прохладу ночного свежего воздуха, а в сердце — неизъяснимую тревогу и сладость?

Но вот буквы меняются местами, группируются, соответствующим образом комбинируются, и мы читаем, шепчем про себя, повторяем вслух:

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит,

Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.

Не аналогичным ли образом должны группироваться и перегруппировываться элементы менделеевской таблицы, чтобы из их безобразной и бесчувственной россыпи получился живой и душистый цветок жасмина?

Теперь задаем себе вопрос: сколько миллионов лет нужно встряхивать на подносе рассыпанные буквы, чтобы они сами собой сложились, в конце концов, в гениальное лермонтовское четверостишие? Или в поэму «Демон»? Или в сонет Петрарки? Или в целого Гёте? И не придем ли мы к выводу, что для того, чтобы из рассыпанных букв получилось гениальное стихотворение: нужен, как ни печально в этом признаться,— поэт.

Итак, оправдав кое-как понятие «любовь» применительно к цветку, возвращаемся к первой фразе этой главы: «У растения во время любви поднимается температура». Наука, конечно, объясняет это как может. Она говорит, что в цветах появляется усиленная химическая деятельность. Они жадно поглощают кислород, выдыхая углекислоту, и это-то усиленное дыхание и сопровождается заметным повышением температуры всего цветка, в особенности тычинок.

Во-первых, говоря об учащенном и усиленном дыхании, не проще было бы сказать, что цветок возбужден. Во-вторых, объяснение правильное, но разве полное?

Оно очень характерно для нас, людей. Именно в такой степени мы объясняем большинство явлений, в суть которых проникнуть пока не удается. Естественно, что при учащенном дыхании, при возбуждении, организм разогревается. Но дыхание-то почему становится чаще и глубже — вот вопрос?

Можно вспомнить и еще подобные же объяснения подобных не совсем изученных явлений природы. Общеизвестно, что листья мимозы, если до них дотронуться, мгновенно складываются. Почему? Так это же очень просто! Там, где листья примыкают к черенкам, а черенки к стеблю, находятся особые утолщения, подушечки. Клетки этих подушечек переполнены соком и находятся в напряженном состоянии. В момент дотрагивания до листа, то есть в момент раздражения они вдруг теряют напряженность,

делаются вялыми, неупругими, они уже не в состоянии поддерживать черенок, и он падает, пригибается. Можно найти и прочитать подробное описание этого механизма, очень сложного и очень точного. Но все же после тщательного исследования наука устами добросовестного Тимирязева заключает: «Итак, в конечном анализе, причина занимающего нас явления сводится к быстрому выталкиванию воды из переполненных ею тонкостенных клеточек раздражительной ткани, вследствие чего эта ткань так же быстро утрачивает свое напряжение. Но почему же раздражением имеет следствие выталкивания воды, и какие силы заставляют клеточку переполняться водой? На этот вопрос мы пока еще не в состоянии дать ответа...»

Общеизвестно, что одуванчик закрывает свой цветок в пасмурную погоду и перед вечером. Почему? Очень просто.

«Не трудно убедиться, что это зависит от действия света и темноты.

Объяснить все подобного рода явления мы можем неравномерным ростом и напряжением тканей верхней и нижней или наружной и внутренней части движущегося органа. Мы видели, например, что свет задерживает рост, следовательно, под его влиянием наружные части будут задержаны в росте, внутренние их обгонят и будут стремиться выгнуться наружу, цветок раскроется; но теперь большему освещению будут подвергаться эти внутренние или верхние части; наружные (или нижние), затененные в свою очередь опередят их в росте, цветок закроется».

Получается все очень складно, за исключением мелочи. Если дело только в росте тканей и в воздействии на них света и тени, то почему же одуванчик то закрывается, то открывается, а рядом цветущие цветы: василек, ромашка, земляника, не поддаются разъясненной нам механике и держатся открытыми в самые темные ночи и холодные росы?

Будем ли мы чистосердечно признаваться, что «мы пока еще не в состоянии дать ответа», или будем изощряться, но не можем допустить одного, а именно, что растение способно чувствовать и на самом деле чувствует, коль скоро оно отвечает на внешние раздражители. И уж конечно, язык наш не повернется произнести, что растение может быть разумно. Не один экземпляр растения, а целый биологический вид.

Способные на дерзкие эксперименты и обобщения, мы не осмеливаемся, однако, произнести те два слова, которые поэт и мыслитель осмелился сделать заглавием своей замечательной книги: «Разум цветов».

Но разум предполагает мозг, а не чувствительность, наличие нервов или хотя бы нервных клеток. Ни того, ни другого у растений как будто нет.

Действительно, как бы ни были таинственны и удивительны процессы, происходящие в человеке (мы говорим сейчас лишь о биологических процессах, а не о психической, не о духовной жизни человека и не об абстрактном мышлении), как бы ни было удивительным поведение любого четвероногого или пернатого, а невежество всегда может найти себе лазейку в объяснении этого поведения и сослаться на мозг.

Да, есть пульт управления, есть верховная инстанция, которая всем руководит. По бесчисленным проводам бегут в этот центр разные сигналы и донесения, а обратно бегут распоряжения, приказы, сигналы, предписания к действию. Сложно, очень сложно, подчас непостижимо, но все же очевидна и понятна хотя бы схема. А тут? Никакого мозга даже в зародышевом состоянии, ничего, напоминающего мозговой центр у растения нет, а между тем им что-то руководит, определяя пропорции веществ, сроки, характер поведения.

Ну что же, представим себе человека (пресловутого марсианина, что ли?), у которого понятие о музыке обязательно связано со струной. Вне струны он не может представить себе музыкального звука. И вот ему в руки дают предмет. Он вертит этот предмет в руках так и сяк и наконец возвращает его нам, говоря, что никакой музыки тут быть не может, потому что нет струны.

А между тем в руки ему давалась флейта — прекрасный музыкальный инструмент.

Не в таком ли положении находимся мы по отношению к растениям. Если нет мозга, если нет нервных путей, значит, не может быть ни чувствительности, ни разума. А между тем растение живет, осуществляет сложные химические процессы, строит само себя, заботится о продлении вида, о потомстве, путешествует, завоевывает пространство, осуществляет грандиозную, основополагающую для всей жизни на земле задачу фотосинтеза, то есть превращение солнечного света в органическое вещество,

и, наконец, оно чувствительно в самом вульгарном смысле этого слова, если реагирует на свет, на температуру, на влажность и даже — иногда — на прикосновение, не говоря уж о том, что в момент любовного акта начинает дышать чаще и глубже... Струны нет, а флейта поет.

Пишу с тревогой на сердце. Щемит сердце так, как если бы увлекся во время морского купания, оглянулся, а берега нет. И может быть, не хватит сил вернуться обратно, к твердой почве.

Мало ли что — красивое сравнение с флейтой, мало ли что — Тимирязев. Это было давно. Наука идет вперед. В растерянности обозревая зыбкие волны, шаришь глазами: на что бы опереться, за что бы ухватиться рукой. Теперь бы доску, обрубок бревна, не говоря уж о спасательном круге. И вот попадается под руки отрадная, твердая опора.

В статье доктора географических наук, профессора Московского университета И. Забелина вижу строки, которые ничем не выделены в газетном столбе («Литературная газета», статья «Опасные заблуждения»), но мне эти строки показались напечатанными жирным шрифтом.

«Мы еще только начинаем познавать язык природы, ее душу, ее разум. За семидесятью семью печатями для нас «внутренний мир» растений: сегодня само это понятие звучит сказочно, но в той или иной форме, но, видимо, существует».

Ладно. Оперся, передохнул. Но опора, в общем-то, зыбкая, эмоциональная, вроде моей струны. Натянуть бы эту струну на железные колки эксперимента и доказательств. Снова вокруг бездонная хлябь, но не я же один плаваю в открытом море. И вот уж не просто плавучий предмет под рукой, но иная картина: твердая палуба под ногами, сухая удобная одежда, глубокие кресла в капитанской каюте, в широких, сужающихся кверху бокалах темное золото согревающего напитка.

— Не угодно ли сигару, сударь?

— Благодарю.

— Это из моей гаванской коллекции...

Итак, газета «Правда», 1970 год. Репортаж В. Черткова «О чем говорят листья».

«А знаете, растения разговаривают. Я сам был свидетелем этого. Да ладно бы разговаривают, а то ведь и кри-

чат. И это только кажется, что они безропотно встречают свои невзгоды и молча переносят обиды. При мне ячменный побег буквально вопил, когда его корень окунули в горячую воду. Правда, «голос» растения уловил лишь специальный и очень чуткий электронный прибор, который рассказал о «неведомых миру слезах» на широкой бумажной ленте.

Перо прибора, словно обезумев, виляет по белой дорожке. Ячменный побег в предсмертной агонии, хотя, если посмотреть, ничего не говорит о его плохом состоянии: листочек не сник и по-прежнему зелен. Но «организм» растения уже непоправимо болен — какая-то его, будто даже «мозговая» клетка уведомляет нас об этом своими сигналами, что фиксируются на ленте...

...Лауреат Государственной премии профессор И. И. Гунар, заведующий кафедрой физиологии растений Тимирязевской академии проделал со своими сотрудниками сотни опытов, и все они подтверждали наличие в растениях эмпирических импульсов, подобных нервным импульсам человека.

— Мы полагаем,— говорит профессор,— что координации внутренних процессов и уравновешивание их с внешней средой осуществляется у растений при помощи сложной раздражительной системы, под контролем которой находятся все процессы их жизнедеятельности... Очевидно, растения принимают сигнал, передают его по особым каналам в какой-то центр, где информация принимается и обрабатывается, а потом уж дается команда исполнительным элементам, которые в свою очередь имеют обратную связь с «приемщиком сигнала» извне.

Пока ученые не нашли все звенья этой системы, но она, как говорит профессор, обязательно есть...

Приборы должны рассмотреть многие электрические явления в растениях, которые являются глашатаями процессов возбуждения и торможения — это основы жизнедеятельности всего живого. Уже ясно, что эти явления не просто какие-то частные феномены или нечто побочное, сопровождающее какой-либо физиологический процесс, а что они закономерны. В растениях заложены элементы памяти. Об этом тоже свидетельствуют наши опыты... надо внимательно изучить клетки корневой шейки, именно здесь, как мне кажется, должен быть заложен центр сбора всей информации».

Об элементах памяти сказано вскользь. Но ведь написано же черным по белому в газете, расходящейся тиражом в несколько миллионов экземпляров, а никто не звонил друг другу в возбуждении, никто не кричал в телефонную трубку захлебывающимся голосом:

— Слышали? Растения чувствуют, растениям больно, растения кричат, растения все запоминают!

Другой профессор, академик из Новосибирского академгородка рассказывал моей знакомой москвичке Галине Ильиничне Балиной (указываю ее девичью фамилию во избежание досужих читательских писем, обращающихся обычно за разъяснением подробностей).

— Не удивляйтесь,— говорил академик,— мы проводим многочисленные опыты, и все они говорят об одном: у растений есть память. Они умеют накапливать и долгое время хранить впечатления. Одного человека мы заставили несколько дней подряд мучить и истязать куст герани. Он щипал ее, обрывал листья, колол иглой, делал надрезы, капал на живую ткань кислоту, подносил к листьям зажженную спичку, подрезал корешки... Другой человек бережно ухаживал за тем же кустом герани: поливал, рыхлил землю, опрыскивал свежей водой, подвязывал отяжелевшие ветки, лечил ожоги и раны.

Потом мы подсоединили к растению электрические приборы, которые фиксировали бы и записывали бы на бумаге импульсы растения и смену этих импульсов. Что же вы думаете? Как только «мучитель» приближался к растению, стрелка прибора начинала бесноваться. Растение не просто «нервничало», оно боялось, оно пребывало в ужасе, оно негодовало, и, если бы его воля, оно либо выбросилось бы в окно, либо бросилось на мучителя.

Но стоило ему уйти, а на его место прийти доброму человеку, как кустик герани умиротворялся, его импульсы затухали, стрелка прибора чертила плавные и, можно сказать,— ласковые линии.

— Теперь я понимаю, почему зацвела моя герань! — воскликнула другая добрая женщина, услышав об этих опытах.— Дело в том, что я на все лето уезжала из Москвы. Ухаживать за своими цветами поручила соседке. Она и ухаживала, и поливала их время от времени, выставив за окно. То ли кустик герани далековато стоял — не дотянуться,— то ли соседка махнула на него рукой по той причине, что он захирел в первый же летний месяц и было

видно, что не жилец, но даже и тогда, когда неожиданно выпал ранний снег, соседка не убрала его в тепло.

Однако хозяйка, возвратясь домой после длительных летних странствий, пожалела герань. Тем более что у нее с этим цветком было связано что-то личное и лирическое. Она взяла его в комнату, оборвала сухие листочки, полила, обласкала. И вот полузасохшее, безнадежное больное растеньице на третий уже день выбросило алый цветок. А как, скажите, оно еще могло приветствовать свою добрую хозяйку и ее возвращение, как еще могло отблагодарить за любовь и за ласку, за спасение жизни?

Конечно, ничего не зная о столь чудесных опытах, о которых тут было вскользь рассказано, можно смело говорить, что цветенье этой гераньки — совпадение и случайность. Но зная об этих опытах, зная о них, можно, пожалуй, рассказать и о том отправном случае, с которого начался разговор между Галиной Ильиничной Балиной и профессором из Новосибирского академгородка, то есть вернее, с которого их разговор перешел на цветы.

Галина Ильинична была в гостях у своих дальних родственников и осталась там ночевать. Ее положили в небольшой уютной комнате. Она почитала немного перед сном, а потом погасила свет. Она уже засыпала. Уже сознание ее находилось на той зыбкой грани между явью и сном, когда, как видно, ворота его (сознания) наиболее беззащитны, незаперты, распахнуты. Вдруг безотчетный ужас охватил Галину Ильиничну. С криком выбежала она из комнаты к людям. Она не могла ничего объяснить, но зубы все еще стучали о край стакана, а сама она вздрагивала и всхлипывала.

Ночевала она вместе с хозяйкой, а утром ей признались, что в той маленькой уютной комнате, где ее положили сначала, две недели тому назад удавилась сестра хозяйки, пятидесятилетняя женщина...

— Ну вот и дошли до мистики, до загробной жизни, до привидений и духов.— Так сказал бы, пожалуй, всякий рядовой, считающий про себя, что все он знает, то есть невежественный человек. Однако профессор из Академгородка, выслушав Галину Ильиничну, вдруг серьезно спросил:

— Скажите, а не было ли в той комнате цветов?

— Там, где я легла спать?

— Да. Где на вас напала смертельная тоска и смертельный ужас.

— Там... там было много цветов.

— Тогда не надо удивляться. Дело в том, что цветы концентрируют в себе настроение людей, живущих с ними вместе, их психическое состояние. Мало того, что концентрируют, сохраняют очень долгое время. Мало того, что сохраняют, способны, как вы сами убедились, передавать это настроение другим людям.

— Но это... так непривычно. Это же сверхъестественно.

— Напротив, очень даже естественно. Если плохое или хорошее настроение может передаться от одного человека к другому, почему же оно не может передаться цветку. Ведь он живой, не менее чем мы с вами.

После этого-то профессор и рассказал о тех опытах с «мучителем» и «доброжелателем», которые, какими бы не показались фантастичными, есть уже достояние науки.

Придя из этих гостей домой, я сказал жене и дочерям:

— Знаете что? Или ухаживайте за цветами как следует, или лучше в доме их не держать.

— Мы и так за ними ухаживаем. Поливаем, пересаживаем, все как следует,— ответила мне жена.

— Надо ухаживать за ними еще лучше. Надо подходить к ним не между делом и в спешке, а с любовью, надо их ласкать и жалеть, надо подходить к ним в хорошем настроении. Дело в том... короче говоря, дело в том, что они живые!

* * *

БОРАХВОСТОВ

«Володя, я еще наткнулся кое на что... Даю выписку из недавней газеты. Ученые Канады ...высказали предположение, что на урожайность пшеницы (как ты знаешь, эту пшеницу в Канаде мы покупаем.— Б. В.) помимо чисто биологических факторов, влияет и... направление рядков посева. Посеянная вдоль географической широты — на запад или на восток — пшеница, по их утверждению, растет заметно быстрее и дает лучший урожай, чем посеянная по меридиану: с юга на север. Как полагают исследователи, это удивительное явление объясняется чувствительностью растений к силовым линиям магнитного поля земли».

А вот это из моих записных книжек.

...Зверобой, железняк, тимьян, золототысячник, черно-

больник, шалфей, просвирник, ромашка, наперстянка, стародубка и анютины глазки — по народному поверью — бывают целебными лишь в том случае, если они сорваны после очередной «воробьиной ночи».

Тогда я стал интересоваться — почему? Интеллигенты объясняют это тем, что атмосферическое электричество влияет на жизнь растений.

Методо-технология лечения, кроме приема внутрь, заключается в том, что такую траву или ее корни надо завернуть в чистую тряпочку и после соответствующей обработки знахаркой, произнесшей шепотом слова таинственного наговора, необходимо подвесить на гайтан нательного креста.

Говорят, помогает. Сам носил, но не понял. То ли помогла трава на шее, то ли крепкий ребячий организм, но излечился от лихорадки, которая трепала больше двух месяцев.

...Какие-то травы зашивались в пояса и носились на животе. Это от желудочных болей.

От головы хорошо помогали травы, которые клались на ночь под подушку.

...Будучи на Дальнем Востоке, я узнал, что для того, чтобы женьшень не потерял своих магических целебных свойств, искатель женьшеня не должен быть вооруженным. Выкапывать корень он обязательно должен только лопаточкой, сделанной из кости...

...Травы чувствительны к музыке. Сын мне пишет (он работает атташе в нашем посольстве в Индии), что индийские ботаники установили, что определенным подбором мелодий (два «что» подряд — не ахти, но это не я, а Борахвостов В. С.) можно ускорять и замедлять рост трав. После семилетних опытов они установили, что самыми «музыкальными» травами являются табак и рис.

Примечание: *Ну, это, может, трава растет от индийских мелодий. От музыки вряд ли что произрастет. Скорее завянет* [1].

---

[1] Спешу поправить Борахвостова. Я читал об этих опытах индийских ботаников в наших газетах. Индийские мелодии не имеют никаких преимуществ перед европейскими. Наиболее воспринимаемой и благотворной для трав оказалась музыка Мендельсона, Штрауса и Чайковского. Джазовая музыка производит на травы угнетающее действие.

...Травы, растущие на скалах, разрушают их. Это происходит потому, что корни трав выделяют угольную кислоту, которая обладает способностью растворять некоторые породы камня.

...Травяные часы.

Цикорий открывает свои лепестки в 4—5 часов утра и закрывает в 14—15 часов. Шиповник открыт с 4 до 19; мак с 5 до 15; картофель с 6 до 15; лен с 6 до 17; белая кувшинка с 7 до 19; кислица с 9 до 17...

...Ежегодно растения земли связывают около 150 миллиардов углеводорода с 25 миллиардами тонн водорода и выделяют примерно 400 миллиардов тонн кислорода.

Для сравнения тебе: один современный самолет «Боинг», например, перелетая из Нового Света в Старый сжигает 48 тонн чистого кислорода. Привет!»

* * *

Нашли и вскрыли гробницу Тутанхамона. То попадались все разоренные, разграбленные захоронения египетских фараонов, и вдруг нашлась нетронутая гробница: все цело, все как сейчас положено.

Археолог Картер пишет, передавая свои первые впечатления от соприкосновения с древностью.

«Что, однако, среди этого ослепительного богатства произвело наибольшее впечатление, это хватающий за душу веночек полевых цветов, положенных в гроб молодой вдовой. Вся царская пышность, все царское великолепие побледнели перед поблекшим пучком цветов, которые еще сохранили следы своих давних свежих красок. С неотразимой силой они напомнили нам, каким мимолетным мгновением являются тысячелетия» [1].

В книге «Жизнь и творчество Тютчева» К. Пигарев утверждает:

«То, что Тютчев, по собственному признанию, начал впервые чувствовать и мыслить среди русских полей и лесов, имело, несомненно, очень большое значение для его будущего развития как поэта. В частности, когда над землей сгущались сумерки, он любил бродить по молодому лесу вблизи сельского кладбища и собирать душистые ноч-

---

[1] Выписано из книги Зенона Косидовского «Когда солнце было богом».

ные фиалки. В тишине и мраке наступающей ночи их благоухание наполняло его душу «невыразимым чувством таинственности» и погружало в состояние «благоговейной сосредоточенности». В этих прогулках зарождалось то обостренное, проникнутое романтикой восприятие природы, которое станет со временем отличительной особенностью тютчевской лирики».

Итак, букетик полевых цветов потряс ученого археолога больше, чем вся ослепительная, золотая, царская роскошь.

Ночная фиалка наполнила душу поэта (вспомним также, что у Блока есть поэма «Ночная фиалка») невыразимым чувством таинственности и погрузила ее в состояние благоговейной сосредоточенности. От нее зародилось обостренное, проникнутое романтикой восприятие природы, которое сделалось отличительной чертой лирики одного из великих русских поэтов. И все это наделал скромный лесной цветок, называемый в обиходе ночной фиалкой, а более научно — любкой двулистной. В народе же в разных местах ее еще называют любка, ночница, люби меня не покинь...

Она относится к орхидеям, очень интересным цветам. Говорят, если разглядывать каждый цветок в отдельности, можно увидеть много интересного. Метерлинк посвящает орхидеям целую главу в своих несравненных записках «Разум цветов».

«У орхидей мы найдем самые совершенные и гармонические проявления разума цветов. В этих измученных и странных цветах гений растения достигает своих высших точек и пробивает необычным пламенем стенку, разделяющую царства».

Конечно, чем пристальнее и кропотливее исследование, тем больше удивительного обнаружишь. Хотя тот же Метерлинк, вероятно, прав, говоря, что тут, как и во всех вещах, истинное великое чудо начинается там, где останавливается наш взгляд. Может быть, осознавая это, Пришвин прямо и говорит:

«Разве я не понимаю незабудку: ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с незабудкой, а спроси — сколько в ней лепестков, не скажу. Неужели же вы меня пошлете изучать незабудку?»

В основе каждой гармонии лежит алгебра, но разве любуясь прекрасной женщиной, мы вспоминаем об анатомии и стремимся увидеть за ее чертами и линиями чертежно-конструкторскую графику скелета, а за синим туманом взгляда черное зияние пустых костяных глазниц?

В цветке, как ни в каком другом произведении природы, сосредоточен колоссальный обобщающий момент, поэтому он воздействует на нас непосредственно, прямо, минуя анализирующую инстанцию и обращаясь к тому самому, что является нашей подлинной сутью.

Цветок воспринимается нами, как и прекрасное стихотворение, когда мы постигаем одновременно и смысл и музыку и второй смысл и поэтический заряд и не считаем про себя чередование ударных и безударных слогов.

Археолог Картер даже не назвал нам, что за цветы были в гробнице Тутанхамона, тем более он не считал на них лепестки. Они пронзили его сразу наповал, для того чтобы затмить блеск и силу золота, притом не в слитках, а в древнеегипетских изделиях, отличающихся, как известно, изяществом и высокой художественностью, для этого нужно обладать — согласитесь — огромной силой воздействия на нашу психику, на нашу душу.

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я,
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Где цвел? Когда? Какой весной?
И долго ль цвел? И сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?
И жив ли тот, и та жива ли?
И ныне где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

Зададимся вопросом: какой еще предмет можно было бы положить в книгу на память нежного свидания или разлуки роковой? И какой предмет, найденный поэтом в книге, мог так же вдохновить и подвигнуть его на написание стихотворения, украшающего теперь нашу отечественную лирику? Красивая ленточка? Сторублевая бумажка? Прядь волос, наконец? Дешево, смешно или пошло.

Сколько бы мы не искали, окажется, что в данном случае цветка нельзя заменить ничем!

Есть в русской поэзии так же и «Ветка Палестины». И опять, ища и перебирая разные вещи, мы очень скоро убедимся, что никакой предмет, принесенный из святых мест, из Иерусалима, не остановил бы поэтический взор гениального юноши, не всколыхнул бы его души, не высек бы стихотворной искры, как это сделала простая древесная ветвь.

Неужели под беседой, под взаимным разговором, а тем более под взаимным влиянием можно понимать исключительно только разговорную речь. Как будто нет безмолвного разговора глаз. Как будто животное (даже котенок) не умеет внушить нам, чтобы его обогрели и накормили? Что ж удивительного, что и цветок может передать нам нечто и даже наполнить нашу душу, по признанию Тютчева, «невыразимым чувством таинственности». Притом, надо заметить, что именно это чувство мог внушить именно этот, а не другой цветок. Придеремся к слову и возьмем это самое «невыразимое чувство таинственности».

Может ли такое чувство внушить ромашка? Василек? Колокольчик? Лютик? Полевая гвоздичка? Кошачья лапка? Одуванчик?

Каждый цветок внушит нам какое-нибудь свое, другое чувство: навеет задумчивость, разбудит мечту, создаст ощущение душевной легкости, светлости, чистоты... «Невыразимым же чувством таинственности» могла наполнить душу только ночная фиалка, любка, ночница, цветок, на котором как будто, действительно, лежит печать волшебства.

Дело не в тютчевском антураже: близко сельское кладбище, собирал и упивался ароматом в лунные ночи. Дело в самом цветке. И не пришло ведь в голову ходить в лунные ночи за иван-чаем, за зверобоем, за тмином...

В любом травнике можно найти подробное описание ночной фиалки. Например, так: «Семейство орхидные. Многолетнее травянистое растение с двумя продолговатыми овальными корнеклубнями: старым — крупным и дряблым и молодым — меньшего размера, сочным. Стебли прямостоячие, ребристые, при основании с буроватыми влагалищами, с двумя продолговатыми эллиптическими, суженными к основаниям, листьями. Цветы мелкие, белые, неправильные, сильно душистые, с длинными изогнутыми шпорцами. Цветки усиливают аромат к вечеру и в ночное

время. Высота 20—60 сантиметров. Время цветения июнь — июль. Местообитание: растет в смешанных и широколиственных лесах на лесных полянах и опушках, а также среди зарослей кустарников и на сыроватых лесных лугах. Химический состав: корнеклубни содержат слизь (до 50 процентов), крахмал (до 27 процентов), сахар (1 процент), белки (до 5 процентов) и минеральные соли».

Не правда ли, исчерпывающая характеристика. Скажем так: Анна Петровна Керн. Рост 170 (все цифры условны), объем груди 90, объем талии — 60, объем бедер — 100, зубов — 32. Нос прямой, глаза серые...

Но было же что-то и такое, что заставляло волноваться мужчин от одного только ее присутствия, хотя бы рядом сидели другие, не менее красивые женщины и у каждой из них было по тридцать два зуба.

Одновременно пишется светлое и целомудренное «Я помню чудное мгновенье», и одновременно говорится про нее в частном письме — «вавилонская блудница».

Сказано это, по-моему, в сердцах и прежде всего на самого себя за невозможность противиться той таинственной и сладкой силе, которую излучала эта женщина, вероятно, помимо своей воли. Такова уж она была.

Пришвин пишет: «На мое чутье у нашей ночной красавицы порочный запах, особенно под конец, когда исчезнут все признаки весны и начинается лето. Она как будто и сама знает за собой грех и стыдится пахнуть собой при солнечном свете. Но я не раз замечал: когда ночная красавица потеряет первую свежесть, белый цвет ее потускнеет, становится чуть-чуть желтоватым, то на этих последних днях своей красоты она теряет свой стыд и пахнет даже на солнце. Тогда можно сказать, что весна этого года совсем прошла и такой как была, никогда не вернется».

В другом, то ли более раннем, то ли просто предварительном варианте сказано у Пришвина еще резче: «...на мое чутье обыкновенная наша лесная ночная красавица скрывает в себе животную сущность...» (!) (Сравните с Метерлинком: «В этих измученных и странных цветах (орхидеях, к которым и относится любка.— *В. С.*) гений растения достигает своих высших точек и пробивает необычным пламенем стенку разделяющую царства».)

Добавьте к этому, что в старинные времена, во времена суеверий и знахарства, наивных представлений и детской

непосредственности восприятия природы, именно эти цветы считались приворотным зельем и «...молодежь пользовалась ими для любовных чар (М. А. и М. Носаль «Лекарственные растения и способы их применения в народе»).

Но лучше всего идите в начале лета на лесную поляну. В обрамлении светлых берез и темных елей вы увидите траву и цветы. Теперь самое место и время было бы сказать, как и говорилось не один раз во многих книгах, что вы увидите «ковер из цветов», «озеро цветов», «цветочный прибой», «кипение цветов», «пир цветов», «роскошное убранство», «буйное июньское разноцветье», «огромный букет», «царство красок и ароматов»... Но все равно, что бы мы теперь ни сказали, все будет приблизительно и бледно, поэтому лучше сказать как и есть на самом деле: вы увидите траву и цветы, а еще точнее — цветущие травы.

Некрасивых цветов на свете нет. И если, слившись в целую лесную поляну, они ласкают наш взгляд пестротой и свежестью сочных и ярких красок, то при разглядывании каждого цветка вы будете поражены сверхточной, идеальной формой каждого венчика, каждого лепестка и каждой жилки на лепестке.

Вы пойдете по цветам, потому что по ним оказывается можно так запросто идти, можно мять и даже срывать, и будете уходить все дальше по золотому, розовому, лиловому, синему, голубому, белому, затененному, залитому солнцем, жужжащему пчелами и шмелями.

Невозможно идти и отделять цветок от цветка. Они сольются для вас в общую картину, в поляну, в опушку, во многие плывущие перед вашими глазами лесные поляны. И вдруг вы остановитесь, потому что вас остановит перед собой этот лесной цветок. Я не знаю, зачем ему это надо, но он действительно остановит вас.

Сейчас, конечно, стираются грани, но этот цветок выделяется, как если бы на прежнем деревенском гулянье, нарядном и разноцветном, появилась заезжая гостья в длинном белом платье и в белых перчатках почти до плеч.

Как если бы в табуне крестьянских лошадей появилась белоснежная арабская кобылица, как если бы тонкая фарфоровая чашка среди фаянсовой и глиняной посуды... Так возникнет перед вами ночная фиалка среди остальных лесных цветов.

При всем том, вовсе нельзя сказать, например, про незабудку, что она простушка, про ромашку, что она деревенщина, про колокольчик, что он наивен. Все другие цветы исполнены своего благородства. Недаром кто-то из немецких, кажется, ботаников, воскликнул про тысячелистник, совсем не бросающийся в глаза: «Достаточно вам увидеть этот цветок, как вы поймете, что находитесь в хорошем обществе».

Но есть в ночной фиалке какой-то оттенок, нечто такое, что сразу выделяет ее из остальных цветов. Не хотелось бы соглашаться с Мих. Мих. Пришвиным, что это «нечто» оттенок порочности. Правда, что оттенок порочности выделяет и притягивает. Но ведь может и оттолкнуть. Нет, просто этот цветок «из другого общества».

Не мудрено было бы выделиться таким образом из всей лесной поляны нарциссу, тюльпану, гиацинту, ирису, другому садовому чуду, выведенному путем столетнего отбора и скрещивания. Условия равны. Речь идет о столь же диком, о столь же лесном цветке, как и все окружающие его соседи и соседки.

Вот повод посудачить соседкам, когда разольет любка в полночь свой аромат и когда начнут слетаться к ней ночные бабочки: «потайная она, эта любка. При луне с ночными бабочками свадьбу свою справляет. То ли дело мы, остальные цветы. Мы любим, чтобы пчелы. Чтобы пчелы и солнышко».

Неправ и еще раз неправ даже такой тонкий наблюдатель, как Пришвин. Не отцветая пахнет любка сильнее всего, а в первые минуты цветения, когда в ночной темноте раскроет она каждый из своих фарфорово-белых цветочков (зеленоватых в лунном луче) и в неподвижном, облагороженном росой, лесном воздухе, возникает аромат особенный, какой-то нездешний, несвойственный нашим лесным полянам.

Ну, ландыш еще. Но ландыш пахнет, если его поднести к лицу, к носу и нарочно понюхать. Этот же непривычный аромат заструится из лунного света в лунную тень, наполнит поляну, утечет за мохнатую ель, просочится через орешник, поднимется в воздух, где то вспыхивают, то погасают, перелетая из света в тень, беленькие но теперь тоже зеленоватые ночные бабочки.

Дай вам бог, каждому, кто читает эти строки, увидеть хоть раз в жизни, как расцветает в безмолвном и непод-

вижном лунном свете ночная фиалка, ночная красавица, ночница, любка, люби меня не покинь...

Вы скажете, что видели эти цветы у торговок возле входа в метро, связанными в большие пучки, по цене двугривенный за пучок. И ставили даже в воду. И они стояли у вас, пока не пожелтели (а стебли успеют к этому времени в воде осклизнуть).

Тогда и я вам скажу, что видел сказочных морских рыб, ярких как цветы — лежало полтонны в цинковом ящике на рыбзаводе.

Видел я и тропических бабочек, приколотыми к картону, видел и тропических зверей в зоопарке в клетках. Но признаюсь, что не видел ярких морских рыб, плавающих среди кораллов и водорослей, не видел тропических бабочек, летающих над тропическими цветами, не видел леопарда, притаившегося на древесном суку, а тем более в прыжке с этого дерева, не видел я и тигра, промелькнувшего в уссурийских папоротниках и рыкнувшего на меня, прежде чем исчезнуть в таежных зарослях.

Не говорите же и вы, выбрасывая раскисший в застарелой воде пучок травянистого вещества, что имели счастье видеть любку двулистую, ночную фиалку и что вдыхали ее аромат.

Между прочим, ее родственнички, в такой близкой степени родства, как если бы двоюродные братья и сестры — все ятрышники: лиловый, шлемовидный, мужской, болотный, мясокрасный, дремник, кукушкины слезы и даже любка зеленоцветная, хотя и имеют точно так же спаренные клубеньки, то более овальные, то более круглые, хотя и обладают почти теми же разнообразными свойствами, все же почему-то не вышли в такие же люди, как ночная красавица. Чего-то не хватило им, не досталось какой-то толики. Здесь, как и во всяком искусстве, знаменитое «чуть-чуть» отделяет просто талантливое от гениального.

И получилось, словно в старой крестьянской семье: все дети остались при доме, при земле, а одна дочь учится в губернском городе в образцовой женской гимназии.

Или в старой мещанской семье: все дочери, кто за чиновника, кто за купца, а одна — княгиня.

Все похоже у бедных родственников: и цветы, и клубеньки, и образ жизни, и места обитания — близкие родственники, братья, сестры. Но аромат не тот, впечатле-

ние не то, очарование не то, какая-то внутренняя сущность не та. И вот особняком стоит наша ночная фиалка от всех ятрышников.

Между прочим, благодаря этому цветку, я обнаружил в себе черту, роднящую меня, как отдельного индивидуума, с целым человечеством, но тем не менее, отвратительную черту. Вот так было дело. Но сначала — оговорка и отступление.

Александра Михайловна Колоколова, врач, травница и замечательный во всех отношениях человек, однажды, несколько лет тому назад, постучалась в мою комнату, где я жил тогда в доме отдыха в Карачарове. Не успел я моргнуть, как эта на седьмом десятке женщина, оказалась передо мной на коленях. Впрочем, не успел я моргнуть второй раз, как она быстро встала с пола и начала говорить:

— Видели? Хотите встану на колени еще раз?

— Но, помилуйте, Александра Михайловна! Что с вами?

— Я слышала, вы собираетесь писать книгу про целебные травы.

— Это не совсем так. Про целебные травы, вернее, про целебные свойства трав, я писать не собираюсь и не могу. Я же не знахарь, не травник, не народный лекарь. Я просто хочу написать...

— А! Значит, и правда, хотите!

— Да что тут плохого?

Александра Михайловна сделала новый порыв опуститься на колени.

— Владимир Алексеевич, дорогой, прошу вас, не пишите про травы.

— Почему?!

— Я читала вашу книгу про грибы, знаю как вы пишете. Получается очень наглядно и убедительно. Не пишите. Хотите еще раз на колени встану? Вы не представляете, что будет. Все ринутся в леса, на луга, на поля. Истребят все, уничтожат цветы, траву, всякую зелень.

— Кажется, вы преувеличиваете силу убедительности моих книг. Грибы ведь никто не истребил.

— Грибы собирают испокон веков. Создалось равновесие. Потом остается грибница. Она в земле. За травами пока что охотятся только некоторые знатоки и любители. Многие травы приходится брать с корнями. И ежели хлы-

нет масса... поверьте мне, истребят зверобой, истребят кипрей, истребят подорожник, истребят каждую целебную траву...

Так вот, Александра Михайловна, я действительно не буду даже упоминать про целебные свойства трав, но вовсе не потому, что разделяю ваши опасения, но потому, что действительно не имею права. Я не доходил до этих свойств своим умом или опытом. Я только читал о них в травниках и других специальных книгах. Зачем же я буду теперь переписывать из чужих книг в свою сведения, вроде тех, что ромашкой хорошо мыть голову, подорожник надо прикладывать к нарывам и ранам, а спорыш замечательно пить от камней в почках?

Просто у меня, за полвека почти, накопились некоторые личные отношения, некоторые чувства к тому или другому цветку, а выражать чувства — моя основная профессия.

Вся эта оговорка понадобилась мне для того, чтобы не распространяться здесь, зачем мне однажды понадобилось добыть некоторое количество клубеньков ночной фиалки, которые, как мне говорили, если сорвать их в определенное время и в определенных условиях и соответствующим образом обработать...

Но стоп! Иначе, зачем же было делать пространную оговорку.

Так всегда у человека и получается: сперва красота, очарование, сказка, поэзия, душевный трепет, созерцание и любование, а потом вдруг — корысть. И уж, если появилась и заговорила корысть, то ни красота природы, ни разум, ни даже чувство самосохранения не властны остановить и заглушить ее.

Как раз перед этим я читал книгу француза Дорста «До того, как умрет природа». Да и вообще, если попадается на глаза газетная, журнальная статья, просто заметочка, всегда обратишь внимание, а то и вырежешь. В результате всей этой информации невольно перестанешь идеализировать человечество и с тревогой будешь следить, как плоскость, по которой мы скользим, становится с каждым днем все наклоннее и наклоннее.

Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство и сознательно портящих свой корабль, сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на длительный полет.

Земля — космическое тело,— и все мы не кто иные, как космонавты, совершающие очень длительный (но не бесконечный надо полагать) полет вокруг солнца, а вместе с солнцем и по вселенной.

Система жизнеобеспечения на нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно и мудро, что она самообновляется и таким образом обеспечивает благополучное путешествие миллиардов пассажиров.

Но вот постепенно, но последовательно мы эту систему жизнеобеспечения, с безответственностью, поистине изумляющей, выводим из строя.

Если на маленьком космическом корабле космонавт начнет развинчивать гайки и обрывать провода, это надо квалифицировать как самоубийство. Мы делаем то же самое, только результаты, по сравнению с маленьким кораблем, сказываются не так скоро.

Порча корабля и его системы жизнеобеспечения идет по нескольким, но надо сказать, основным, коренным направлениям:

1. Отравление и загрязнение пресных вод.
2. Порча мирового океана.
3. Порча земной атмосферы.
4. Истребление и порча зеленого покрова земли.
5. Истребление животных и птиц, вплоть до полного, безвозвратного истребления многих биологических видов.
6. Уничтожение верхнего, плодородного слоя земли, называемого почвой, который подвергается все большей эрозии.
7. Опустошение недр, последствия чего пока еще не ясны.

Если бы какие-нибудь вселенские диверсанты были посланы уничтожить все живое на земле и превратить ее в мертвый камень, если бы они тщательно разработали эту свою операцию, они не могли бы действовать более разумно и коварно, чем действуем мы, живущие на земле люди и не только не считающие себя диверсантами, но мнящие себя друзьями природы.

Где-нибудь в ЮНЕСКО есть, наверное, исчерпывающие цифры, характеризующие нашу деятельность по всем семи названным направлениям. У меня нет этих цифр, да и ни к чему они здесь, в заметках.

Говорят, что мы сбрасываем в мировой океан еже-

годно 10 000 000 тонн нефти. Говорят, Рейн несет в своих водах каждые сутки столько же ядовитых химических веществ, сколько могут перевезти 1000 железнодорожных составов. Говорят, одна только средней мощности электростанция, работающая на мазуте, выбрасывает в сутки в окружающий воздух 500 тонн серы, в виде серного ангидрида, который, соединяясь с любой водой, тотчас дает серную кислоту.

Цифры, если их собрать, потрясающи; картина, если ее нарисовать,— ужасна.

Остановиться уже нельзя. Но я сейчас думаю не о точке остановки, а о точке начала, о той пружине, которая дала первый толчок и подвинула человека на этот пагубный путь.

Лев, нападая на стадо антилоп, убивает только одну. Сытый лев пропускает мимо себя стадо антилоп, не пошевелив ухом. Ястреб не будет заниматься бесцельным истреблением птиц, например, перепелят. Он схватит одного и улетит, чтобы насытиться, утолить голод, утолить потребность в пище, запрограммированную в нем от века. Насекомоядная птица по своей прожорливости могла бы съесть сразу всех, ну, каких-нибудь там личинок, однако ее возможности ограничены самой природой.

Но вот я разглядываю картинки в книге Дорста «До того, как умрет природа». Люди расстреливают стадо бизонов с поезда. Тысячи туш остаются лежать и гнить в степи, потому что людям нужны были только шкуры. Врезавшись в одуревшее стадо бизонов на летящем поезде, люди стреляют, пока есть патроны, либо пока есть бизоны.

Лежбище котиков. Люди ходят между беззащитными зверями и палками избивают их. Избиение продолжается до тех пор, пока есть силы или есть котики. Как можно больше убить, как можно больше схватить.

Истреблена морская корова, истреблена птица гага, истреблены — фактически — зубры, если не считать нескольких штук в Беловежской пуще. Под угрозой истребления киты, слоны, страусы, крокодилы, носороги, многие виды животных и птиц.

Бей, пока есть патроны, бей, пока видишь, бей, пока шевелится, бей, если можно убить и... положить в карман гладкий холодный кружочек золота.

Да, как ни печально это осознавать, но первым толчком, подвигнувшим человека на путь так называемого

технического прогресса была неутолимая, ненасытная жадность.

Можно оскорбиться и обидеться в этом месте, но перешагните уязвленное самолюбие, посмотрите внимательно на действия человека в разные эпохи и в разных условиях, проанализируйте его действия от охотника за жемчугом до Александра Македонского, от золотоискателя на Аляске до Наполеона, от собирателя грибов до собирателя миллионов, и вы увидите, что именно жадность была основным двигателем человеческой истории.

Покажите мне охотника, который, имея возможность убить двух уток, убивает только одну, или человека, который имел возможность взять три рубля, берет только один.

Есть, правда, попадаются и вовсе не охотники. Бывает даже, отдают другим людям последний рубль. Но таких людей мало, и не они, к сожалению, двигают наш прогресс. Они только помогают нам оставаться людьми, когда это трудно и почти невозможно.

На такие, примерно, размышления навело меня чтение книги Дорста «До того, как умрет природа».

И вот мне понадобилось некоторое количество клубеньков любки двулистой, ночной фиалки. Я надеялся, что они окажут благотворное действие на здоровье одного близкого мне человека.

Все лесные поляны, где можно встретить этот цветок, я знал. Иной раз во время предвечерней прогулки сделаешь большого крюку, чтобы в холодеющем уже воздухе наклониться над белой башенкой цветка и вдохнуть аромат. Иногда я срывал их несколько штук и дома ставил в воду.

Тем не менее задача моя оказалась не из легких. Дело в том, что клубеньки надо добывать только осенью, когда цветов уже нет и растение не выделяется среди других трав, не бросается в глаза издалека, за пятнадцать — двадцать шагов. Я думаю, если ползать по лесу на коленях, и то едва ли обнаружишь те два глянцевитых листочка, льнущих к земле, благодаря которым любка и называется двулистой.

Воображение во время охоты всегда работает на охотника. Идешь по грибы и заранее рисуешь себе, как под темной елью стоят шоколадные белые грибы. Или видишь как наяву оранжевые блюдца рыжиков в зеленой траве.

Говорят, такое охотницкое воображение помогает охотникам обнаружить тетерева, затаившегося в древесной кроне, зайца, слившегося со снежной белизной, любую дичь, тот же боровик под еловой тенью.

Но часто в жизни все оказывается не так, как рисовало воображение. Заглядываешь под еловые лапы, а там темная пустота. Кажется, не может не быть под такой классической елью бе́лого гриба, а его нет и нет. Найдешь его потом под какой-нибудь елочкой-замухрышкой.

Так и теперь, собираясь на эту необыкновенную для меня охоту, я воображал, что как только приду на нужную поляну, так и увижу знакомые (разглядывал летом) листочки, под которыми в земле таятся два загадочных клубенька, никогда в жизни мною не виданных. Но уже сама сентябрьская поляна не походила на ту, которую я запомнил с июня месяца. Все цвело и блистало здесь тогда. Ничего не стоило нарвать красивый букет. В который раз соблазнишься и колокольчиками, подивившись, как можно было оперировать и распорядиться, строя цветок, столь тонким и нежным лиловым материалом. Соблазнишься напрасно, как известно, потому, что пока несешь до дома, колокольчики сникнут, словно детские воздушные шарики, из которых утекает воздух. Ничего, долго будут стоять в кувшине другие цветы. Не заказано и на другой день прийти на ту же поляну и вновь увидеть ее все в том же летнем цвету.

Никаких цветов я не увидел теперь на сентябрьской поляне. Не сочный травостой по колена, а приземистая густая щетка травы, с торчащими там и сям сохлыми стеблями бывших цветов, не непременное, перегретое солнцем гуденье пчел и шмелей, а сероватая тишина нахмурившегося денька. Уже и листья кое-где поддались желтизне, и одна березка, уступившая, сдавшаяся раньше других (может, сорт, а может, какая-нибудь березовая болезнь), напорошила на поляну желтых листочков.

Быстрыми шагами начал я ходить по поляне, надеясь тотчас и обнаружить предмет охоты. Но перепутавшаяся трава казалась однообразной. Я был слеп, как слеп непросвещенный человек, глядящий на небо, усыпанное звездами. От горизонта до горизонта — одинаковое небо и одинаковые светлые точечки. Ну мигают, некоторые поярче, покрупнее, а в целом — хаос. Рассыпаны звезды, как го-

рох, без всякого порядка. Много-много, что увидит на небе непросвещенный человек, так это ковшик Большой Медведицы, так и я сразу отличил, конечно, на лесной поляне крапиву, выросшую на куче истлевшего хвороста.

Но мне нужна была теперь не Большая Медведица, даже не какой-нибудь там Телец. Мне нужна была Вега — благородная и таинственная звезда!

Долго я бродил по поляне и даже чуть не ползал по ней, а два знакомых листа не давались мне.

Я уж делал и так. Отойду на край поляны, окину ее взглядом и стараюсь вспомнить, где поднимались летом на высоких стеблях белые цветы. Скорее иду в то место, разглядываю, шарю, перебираю траву руками, ничего похожего нет.

Исходил середину поляны, обшарил края, постепенно стал удаляться в глубину леса, где густая тень, где реже трава, где больше под ногами черной земли.

Иногда попадались (еще и на поляне) парные листья, как будто похожие на те, что я ищу. У меня не было никаких копательных орудий, кроме ножа, правда, острого, крепкого. Всадив его в землю, я вырезал вокруг находки землю по окружности, подковыривая, и земля вынималась бочоночком величиной с обыкновенный стакан. Я разминал землю, обнажал корешки и не находил ничего, кроме мочки густых мелких корешков или одного стержневого корешка, похожего на тщедушную петрушку или, если хотите, на мышиный хвостик.

Да и бывают ли эти клубеньки? Не сказка ли, не фантазия ли они? Впору было отчаяться и идти домой с пустыми руками.

Но сказалась старая школа рыболова-поплавочника, способного целый день просидеть над неподвижным кусочком пробки, плавающим на воде около кувшиного листа. Знал я, как рыболов-поплавочник, и то, что терпенье всегда вознаграждается.

В стороне от поляны, в тенистом лесу, искать стало легче. Не было травяной путаницы. Травинка от травинки растут отдельно и отдаленно. Может быть, эти два листка? Может, эти? А вот эти я уже проверял.

Мне приходилось писать в другом месте, что валуй, например, можно издалека принять за белый гриб, обмануться, но что, когда увидишь настоящий белый гриб, его с валуем ни на каком расстоянии не спутаешь. Веет от

него исключительностью, подлинностью, благородством. Так получилось и теперь. Как я мог сомневаться? Как я мог какие-то шершавые, матовые, покрытые ворсинками, изборожденные прожилками листья принимать за листья ночной фиалки?

Вот они, мои два листа. От одной точки на черной земле они растут в строго противоположные стороны. Около самой точки они совсем узкие. Затем становятся все шире и в широком дальнем конце плавно округлены. Если бы перевернуть лист узкой частью кверху, он напомнил бы продолговатую каплю. Но я смотрел на листья сверху, и мне они напоминали крылья огромной зеленой бабочки, которая, может, и улетела бы, если б не корешки, вросшие в землю.

Чистотой зеленого тона, глянцевитостью и четкостью формы, листья произвели на меня какое-то нездешнее, залетное впечатление. Правда, надо было еще убедиться, что я нашел именно то, что искал. Я все еще разглядывал листья , а клубеньки оставались в земле.

Встав для удобства на колени (вот где понадобилось бы перекреститься, если бы на моем месте был настоящий знахарь — дед), я вонзил нож в землю в пяти сантиметрах от растения, и мне показалось, что листья вздрогнули. Осторожно стал я обрезать землю по окружности. Под ножом перерезались и трещали мелкие корешки, и лопнул с натуги чей-то толстый корень, вероятно, протянувшийся от молоденького деревца, которые росли тут во множестве. Этот корень я перерезал с большим трудом. Подковырнув ножом и вынув земляной бочоночек, я поставил его рядом с черной зияющей раной, которую я только что своими руками нанес земле.

Тут надо правильно понять мои ощущения.

Копаем землю заступами под гряды, копаем ямы и врываем в землю столбы. Роем карьеры, котлованы, шахты, открытые рудники, поднимаем взрывами тысячи, миллионы тонн земли, сокрушаем скалы, срываем горы. А тут всего-то ковырнул ножом, и вот уж называется это — зияющей раной! Смешно! Тем не менее ощущение мое было точным. Я знал, что вместе с комком земли изъял из земли живые клубеньки, из которых на будущий год выросла бы ночная фиалка.

Отойдя на несколько шагов, я решил запечатлеть микропейзаж. Небольшая тенистая елочка. В метр высотой.

Поодаль от нее толстый зеленый ствол осины. Сама осина где-то там, наверху, и нам теперь неважна. Между елочкой и осиновым стволом вторглась в наш микроинтерьер и распростерлась, вроде опахала, ореховая лоза. Под нейто, как под крышей, и расцвела бы на будущий год в зеленоватой тени белая ночная фиалка. Теперь уже не расцветет. Никогда. Я ее не просто сорвал, но искоренил.

Осторожно, ощупывая пальцами каждый комочек, каждый тоненький корешок (но это все были еще не ее корешки), я стал разминать и дробить землю. Вдруг мои пальцы нащупали твердые гладкие и прохладные округлости, и мне показалось, что я кощунственно прикоснулся к чему-то тайному, запретному, интимному. Земля вся обсыпалась наконец, и сахарно-белые, похожие на женские груди клубеньки обнажились.

Действительно, один из них был сероватый и дряблый. Как будто кожица сделалась ему велика. Другой был ядреный, крепкий и сочный.

Вниз от каждого клубенька тянулся тонкий хвостик — корешок, а от свежего клубня нацеливался вверх тупоконический росток. Именно ему надлежало весной пробить крышу темницы, выгнать высокий прямой стебель, на котором и расцвели бы цветы. Уж с осени он приготовился к выполнению своей задачи.

Я держал на ладони белый клубенек, который благодаря коническому ростку, напоминающему колпачок, и тонкому корешку удивительно походил теперь на гномика. Я держал его на ладони и еще раз дивился великому чуду. Где-то хранились в нем (в семечке есть хоть зародыш) будущие ночные фиалки с их очарованием, ароматом, семенами. Тянулась от этого клубенька цепочка фиалочьих поколений назад на миллион веков и цепочка фиалочьих поколений вперед на миллионы миллионы веков.

Правда, для этого именно экземпляра я прервал, перерезал ножом миллионолетнюю цепочку, уничтожив одним движением ножа результаты миллионолетних усилий природы.

Остались на земле другие экземпляры ночной фиалки. Конечно. Но принципиально от этого ничего не меняется. Кто-то убил последний экземпляр морской коровы, последний экземпляр гаги. Кто-то убьет последний экземпляр кита и лебедя. Мало ли что другие экземпляры. Но ведь именно от этого тянулись назад и вперед цепочки поко-

лений. А теперь осталась только одна цепочка — назад. Нитка перерезана, и перерезана она мной.

«Ну ладно, природа не пострадает»,— сказал я себе, кладя клубенек в карман.

Вскоре мне попались две разновидности ятрышника, и я их тоже вырезал из земли. У одного из них были округлые клубеньки, за которые ему дали в народе не совсем приличное прозвище. У другого ятрышника клубни напоминали двух нагих, обнимающихся людей.

Все это было интересно и удивительно, но любка двулистая мне больше не попадалась.

Незаметно из старого смешанного леса я перешел в мелкие частые сосенки. Было тут что-то вроде просеки, узкого длинного ложка. На этом ложке я снова увидел любку. Наклонившись к ней, увидел еще, потом еще, потом сразу пять, потом больше. На коленях я стал переползать от одной любки к другой, нож вонзался, подковыривал, земля осыпалась, клубеньки обнажались, один из них отбрасывался, другой клался в карман.

Мой охотничий азарт усугубился, видимо, тем, что долгие поиски были бесплодными и я даже терял надежду. Рука стала болеть, затекать, я намял мозоль, но был как в чаду. Каждая новая пара листьев казалась мне крупнее предыдущей (а значит, и клубеньки будут крупнее), и я полз на коленях дальше и снова вонзал свой нож, резал, рвал, разминал землю, оголял клубенек, клал в карман.

Ни о чем я теперь не думал, и неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта варфоломеева ночь, но вдруг у меня сломался нож. Переломился около рукоятки. Я с сожалением повертел его в руке, отбросил в сторону, распрямился и оглянулся назад. То, что я увидел, поразило меня, как громом. Исковерканная, истерзанная полоса земли тянулась за мной. Было похоже, что тут рылась свинья. Еще час назад на поляну приятно было смотреть. Она радовала глаз ровной зеленью, чистотой. Я увидел ее и в будущем июне, какой она была бы вся в цветущих фиалках и какой будет теперь, когда я ее за один час совершенно обесцветил.

Бизоны, расстреливаемые с идущего поезда, котики, избиваемые палками, пока не онемеет рука, линючие дикие гуси, загоняемые в загоны и избиваемые палками же, огромные кедры, срубаемые ради кедровых шишек, рыбы, черпаемые из рек и морей миллионами тонн... Все, все при-

помнилось мне на обезображенной мной лесной поляне. Тогда я окончательно понял, что я человек и ничего человеческое мне не чуждо.

А то, что мне снятся до сих пор то белые крепенькие клубеньки, то цветущие под луной ночные фиалки, это мое уж личное дело. Может быть, избивателям котиков тоже снятся потом их симпатичные недоуменные мордочки, а также их, с набежавшей слезой ничего не понимающие глаза, в которых наивная доверчивость граничит со смертельным ужасом.

* * *

Оказавшись в гостях, я осматривал дачу и дачный участок. Тут были только цветы. Никакой там клубники, ранней редиски или салата. Одни цветы. Нарциссы, пионы, астры, ирисы, георгины, флоксы, примулы, тюльпаны, розы. Одни уже цвели, другие набирали бутоны, третьи ждали своего позднего осеннего часа.

Под конец нашей цветочной экскурсии, меня привели в помещение, называемое теплицей. Нечто вроде сарайчика. Глядя снаружи, можно было подумать, что там хранятся разные садовые инструменты, кое-какие строительные материалы (мешок цемента, ящик со стеклом, столбик кирпичей, немного тесу, да еще в углу ворох стекловаты...), на самом же деле ничего подобного в сарайчике не было. Прежде всего это оказался не летний продувной сарайчик, а теплое, душноватое даже, помещение. Посредине, занимая все пространство, возвышалась, как если бы биллиардный стол, земля. Кругом опоясывала эту своеобразную гряду, это своеобразное поле узкая траншея, по которой можно было ходить вокруг гряды и смотреть на нее со всех сторон. Теперь смотреть было не на что, в теплице ничего не росло.

— Четырнадцать квадратных метров,— пояснил хозяин.— Искусственный климат. Урожай по желанию — в любое время года. Но я приурочиваю к первому января.

— Огурцы или помидоры? Оно конечно, к новогоднему столу свежий огурчик — цены нет. То же и помидор...

— Ну, что вы! Огурцы — это грубо и дешево.

— Так, вероятно, клубника? Она и земляника — почти одно и то же. А известно, что «земляника в январе» стала поговоркой, эталоном, символом роскоши. Но, впрочем,

я не согласен. Тут какая-то искусственность и ошибка. Видимо, у нашего организма, как и в природе, существует «сезонность». Согласитесь, что свежий огурец для нас дороже всего весной и в начале лета. В августе хорошо бы — малосольный. Точно так же и земляника. Да в январе ее вовсе не хочется! В январе я предпочту горсти свежей землянике ложку земляничного варенья с хорошо заваренным чаем.

— Вот поэтому я ее и не выращиваю в этой теплице,— засмеялся хозяин, терпеливо выслушав мои рассуждения о сезонности наших вкусов.

— Тогда о каком новогоднем урожае вы говорите?

— Цветы. Тюльпаны. Вот о каком урожае. По два, по три рубля за цветок. Эти четырнадцать метров приносят мне пять тысяч рублей дохода.

Я вспомнил, что и правда, зимой бывают такие цены на тюльпаны. В самый новогодний вечер я видел однажды, как в дальнем углу большого шумного магазина у женщины, не успевающей опасливо стрелять глазами по сторонам, считать деньги и отдавать цветы, расхватывали огненные гвоздики по четыре рубля за штуку.

Но и в обычное время, и в самые будние дни Москва поглощает огромное количество цветов, и цены на них всегда высокие.

Во Владимире на базаре, в очереди за телятиной, впереди меня стояла молоденькая девушка с тремя гладиолусами в руках. Женщины спрашивали у нее — почем купила. «За три рубля»,— отвечала девушка. Никто из простых владимирских женщин, стоящих за телятиной, не удивлялся, что такая может быть цена на гладиолусы. Скорее, они сокрушались о ценах на телятину, за которой стояли.

Итак, три рубля за цветок. При каких обстоятельствах мы могли бы платить три рубля за одну картофелину, за одно яблоко, за один апельсин, в конце концов. Очевидно, что при условии острой нехватки и даже голода. Авитаминозы, дистрофия, пухнут детишки, война, блокада. Тогда, конечно, отдашь и три рубля за одну картофелину, отдашь и больше. В нормальной же обстановке не всякий, я думаю, человек (из нормально работающих и зарабатывающих) купит для себя один апельсин за три рубля. Слава богу, таких цен на апельсины нет. Сообразуясь с потребностью, цены установлены: на апельсины — 1 рубль

40 копеек, а на картошку — гривенник за килограмм.

Но отчего же москвичи платят по рублю, по два и по три за один цветок? Отчего вообще люди платят за цветы деньги? Наверно, оттого, что существует потребность в красоте. Если же вспомнить цены, о которых сейчас говорилось, то придется сделать вывод, что у людей теперь голод на красоту и голод на общенье с живой природой, приобщения к ней, связи с ней, хотя бы мимолетной, в чем-то искусственной в своей городской квартире.

Тем более что в цветах мы имеем дело не с какой-нибудь псевдокрасотой, а с идеалом и образцом. Тут не может быть никакого обмана, никакого риска. Хрустальная ваза, фарфоровая чашка, бронзовый подсвечник, эстамп, акварель, вышивка, кружево, ювелирное изделие... Тут все зависит от мастерства и от вкуса. Вещь может быть дорогой, но не красивой, безвкусной. Надо и самому, покупая, обладать, если не отточенным вкусом и чувством прекрасного, подлинного, то хотя бы понятием, чтобы не купить вместо вещи, исполненной благородства, вещь аляповатую, помпезную, пошлую, лишь с претензией на благородство и подлинность. Или попадется подделка под другую эпоху, подделка под великого мастера, подделка под красоту. Человек на это способен.

Но природа жульничать не умеет. Согласимся, что цветочек кислицы — не тюльпан. С одним тюльпаном можно прийти в дом, а с одним цветочком кислицы — скудновато. Но это лишь наша человеческая условность. Приглядимся к нему, к цветочку, величиной с ноготок мизинца, и мы увидим, что он такое же совершенство, как и огромная, по сравнению с ним, тяжелая чаша тюльпана, а может быть, даже изящнее ее... Что касается подлинности, то вопроса не существует. Но, конечно, лучше, когда красоту не надо разглядывать, напрягая зрение, а когда она сама бьет в глаза. Мимо цветочков кислицы можно пройти, не заметив их, а мимо тюльпана не пройдешь. Недаром, как известно, он был одно время предметом страстного увлечения цивилизованного человечества, чтобы не сказать — массового психоза. Начертим канву, хотя бы редкой пунктирной линией.

Первые сведения о тюльпане исходят из Персии. Известно также, что его любили турки и что разведение тюльпанов было одним из любимых (может быть, поневоле) занятий прелестных обитателей турецких гаремов.

Тут тюльпанами любуются, тут в честь них устраиваются праздники, тут еще не подозревают, что, пробравшись сквозь стражу и сквозь узорные золоченые решетки, они, тюльпаны, словно пестрое войско, хлынут в Европу и завоюют ее. Впрочем, нашествие вовсе не походило на лавину, на вторжение чужеземного войска. Оно скорее подкралось, как болезнь, которая хотя и принесена извне, развивается изнутри.

Как все известно о начале великих событий и великих войн, точно также известно, что в Западную Европу тюльпаны попали в 1559 году. Германской посол при турецком дворе Бусбек, привез несколько луковиц на родину в Аугсбург. Уже в этом году у сенатора Гарварта расцвел первый цветок тюльпана. Вскоре он украшает роскошные сады средневековых богачей Феггеров. Отсюда он распространяется по Европе, подобно пожару, захватывая все новые народы и земли.

Вот им увлекаются в Германии маркграфы, графы, курфюрсты, придворные медики, богачи-любители, коронованные особы.

Вот среди любителей и ценителей тюльпанов мы находим уже Ришелье, Вольтера, маршала Бирона, австрийского императора Франца II и французского короля Людовика XVIII. И тут происходит еще одно примечательное событие: тюльпановый пожар перескакивает в Голландию. Вдруг эта страна уравновешенных, то, что называется, положительных, а пуще того, расчетливых людей, вспыхивает, как сухая солома. Правда, с расчета-то и началось. Заметив, что тюльпановые луковицы находят спрос и сбыт у немцев и других народов, голландцы решили воспользоваться, как теперь сказали бы, рыночной конъюнктурой, не подозревая, что сами вскоре падут ее жертвой. Сначала луковицы выращивали садоводы, но очень скоро этим стало заниматься все население страны. Торговцы всячески поддерживали и поощряли новое занятие. Луковицы стали скупать, перекупать, перепродавать. Образовалось нечто вроде биржи с ее биржевой игрой. В дело пошли уже не сами луковицы, но расписки на луковицы. Расписки, в свою очередь, перекупались и перепродавались, причем цены на них доходили до фантастических размеров. Одни люди разорялись, другие внезапно богатели, третьи расчетливо богатели. По стране гуляло 10 000 000 тюльпановых расписок.

Некоторые, не вчиняясь в рискованную игру, наживали деньги на более скромном товаре: на глиняных горшках для тюльпанов, на деревянных ящиках для выращивания. Ящиками пользовались те из голландцев, у которых не было садовой земли. На биржах собирались тысячи разных людей: миллионеры и рыбаки, купцы и швеи, бароны и ремесленники, высокосветские дамы и прислуги, старики и подростки... Шли в дело фамильные драгоценности и домашний скарб, шли под залог коровы и дома, земельные участки и рыболовные снасти. За одну знаменитую луковицу уплачено 13 000 гульденов, за другую знаменитую луковицу — 6 000 флоринов, за третью луковицу пошло 24 четверти пшеницы, 48 четвертей ржи, 4 жирных быка, 8 свиней, 12 овец, 2 бочки вина, 4 бочки пива, 2 бочки масла, 4 пуда сыра, связка платья и один серебряный кубок.

За выведение редкого сорта (размера и цвета) назначались огромные премии, а успех выведения превращался чуть ли не в национальное торжество. Сохранилось описание празднества по поводу выведения черного тюльпана. У Н. Ф. Золотницкого, в свою очередь переписавшего откуда-то описание этого празднества, читаем:

«15 мая 1673 года, рано утром в Гаарлеме собрались все гаарлемские общества садоводов, все садовники и почти все население города. Погода была великолепная. Солнце сияло, как в июле.

При торжественных звуках музыки шествие двинулось по направлению к площади Ратуши. Впереди всех шел президент гаарлемского общества садоводства М. Ван-Синтес, одетый весь в черно-фиолетовый бархат и шелк под цвет тюльпана, с громадным букетом; за ним двигались члены ученых обществ, магистраты города, высшие военные чины, дворянство и почетные граждане. Народ стоял по бокам шпалерами.

Среди кортежа на роскошных носилках, покрытых белым бархатом, с широким золотым позументом, четыре почетных члена садоводства несли виновника торжества — тюльпан, красовавшийся в великолепной вазе. За ним гордо выступал выведший это чудо садовод, а направо от него несли громадный замшевый кошель, вмещавший в себе назначенную за вывод этого тюльпана премию города — 100 000 гульденов золотом.

Дойдя до площади Ратуши, где была устроена гран-

диозная эстрада, вся убранная гирляндами цветов, тропическими растениями и хвалебными надписями, шествие остановилось.

Музыка заиграла торжественный гимн, и двенадцать молодых, одетых в белое гаарлемских девушек перенесли тюльпан на высокий постамент, поставленный рядом с троном штадтгальтера.

В то же время раздались громкие крики народа, возвещавшие о прибытии принца Оранского.

Взойдя в сопровождении блестящей свиты на эстраду, принц Оранский обратился к присутствующим с речью, в которой изобразил интерес, представляемый для садоводства получением тюльпана столь редкой и своеобразной окраски, как черная, и, провозгласив имя столь отличившегося садовода, вручил ему пергаментный свиток, на котором было начертано его имя, и его заслуга, и крупная сумма, подаренная ему городом.

Восторгам народа не было конца, и счастливца понесли в триумфе по улицам. Празднество закончилось грандиозным пиршеством, устроенным лауреатом своим друзьям и садоводам Гаарлема».

Согласитесь, что наш знакомый дачник, выращивающий тюльпаны на четырнадцати квадратных метрах и потом продающий их полутайком по два рубля за штуку, выглядит жалким кустарем-одиночкой по сравнению с размахом средних веков.

Можно рассказывать точно так же не о биржевой игре на тюльпанах и не об ажиотаже вокруг них, но об истинных любителях этого цветка.

Это средневековое любительство оставило множество трагических и комических случаев, курьезов, яркий след в искусстве, в том числе в поэзии и литературе вообще.

Но такое нашествие, такое передвижение цветов не похоже разве на всякое другое передвижение и нашествие, которым охватываются и захватываются все новые пространства, будь то нашествие орд и чужеземного войска, будь то нашествие чумы и холеры, будь то нашествие идей и мод.

Конечно, хотя и были жертвы во время завоевания Европы тюльпанами (многие разорились), все же не было при этом кровавых побоищ и пожаров, трупного смрада и вдовьих слез. Должны же чем-нибудь отличиться цветы от гуннов, татар и турецких янычаров!

Но помимо нашествий и, так сказать, цветочных эпидемий, помимо возведения время от времени в культ какого-нибудь одного цветка (лилия на гербе и на военных знаменах Бурбонов, война Белой и Алой Розы), цветы имеют над людьми незаметную, но постоянную власть. Потребность в них была велика во все времена. Более того, по отношению общества к цветам и, если позволительно будет так выразиться, по положению цветов в обществе, можно было бы во все времена судить о самом обществе и о его здоровье либо болезни, о его тонусе и характере.

Возьмите древних. Сначала все идет хорошо. Греки любят гирлянды из цветов, «плетение которых составляло не только особое ремесло, но даже доведено было до степени художества. Девушки и женщины, умевшие плести с особым искусством гирлянды из роз, делались знаменитостями: с них снимали портреты и делали мраморные бюсты, точно так же, как в наше время это делается относительно знаменитых артистов и поэтов».

«Первая вязальщица венков в древней Греции, красавица Глицерия из Сикиона, была увековечена знаменитым греческим живописцем Паузиасом, написавшим ее портрет. Впоследствии за одну лишь копию с этой картины Лукулл заплатил несколько тысяч».

Венком из роз украшается невеста. Розами убирается дверь, ведущая в ее дом, лепестками роз усыпается брачное ложе.

Розами усыпается путь возвращающегося с войны победителя и украшается его колесница. Ими же украшаются гробы умерших, урны с прахом и памятники, в особенности Афродиты.

В Риме роза сначала — эмблема храбрости. Она как бы орден, дающийся за проявленное геройство. Лежону, который первым ворвался в неприятельский город, разрешается во время триумфального шествия нести в руках розы. Но когда один из командиров позволил солдатам украсить себя розами после незначительной победы, то получил за это строжайший выговор.

Меняла, незаслуженно украсивший себя венком из роз, посажен в тюрьму по приказанию сената.

Итак, государство в расцвете и силе — во всем мера. Цветы, в частности, розы в большой цене, однако без каких-либо патологических отклонений. В дальнейшем нетрудно проследить, как с разложением государственной кре-

ности, с интуитивным ощущением надвигающегося конца, отношение к цветам принимает черты излишества и болезненности.

Уже Клеопатра принимала у себя Марка Антония, насыпав на пол пиршественного зала розовых лепестков слоем в один локоть.

На носилках проконсула Верреса лежали матрас и подушки, набитые розовыми лепестками.

У Нерона во время пиров сыпались с потолка миллионы розовых лепестков.

Розовыми лепестками усыпалась поверхность моря, когда патриции отправлялись на прогулку. Целое озеро было усыпано однажды лепестками роз.

На одном из императорских пиров столько лепестков насыпалось с потолка, что все гости задохнулись под ними.

Все улицы Рима были пропитаны запахом роз, так что непривычному человеку становилось дурно.

Разве это не своеобразный барометр, не своеобразная характеристика времени? Возьмите для сравнения Париж в начале этого века. Не даст ли нам его цветочная жизнь понятие о жизни, пульсе, тонусе этого богатого и блистательного, в чем-то, как говорится, капиталистического, в чем-то с демократическими традициями, города?

«Кто не был ранним утром на центральном цветочном рынке в Париже, тот не сможет себе и представить той суеты, той кипучей деятельности, какая царит там в это время.

Сотни фургонов, нагруженных снизу доверху цветами, съезжаются со всех окрестностей Парижа, сотни фургонов везут цветы с вокзалов железных дорог, присылаемых из Ниццы, Грасса, Лиона и других южных городов.

Целые сотни, тысячи людей занимаются разгрузкой, разборкой, расстановкой и продажей цветов, другие сотни, тысячи — их покупкой, сортировкой и разноской по Парижу...

Цветы расходятся по городу, благодаря множеству всевозможных разносчиков цветов и продавщиц букетиков, встречающихся всюду, на всех улицах и бульварах.

...Число таких торговцев в самом Париже насчитывается до 4000 да в окрестностях около 2000. Так что 6 тысяч одних только этого рода торговцев развозят ежедневно цветы по Парижу и окрестностям.

Далее следует продажа цветов в киосках, представляющих собой, так сказать, переход от разносчиков и рыночного торговца к дорогим цветочным магазинам...

...Что же касается до тех больших цветочных магазинов, которые являются у нас (то есть в России того же времени. — *В. С.)* главным центром цветочной торговли, то такие, конечно, имеются в Париже, но они уже почти не пользуются цветами, привозимыми на центральный рынок, а держат только более редкие экзотические растения или особенно роскошно выращенные цветы, разводимые в собственных теплицах и садоводствах.

Число таких магазинов в Париже доходит до 500. При этом замечательно. что почти вся торговля цветами ведется здесь исключительно женщинами.

Причины тому весьма ясны: для составления бутоньерок, венков, букетов, плато и разного рода жардиньерок требуется много вкуса, много изящества, а в этом отношении женщины, конечно, неизмеримо превосходят мужчин...

...Эталажи парижских цветочных магазинов являются истинным наслаждением для глаз. Особенно же они поражают зимой, когда сквозь гигантские зеркальные окна взор окоченевшего от холода зрителя видит перед собою всю роскошь тропиков или знойного юга, увеличенную искусной группировкой растений и полным артистического вкуса подбором цветов и аксессуаров.

Спрашивается: сколько же тратится Парижем и его летучим чужестранным населением ежегодно на цветы?

На это точная статистика отвечает следующее.

В хорошие года в Париж ввозится на 30 000 000 франков цветов... Они все расходятся по рукам, по домам положительно всего Парижа.

Кого вы только не встретите в Париже. Молодую ли девушку, пожилую ли даму, мужчину ли, ребенка ли — у всех почти увидите всегда цветы или в руках, или на груди, или в петлице.

Взойдете ли вы в комнату скромного работника или работницы — вы увидите на окне или в стаканчике цветы. Взойдете ли вы в богатый дом — увидите их не только всюду расставленными в роскошных вазах, жардиньерках, но и украшающими обеденные столы, украшающими все гостиные, будуары и даже лестницы.

Цветы встречают в Париже и новорожденного, прово-

жают и покойника. Цветами украшаются и в театр, на бал, на скачки. Цветами приветствуют именинника, цветами убирают невесту, цветы подносят артистам. Ими украшают торжественные обеды, ими убирают экипажи, ими убирают могилы. Словом, нет в Париже события, веселого или печального, где бы их не было...

...Такова роль цветов в Париже, во всей Франции, можно сказать, во всем современном цивилизованном мире» [1].

По логике повествования теперь полагалось бы мне описать состояние цветочной торговли в современной Москве, но хватит ли моего воображения и скудости моих изобразительных средств?

Прежде всего, надо сказать, что в отношении к цветам москвичи ни в чем не уступают остальному цивилизованному миру. Точно так же, как и в Париже, как и везде, у нас цветами и встречают новорожденного и провожают покойника, приветствуют именинника и убирают невесту, подносят цветы артистам и украшают ими обеденные (банкетные) столы.

Правда, я не встречал лестниц, украшенных цветами. Но, когда-то в старом семиэтажном московском доме по Уланскому переулку, где живет моя сестра Екатерина Алексеевна, я обнаружил на лестничных поворотах перил некие излишества, что-то вроде площадок или, скажем, гнезд и поинтересовался, зачем это, мне сказали, что, бывало, здесь стояли цветы. То ли плошки, то ли вазы с цветами. Предполагаю, что плошки. А на самих ступеньках будто бы лежала ковровая дорожка. Но по-моему, это вздор. Если на лестнице так просто стояли цветы в плошках, то почему же никто не уносил их в свою квартиру? А если лежала ковровая дорожка, то почему ее в первые же три дня не изрезали на отдельные коврики? Или не скатали в рулон и не увезли? И как могли цветы и дорожка сочетаться с этими немытыми стеклами, накопившими на себе слой слипшейся пыли в палец толщиной, и с этими мрачными темными побитыми стенами? И с этим запахом в подъезде (москвичи знают, отчего это происходит), и с этим лифтом, исцарапанным внутри острым гвоздем?

---

[1] Н. Ф. Золотницкий. Цветы в легендах и преданиях. Изд. А. Ф. Девриена.

С такими сомнениями я пришел к одному старожилу этого дома, и он неожиданно стал меня заверять, что действительно цветы на лестнице были и дорожка была,— более того — жильцы будто бы оставляли внизу в подъезде галоши и зонтики.

Последнее убедило меня больше всего, потому что и сейчас иногда оставляют москвичи внизу детские коляски.

Трудно сказать, почему исчезли цветы с лестничных площадок московских домов. Поиски причин увели бы нас слишком далеко. Назову одну: изменилось отношение к лестнице. Я бывал во многих больших городах и видел, что там (речь идет не о трущобах, а о средних, нормальных жилых домах) лестница является началом квартиры, в то время, как у нас она является продолжением улицы. Большая принципиальная разница.

Отношение к лестнице изменилось, но к цветам нет. Цветы москвичи по-прежнему любят. Это для них где-нибудь там, на юге, утрамбовывают в чемодан мартовские ветки мимоз, а также розы, предпочтительно в бутонах, чтобы не помялись, не истрепались. Сплюснутые и слипшиеся извлекаются розы из чемоданов на московских рынках. Встряхиваются, расправляются. У иных полураспустившихся роз стараются пальцами вывернуть лепестки, чтобы выглядела пышнее, ярче. Стараются их опрыснуть водой, чтобы освежить, оживить. Но все это помогает мало. В чемоданной утрамбованной темноте и духоте розы задыхаются, умирают. Купленные и принесенные в московскую квартиру, они редко пробуждаются от глубоко обморочного состояния. Не помогает даже реанемация, в приемы которой входят обламывание и расщепление стеблей, обливание стеблей горячей водой и растворение в вазе таблеток аспирина. Бутоны часто так и остаются бутонами, темными с мертвенным оттенком, а полураспустившиеся розы быстро осыпают на скатерть свои бессильные лепестки.

Впрочем, в конце лета на всех рынках Москвы можно купить превосходные розы, выросшие и расцветшие у нас в Подмосковье. Тогда хороши, свежи и другие цветы — питомцы дачных участков Малаховки и Лобни, Краскова и Салтыковки, Болшева и Сходни... Какие прекрасные маки, садовые ромашки, ирисы, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, левкои, лилии расставлены тогда на прилавках московских рынков.

Отшумят тут же — по сезону — благоухают вороха черемухи, сирени, жасмина.

Ландыши появляются в Москве раньше, чем в подмосковных лесах — привозят из более южных областей, даже и с Украины. Случайно на углу метро, в подземном переходе через улицу,— у тетеньки, опасливо поглядывающей по сторонам, можно в Москве, и не заезжая на рынок, купить иногда букетик ночной фиалки, незабудок, купальниц, полевых ромашек и васильков. Это и хорошо. Не всегда человек заранее знает, что вечером ему понадобятся цветы. Не всегда есть время днем купить их. Как же быть, если рынки в семь часов закрываются? Фактически они расходятся еще раньше.

Есть в Москве два-три полулегальных базарчика, где можно найти цветы в неурочное время, то есть, когда рынки закрыты. Точно так же в некоторых капиталистических странах, где проституция официально запрещена, содержатся полулегальные соответствующие заведения, о которых полиция прекрасно осведомлена, но на которые она смотрит сквозь пальцы. Как бы не видит.

До недавних пор такой цветочный базарчик существовал около Белорусского вокзала. Надо было пройти тоннелем под мост, под Ленинградский проспект и там начинался ряд палаточек и прилавков, где цветами торговали до поздней ночи. Но потом этот базарчик внезапно прекратился. Сейчас существует он у «Сокола». Около Белорусского вокзала осталась только традиция. Можно обнаружить рядом с продавщицами мороженого и газированной водой двух-трех наиболее отчаянных теток, которые из обширной сумки извлекут для вас несколько астр, а то и роз.

Да, но есть же в Москве цветочные магазины, которые некогда, если верить Золотницкому, являлись «у нас главным центром цветочной торговли». Их, конечно, не 500, как в Париже в начале века, но все-таки более сорока.

Я давно не бывал в цветочных магазинах, и мне пришла в голову мысль посмотреть некоторые из них. Тут мы случайно разговорились с писателем Радовым, и он рассказал мне историю, которая настораживала. Ему понадобились цветы. Не знаю, почему он не обратился на рынок. В Союзе писателей есть человек, в обязанности которого входит доставать цветы для многочисленных писательских похорон и юбилеев. У этого человека, есте-

ственно, широкие связи с разными цветочными магазинами. После соответствующего звонка в крупнейший магазин и разговора с директором, Радову было обещано 10 (десять) гвоздик. Явившись лично, Радов сумел выпросить еще одну и таким образом ушел с одиннадцатью гвоздиками.

Я стал задавать Радову вопросы, над которыми он расхохотался. Я спрашивал, почему, если не оказалось гвоздик, он не купил гладиолусы, тюльпаны, маки, лилии, розы, хризантемы, нарциссы, пионы, астры?

Смеется Радов своеобразно. Сначала в нем, в глубине — рождается хрип (как у старинных часов перед боем), который тянется долго. Если не очень смешно, все может так и кончиться этим хрипом. Но теперь Радов хохотал от души. Мои вопросы, как он говорил, были наивны. Заинтригованный, я сам поехал посмотреть на цветочные магазины. Пока едем до первого из них, вновь всплывают в памяти строки: «стеллажи... цветочных магазинов... истинным наслаждением для глаз... сквозь гигантские зеркальные окна... всю роскошь тропиков или знойного юга... искусной группировкой растений... полным артистического вкуса, подбором цветов и аксессуаров...»

Боже мой! Трудно представить себе столь же унылое зрелище, как московский цветочный магазин! Пахнет похоронами и провалившимися премьерами. Вид и атмосфера этих магазинов вместо радости и наслаждения (цветочный магазин!) навевает безотчетную тоску. Они почти не отличаются друг от друга ни обстановкой, ни этими как их... аксессуарами, ни ассортиментом, ни тем более ценами. В деревянных ящиках растет несколько больших растений — пальмы, лавровые деревца, кактусы.

— Продаются ли эти растения и сколько стоят?

— Это наш инвентарь.

Так ответили мне продавщицы трех магазинов. Значит, в четвертом можно не спрашивать. Что же продается? В глиняных плошках комнатные растения двух-трех видов. Именно те, которые сейчас почти никто не держит в своих квартирах. Например, елочки. А цветы, как таковые? Цветок в петлицу, цветок для подарка, букет цветов?

В магазине у «Сокола» в этот день торговали хризантемами. Штук двадцать хризантем стояло около продавщицы в ведре, в воде. Скоро кончатся. Вид у хризантем помя-

тый, потрепанный. Но берут. Оглядывают цветок со всех сторон, мнутся, колеблются, но берут. Ничего другого ведь нет. Ничего. Только хризантемы, больше похожие на астры. Бело-лилового и блекло-желтого цвета. Они измяты, полузавяли. Пока есть в продаже те, белые крупные хризантемы, эти никто не берет.

Через четверть часа я уже в другом конце Москвы в цветочном магазине у Сретенских ворот. Вместо белых хризантем в ведре несколько белых гладиолусов. Мелкие, жалкие, полузавяли. На прилавке кустистые желтоватые и лиловатые хризантемы. Трогают, оглядывают и кладут опять на прилавок.

Магазин на проспекте Калинина (так называемый Новый Арбат) отличается от других. Он просторен, его интерьер организован по-современному. Даже маленький бассейн посреди магазина. Инвентарь расставлен с большей фантазией. Но подойдя к прилавку, я вижу опять те же самые мелкие, похожие на астры, кустистые хризантемы бледно-желтого и бледно-лилового цвета. Поскольку их никто не берет, продавщицы пошли на хитрость. Они к этим совсем невыразительным и не свежим цветам присоединяют гвоздички и таким образом штампуют букеты, завернутые в целлофан. Гвоздички немного оживляют букет, но они сами помяты и блеклы. Кроме того, они никак не сочетаются с той невольной добавкой, с той «общественной нагрузкой», которую им навязали. Получились вместо букетов стандартные венички. Не представляю, кому можно и как можно преподнести такие цветы. Но других цветов нет. Я подозвал продавщицу, молодую полноватую девушку с пышной русой косой, которая за отсутствием торговли оживленно болтала с подружкой — кассиршей, и сказал ей примерно следующее:

— Я знаю, что московские продавщицы, прежде чем встать за прилавок, учатся в специальных школах или на курсах. Вы, наверно, учились тоже. У вас прекрасная профессия и прекрасное звание, вы — цветочница. Так как же вы могли выложить на прилавок и предложить нам эти чудовищные, эти бездарные, эти безграмотные пучки растений? Разве вы не понимаете, что цветы в этих пучках не сочетаются друг с другом, не смотрятся, вопиют к вашему вкусу, вашей совести. На кого вы рассчитываете? На какой вкус? На какой уровень безразличия и равнодушия? Зачем же веками существовало искусство

составлять букеты, зачем это искусство прославлялось поэтами, зачем лучшие букетчицы ваялись в мраморе великими скульпторами? Для того чтобы дело пришло к этому жалкому тоскливому пучку цветов, который вы под названием букета пытаетесь всучить мне за, между прочим, один рубль семьдесят копеек.

Впрочем, в последнем я не прав. Продавщица вовсе не пыталась мне ничего всучать. Выслушав меня и не удостоив не только ответом, но и шевелением брови, она решительно, резко, зло покидала пучки цветов в ведро, затем повернулась и гордо и независимо, под возмущенный ропот остальных покупателей, пошла снова к кассирше, не подозревая, конечно, что уходит прямо на эту страницу.

Что же было в решительных ее жестах, когда она кидала букеты в ведро? О, тут было много всего по желанию и на выбор.

— Никто вас не просит покупать эти цветы. Не хотите, не надо.

— Ишь ты, нашелся грамотей. Если каждый будет учить...

— А пошли вы все... осточертело давным-давно!..

— Сама знаю, что цветы эти дрянь, но что же мне прикажете делать?

— Прекрасно вы все понимаете, и нечего притворяться наивненькими...

И все-таки я не понимал. Не понимаю, как может в цветочном магазине не быть цветов?!

— Почему же? Цветы у нас есть,— ответила мне другая, более спокойная продавщица в другом магазине.— Вы можете заказать букет или корзину или венок... Очень часто заказывают у нас корзины для подношения артистам на сцену. Венки, конечно, для похорон.

— И если я захочу преподнести корзину или букет любимой актрисе, ваш магазин берется исполнить для меня такой букет?

— Конечно.

— Простите, а какие там будут цветы? Надо полагать, какие захочу я, ваш заказчик и покупатель?

— Еще чего!

— То есть, как?

— А так. Цветы будут такие, какие окажутся в тот день на базе или в магазине.

— Но если моя актриса любит тюльпаны и терпеть не

может гвоздик. Вы знаете, при виде гвоздик она... вы знаете, это ведь цветок крови...

— Чего?! Приподнесете и будет довольна.

— Но это никак невозможно, чтобы гвоздики...

— Гражданин, сказано вам — какие будут на базе. Да вы не волнуйтесь, они вам соберут, и будет красиво.

— Я понимаю, но у цветов есть символика. Вас, наверно, учили? Хризантема, например, цветок печали и смерти. Лилия — непорочности. Ведь именно с лилией Архангел Гавриил... благовещенье... Нарцисс — символ влюбленных в себя, камелия — цветок бесстрастия, незабудка — цветок постоянства и верности, омела — вечное обновление. Ее, знаете ли, дарят в Новый год и на рождество, ландыш служит эмблемой нежности, безмолвного излияния сердца, роза — поклонение и пламенная любовь, фиалка — скромность и обаятельность... А вы мне — какие будут!

Знаете, как написано в одной книжке: «Влетает в магазин как буря какой-то иностранец и, показывая на часы, говорит: «Сейчас пять часов, в семь мне нужна во что бы то ни стало корзина самых редких орхидей, но помните, ровно в семь часов. Что это будет стоить?»

Вот как, милая девушка, нужно торговать цветами. Как думаете, сможет мне ваш магазин не к семи часам, а хотя бы к Новому году приготовить корзину самых редких орхидей?

— Разыгрываете вы меня, гражданин, по глазам вижу. А если хотите цветы по своему выбору — ступайте на рынок.

Так я понял, что москвичи сидят на своеобразном цветочном пайке, когда человек покупает не то, что ему хотелось бы купить, но то, что предлагает магазин и что человек покупать вынужден. И только рынок, опять же, сглаживает немного атмосферу и обстановку пайка.

Впрочем, когда слишком много цветов, это тоже... в некотором роде другая крайность.

Во время большого какого-то праздника в одной республике нас, приехавших на этот праздник московских гостей, завалили цветами. Не успеем выйти из самолета — навстречу бегут школьники с букетами в руках; не успеем прийти на фабрику, навстречу бегут девочки с букетами в руках; не успеем приехать в совхоз — цветы, собираемся уезжать из совхоза или с фабрики — опять

цветы. У нас не хватало рук, чтобы держать тяжелые букеты. В гостиницах, в автомобилях, в салонах самолетов не хватало места, чтобы положить цветы. Это были осенние жирные георгины и астры, связанные в округлые снопы. Их были пуды, их были тонны. Оказывается, если цветов тонны, то они начинают производить впечатление силоса.

Иногда я вижу, как артисту или артистке на сцену чинно выносят корзину с цветами (какие оказались на базе). Таких корзин набирается несколько штук и появляется подозрение: уж не сам ли артист их заказал. Очень они одинаковы. Впрочем, что я? База-то у всех магазинов одна!

В то же время иногда летит на сцену один цветок. Или маленький букетик фиалок. Если бы я был на сцене вместо артиста, для меня такой цветок и такой букетик, упавший на серые пыльные доски, был бы дороже чопорных корзин, перевязанных шелковыми красными и белыми лентами.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

И. Бунин. О цветах и травах в стихах разных лет

...Есть на полях моей родины скромные
Сестры и братья заморских цветов:
Их возрастила весна благовонная
В зелени майских лесов и лугов.
Видят они не теплицы зеркальные,
А небосклона простор голубой.
Видят они, не огни: а таинственный
Вечных созвездий узор золотой.

Веет от них красотою стыдливою
Сердцу и взору родные они...

1887 г. (то есть очень раннее)

* * *

Понял я, что юной жизни тайна
В мир пришла под кровом темноты,
Что весна вернулась — и незримо
Вырастают первые цветы.

1889—1897 гг.

* * *

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет,
Колокольчики, ландыши в чаще зеленой цветут,
На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,
Соловьи до рассвета поют.

Скоро троицын день, скоро песни, венки и покосы...
Все цветет и поет, молодые надежды тая...
О, весенние зори и теплые майские росы,
О, далекая юность моя!

1900 г.

* * *

А на селе с утра идет обедня в храме:
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь сияющий и убранный цветами
Янтарным бликом свечи и солнца озарен.

1900 г.

* * *

Крупный дождь в лесу зеленом
Прошумел по стройным кленам
И лесным цветам...
После бури молодея
В блеске новой красоты,
Ароматней и пышнее
Распускаются цветы.

1888 г.

* * *

Темной ночью белых лилий
Сон неясный тих.
Ветерок ночной прохладой
Обвевает их.
Ночь их чашечки закрыла,
Ночь хранит цветы
В одеянии невинном
Чистой красоты.

1893 г.

* * *

Пахнет медом, зацветает
Белая гречиха...
Звон к вечерне из деревни
Долетает тихо...

1892 г.

* * *

Из зреющих хлебов, как теплое дыханье,
Порою ветерок касается чела.
Но спят уже хлеба. Царит кругом молчанье.
Молчат перепела.

1897 г.

* * *

Веет утро прохладой степною...
Тишина, тишина на полях!
Заросла повиликой-травою
Полевая дорога в хлебах.

В мураве колеи утопают,
А за ними с обеих сторон,
В сизых ржах васильки зацветают,
Бирюзовый виднеется лен.

Серебрится ячмень золотистый
Зеленеют привольно овсы,
И в колосьях брильянты росы
Ветерок зажигают душистый.

И вливает отраду он в грудь,
И свевает с души он тревоги...
Весел мирный проселочный путь,
Хороши вы, степные дороги!

КАНУН КУПАЛЫ

Не туман белеет в темной роще —
Ходит в темной роще Богоматерь.
По зеленым взгорьям, по долинам

Собирает к ночи Божьи травы.
Только вечер им остался сроку,
Да и то уж солнце на исходе:
Застят ели черной хвоей запад,
Золотой иконостас заката.
Уж в долинах сыро — пали тени,
Уж луга синеют — пали росы,
Пахнет под водою медуница
Золотой венец по рощам светит.
Как туман бела ее одежда.
Голубые очи — словно звезды,
Соберет Она цветы и травы
И несет их к божьему престолу.
Скоро ночь — им только ночь осталась,
А на утро срежут их косами,
А не срежут — солнце сгубит зноем,
Так и скажет Сыну Богоматерь:
«Погляди, возлюбленное Чадо,
Как земля цвела и красовалась!
Да недолог век земным утехам:
В мире Смерть — она и жизнью правит».
Но Христос ей молвит: «Мать! Не солнце —
Только землю тьма ночная кроет.
Смерть не семя губит, а срезает
Лишь цветы от семени земного.
И земное семя не иссякнет.
Скосит Смерть — Любовь опять посеет.
Радуйся, Любимая! Ты будешь
Утешенье до скончанья века!»

* * *

Зато все ярче и нежнее
Живая неба бирюза:
И смотрят, весело синея,
В кустах подснежников глаза...

* * *

...Полями пахнет — свежих трав,
Лугов прохладное дыханье!
От сенокосов и дубрав
Я в нем ловлю благоуханье...

* * *

...Поздним летом в степи на казацких могилах
«Сон-цветок» в полусне одиноко цветет
Он живой, но сухой. Он угаснуть не в силах,
Но весна для него не придет...

* * *

...Воз тонет в зелени, как челн в равнине вод,
Меж заводей цветов, в волнах травы плывет,
Минуя острова багряного бурьяна...

* * *

...Растет, растет могильная трава,
Зеленая, веселая, живая,
Омыла плиты влага дождевая,
И мох покрыл ненужные слова...

* * *

...Брат в запыленных сапогах,
Швырнул ко мне на подоконник
Цветок, растущий на пара́х,
Цветок засухи — желтый донник.

Я встал от книг и в степь пошел...
Ну да, все поле — золотое,
И отовсюду точки пчел
Плывут в сухом вечернем зное...

* * *

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав...

* * *

Муза, крапиву воспой...

На мой взгляд, крапива — одно из самых любопытных растений. Во-первых, зачем ей жалиться? А между тем природа ничего напрасно не делает. На что уж бесполезной у нас считается слепая кишка. Атавизм, пережиток, излишество. Начали в Америке удалять ее в младенческом возрасте, чтобы потом, взрослому человеку не нужно было хлопотать и заботиться. И что же? Развитие ребятишек без слепой кишки пошло ненормальным путем. Заметили нежелательные отклонения. Пришлось отказаться от самонадеянного вмешательства в дела природы: молодые американцы растут все с аппендиксами.

Пчелиное жало объяснено, змеиный яд понятен, ядовитые колючки некоторых рыб не вызывают никаких кривотолков. Но зачем жжется крапива? Защищая себя? От кого? Почему другие соседние травы обходятся без такой защиты и процветают? Да и какой вред крапиве, если ее съест какое-нибудь травоядное существо? Чтобы ее извести, нужны не благодушная корова, не лось, не коза, а железо, огонь, терпенье и многие годы.

Шипы на розовом кусте, но ведь там цветок, и какой! Каждый, кто увидит, потянется сорвать и понюхать. Но и шипы на розе появились, надо полагать, задолго до человека. И оказались они, между прочим, с точки зрения защиты от человека, праздными. Человек все равно выращивает и срезает розы и вывел 7000 (семь тысяч) сортов. Нет, непонятная, непонятная трава крапива. Кстати, насчет невзрачности ее, я не согласен. Один раз сидели на лавочке и разговорились.

— Ну, знаешь! Это надо уж до чего дойти, чтобы утверждать, будто крапива красавица! Тогда не надо было бы выращивать георгины, нарциссы, маки... Крапива сама везде растет, только любуйся.

Я отошел за угол дома, сорвал три высоких свежих стебля крапивы, унес их в дом, поставил в высокую узкую вазу, установил около золотистой тесовой стены. Свет падал удачно, сбоку: не плоское, а объемное освещение. Пригласил друзей спорщиков.

Зубчатые, немного никнущие листья, расходящиеся парно, во многих местах четырехгранного стебля, полно-

кровная[1] темная зелень, сила и мощь в сочетании с несомненным чувством личного достоинства, произвели на всех нас, смотрящих, сильное впечатление. Мы стояли и любовались. Чем дольше любовались и вглядывались, тем больше хотелось смотреть. Реплики стихли. Наступило безмолвное созерцание.

— Она прекрасна! — сказал наконец поэт.— Она прекрасна, и пятна нет на ней.

— А зачем же мнем и не смотрим?

— Кто-то из великих мужей сказал, что если бы селедки было мало, она считалась бы самым тонким и редким деликатесом.

— Ничего, скоро будет! — пошутил один из нас, уже безотносительно к нашей красивой крапиве и разрушая атмосферу очарования.

Но можно ли крапиву не мять. С первых шагов (если в деревне) преследует ребятишек досадная, злая трава — крапива. Мяч закатился обязательно в крапиву. Надо лезть и доставать, обжигаясь. Рвешь малину (в особенности в лесу); руки и ноги острекает крапивой. Провинился — можно получить крапивой по ногам, а то и повыше, тем более если провинился перед чужими людьми, например, залез в огород. Пошлют полоть гряды: попадается под руки чрезмерно злая мелкая крапивка, которая и растет только в грядах вместе с сорной травой. Белые на руках волдыри нестерпимо горят, а потом, опадая, зудят и чешутся. Ловишь рыбу на удочку, захочешь вытереть руки о траву (не спуская глаз с поплавка), непременно попадешь руками на злую приречную крапиву.

Но там же, около утренней реки, близ воды, дышащей теплом и туманом, в кустарнике, во влажном утреннем микроклимате до чего же крепко, до чего же хорошо пахнет крапива!

Саша Косицын, когда в Москве начнем вспоминать наши места и речку, текущую через лес, все время обращается к одному и тому же вопросу:

— Слушай, чем это пахнет, какой травой, когда сидишь утром у воды? На мяту как будто не похоже...

---

[1] В слове «полнокровная» нет никакой метафоры. Сейчас найдена и доказана идентичность растительного хлорофилла и животного гемоглобина.

— Мятой пахнут руки, когда вытираешь их о траву. А в воздухе пахнет обыкновенной крапивой.

— Да ну?!

И вот теперь еще один немаловажный вопрос.

Крапива водится в кустарниках, по берегам речек, в зарослях лесной малины, в лесных оврагах, называемых у нас буераками.

В чистом поле, среди ржи, овса, гречки, гороха крапивы не видать. На чистом лугу, среди луговых цветов и трав крапивы не встретишь. Вдоль проселочных, полевых дорог крапивы нет. Она изменяет своим местам обитания только для того, чтобы поселиться около человека.

Как только признак какой-нибудь человеческой деятельности, как только человеческое жилье, крапива уж тут, как тут. Главным образом, ее привлекают признаки строительной деятельности.

По существу, крапива — лесная трава. Но ведь медуница не выходит из леса на стук человеческого топора или молотка. Ландыш не выманишь из-под сени леса. Кислица, грушанка, лесной колокольчик тверды в своих привязанностях и привычках. Но крапива немедленно покидает свои буерачные, береговые, овражные угодья и появляется перед человеком, как только почувствует его близость.

Выкопайте колодец среди чистой поляны, вокруг которой на километр не росло ни одной крапивинки, тотчас ваш колодец окружит зеленой толпой, неизвестно откуда взявшаяся крапива. Поставьте сруб, соорудите погреб, поднимите забор, сложите поленницу дров, высыпьте корзину щепок или другого мусора, крапива уж тут как тут!

Может быть, она знает, что где есть человек, там возможны и разные человеческие бедствия: пожар, война, голод, болезнь? Может быть, она заранее предлагает себя на выручку, как весьма питательная и целебная трава (во много раз питательнее капусты)? Ведь она особенно буйствует там, где действительно замечается человеческое бедствие, неблагополучие. О, раздолье крапиве от края и до края России на месте исчезающих домов, деревень и сел! Ну, положим, крестьяне-то многие, колхозники уезжают из деревень не от голода, не от чумы, не от крайней нужды, а по очень сложным причинам, благодаря очень сложным процессам, происходящим теперь, уезжают

в города, накопив денег и покупая в городах дома, уезжают засасываемые растущей промышленностью (и потому, что ослабли корешки, привязывающие к земле, а то и пооборвались), но крапива, конечно, не может разобраться во всех социологических тонкостях. Она видит, что исчезают дома, оставляя после себя ямы и кирпичные трубы, она думает, что тут бедствие, неблагополучие, и набрасывается, и растет, и жиреет на покинутых пепелищах, в то время как бывшие хозяева домов благополучно работают на заводах, ходят в кино, забивают «козла», потягивают пивко у фанерных киосков. Не умнее же крапива наших социологов и экономистов, которые утечку деревни считают не бедствием, а неизбежным, закономерным процессом?

Или, может быть, крапива набрасывается на следы человеческой деятельности из других побуждений. Может быть, природа велит ей: «Иди и все исправь. Сделай как было». И вот на брошенных местах, на ямах от бывших домов крапива будет расти десятки лет, пока всякий след человека не переработает в себе так, что будет здесь опять бескрапивное, но и безмусорное место. Зарубцуется рана, сотрется след. Правда, говорят, что и до сих пор ученые-археологи именно по крапиве определяют стоянки древних викингов в Европе. Но что природе пятьсот лет и куда ей торопиться?

В присланной мне тетради одного ученого старичка-профессора, впрочем я вычитал следующие, не очень привычные для нормальной современной научной речи слова о крапиве:

«Растет на почве, испорченной человеком, исправляя ее, подготовляя для других растений. Это сильное растение, но замкнутое. Оно не выказывает своей силы вовне, например, в виде цветов, а заключенную в ней красоту выявляют бабочки, личинки которых питаются листьями крапивы («павлиний глаз», «крапивница»). Крапива напоминает некоторых людей, которые делают нужную работу, делают много хорошего, но не показывают этого» (см. стр. 54 этой тетради).

На странице 54-й я прочитал еще и следующее. Как говорится, за что купил, за то и продаю.

«Крапива растет всюду, где есть люди. Она стоит перед нами исполненная серьезным, даже несколько отчужденным спокойствием, глубоко связанная с теми силами,

внешним выражением которых является ветер. Самое важное и самое существенное в крапиве — это живущий в ней сильно выраженный железистый процесс. Этот процесс железа придает крапиве, с ее темно-зелеными листьями, такой исполненный достоинства вид.

Сущность крапивы в том, что в ней совершается процесс, обратный процессу образования крови в человеке. Она — страж интернированного в крови человеческого существа, регулируя действие силы тяжести и обратной ей силы подъема... Медицина применяет ее для очистки крови...»

Дальнейшее оставлю в тетради на той самой 54-й странице, равно как и на совести профессора.

Каждый год в мае я боюсь прозевать крапивный сезон. Крапива едва ли не самая первая показывается из черной, бестравной в то время земли и растет очень быстро. Значит, если принять нашу шутливую первую теорию, что крапива идет на выручку человека, то в этом мы найдем полное совпадение, потому что если бы выпала голодная зима и если бы пережившие ее люди стали с вожделением и надеждой глядеть, чем им поможет весна, природа, то первыми они увидели бы яркие сочные кустики крапивы, растущие не по дням, а по часам, так и прущие из земли, словно вот именно спешат на выручку.

Очень важно приехать в это время в деревню, чтобы захватить крапиву молодой, нежной и сочной.

Вооружившись ножницами и посудой, например, решетом, я иду в сад. Там и тут под вишеньем, около старой избушки, около малины сотворились из мягкого апрельского тепла и волглой земли, соткались из солнечного воздуха и налились соком и зеленью кустики крапивы. Они пока что выглядят как кустики, а не как сплошные высокие заросли. Возьмешься пальцами левой руки осторожненько за верхушку, а ножницами чиркнешь под третью палу листьев. Оставшееся в левой руке бросишь в решето или блюдо.

Когда суп, какой бы он ни был, готов и можно нести его на стол, надо бухнуть в кипящую кастрюлю ворох свежей, мытой крапивы. И как только кипенье в кастрюле, усмиренное на несколько минут прохладной крапивой возобновится, снимают кастрюлю с огня; разливают густое, зеленое хлебово по тарелкам. Весенняя, майская целебная и питательная еда готова. Крапива остается и в

тарелке ярко-зеленой, кажется даже еще ярче, чем росла на земле. Она как живая, только что не жалится.

Правда, Володя Дудинцев запротестовал, когда я поделился с ним столь простым и эффективным рецептом.

— Нет. Надо откинуть ее и протереть через друшлак, или решето, а в тарелку обязательно положить половину крутого яйца. И положить его желтком кверху.

— Зачем?

— Ну, как же... красиво.

Муза, крапиву воспой... Но все же настоящую оду крапиве я вычитал в травнике В. Махлаюка. И написана она там суховатыми деловыми словами. И никакой поэтический этюд не заменит в данном случае точных конкретных знаний. Вот она, эта ода.

«Применение. Крапива широко применяется в народной медицине разных стран. Русская медицина использовала ее еще в XVII веке и высоко ценила как хорошее кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство.

Крапива обладает мочегонным, слабительным, отхаркивающим, противосудорожным, противовоспалительным, «кровоочистительным», кровоостанавливающим и ранозаживляющим средством. Она усиливает деятельность пищеварительных желез и выделение молока у кормящих женщин. Крапива увеличивает процент гемоглобина и количество эритроцитов в крови. Имеется указание, что отвар листьев может понижать содержание сахара в крови.

В русской народной медицине и народной медицине других стран водный настой и отвар крапивы применяют при болезнях печени и желчных путей, почечно-каменной болезни, дизентерии, водянке, хронических запорах, простудных заболеваниях, болезнях дыхательных путей, геморрое, остром суставном ревматизме, подагре. Настои крапивы употребляют так же, как внутреннее «кровоочищающее» средство, улучшающее состав крови при лечении различных кожных заболеваниях (лишаев, угрей, фурункулов). Отвар листьев с ячменной мукой пьют при грудных болях.

В смеси с другими травами крапиву используют при туберкулезе легких. Листья крапивы входят в состав различных желудочных, слабительных и поливитаминных сборов.

Водный настой крапивы издавна применяют при геморроидальных, маточных и кишечных кровотечениях.

В последние годы крапиву стали применять и в научной медицине при маточных и кишечных кровотечениях в виде жидкого экстракта. Клиническая проверка показала, что он не вызывает никаких вредных явлений. Жидкий экстракт обладает также мочегонным, противолихорадочным и противовоспалительным действием. Для повышения свертываемости крови рекомендуется применять смесь жидких экстрактов крапивы и тысячелистника. Кровоостанавливающее действие крапивы объясняется наличием в ней особого антигеморрагического витамина К, а также витамина С и дубильных веществ.

Отвар корневищ и корней крапивы двудомной в народной медицине применяют внутрь при фурункулезе, геморрое и отеках ног, а настой корней — как сердечное средство. Обсахаренные корневища крапивы употребляют также при кашле.

Настой корней жгучей крапивы применяют для лечения туберкулеза. Настой цветков крапивы двудомной в виде чая пьют от удушья и при кашле для отхаркивания и рассасывания мокрот.

Крапива является не только внутренним, но и наружным кровоостанавливающим средством и ранозаживляющим средством. Инфицированные раны скорее освобождаются от гноя и быстрее заживают, если их присыпать порошком крапивы или прикладывать к ним свежие листья. Отвар всего растения применяют наружно для обмывания и компрессов при опухолях. Высушенные и размельченные листья используют при носовых кровотечениях, а свежими листьями уничтожают бородавки.

Во Франции настой крапивы втирают в кожу головы для роста и укрепления волос при их выпадении.

Еще в отдаленное время крапиву в народной медицине употребляли в качестве кожного раздражителя (то есть фактора рефлекторной терапии).

Листья крапивы благодаря содержанию в них фитонцидов обладают свойством сохранять быстропортящиеся пищевые продукты (например: выпотрошенная рыба, набитая и обложенная крапивой, сохраняется очень долго).

Молодые побеги крапивы (стебли и листья) используют для приготовления зеленых щей. На Кавказе из вареных измельченных листьев крапивы, смешанных с толчеными грецкими орехами и пряностями, готовят вкусные национальные блюда.

Крапива является также весьма ценным кормом для домашних животных. Она стимулирует их рост и развитие. Коровы, получая крапиву, дают молока больше и лучшего качества. У кур увеличивается яйценоскость.

Из лубяных волокон крапивы можно изготовить грубые ткани и веревки (и готовили раньше.— *В. С.*).

Крапива обладает многосторонним действием на организм человека и заслуживает широкого применения в медицине». Уф!

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

М. Метерлинк

«Они интересны и непонятны. Их туманно зовут «сорными травами». Они ни на что не нужны. Там и сям, в глуши старых деревень, некоторые из них ждут еще на дне банок аптекаря или торговца травами прихода больного, верного традиционным настойкам. Но неверующая медицина пренебрегает ими. Их больше уже не собирают по обрядам старины, и наука «знахарок» изглаживается из памяти добрых женщин. Против них объявили беспощадную войну. Крестьянин их боится, плуг их преследует; садовник их ненавидит и вооружился против них звонким оружием: лопатой, граблями, скребком, киркой, мотыгой и заступом. На больших дорогах, где они ждут последнего убежища, прохожий давит их, телега их мнет. Несмотря на все — вот они, постоянные, уверенные, кишащие, спокойные, и все они готовы откликнуться на призыв солнца. Они следуют за временами года, не ошибаясь ни одним часом. Им неведом человек, истощающий силы, чтобы покорить их, и, как только он отдыхает, так они вырастают на его следах.

Они продолжают жить — дерзкие, бессмертные, непокорные. Они наполнили наши корзины чудесными переродившимися дочерьми, но сами бедные матери остались тем же, чем были сотни тысяч лет назад. Они не прибавили к своим лепесткам ни одной складки, не изменили формы пестика, не изменили оттенка, не обновили аромата. Они хранят тайну какой-то упорной власти. Это вечные прообразы.

Земля принадлежит им с начала мира. В общем, они олицетворяют неизменную мысль, упрямое желание,

главную улыбку земли. Вот почему их надо спросить. Они, очевидно, хотят нам что-то сказать. Кроме того, не забудем, что они первые, вместе с зарей и осенью, с весной и закатами, с пеньем птиц, кудрями, взором и божественными движениями женщины,— научили наших отцов, что на земном шаре есть бесполезные, но прекрасные вещи».

* * *

Тем, кто приезжает ко мне в гости в Алепино, я даю заполнять анкету. Не гостиничную, не служебную: год и место рождения, национальность и образование, но свою, придуманную анкету — шестьдесят шесть вопросов. Она интересна и мне и тому человеку, который ее заполняет. Потому что надо же хоть раз в жизни сесть над белым листом бумаги и задуматься о том, какие у тебя любимые цветы, дерево, явление природы; какой исторический подвиг тебя наиболее восхищает, какую книгу ты ценишь больше других, судьба какого исторического лица представляется тебе наиболее трагичной или в чем ты видишь идеал государственного устройства...

Так вот о цветах. Чаще всего в анкете отвечают друзья: ромашка, василек, ландыш, роза. Встречается незабудка, есть анютины глазки, есть гладиолус, гвоздика, донник... Если продолжать эту анкету, начнут встречаться, вероятно, жасмин, сирень, черемуха, хризантемы, мак... Естественно, есть более или менее установившийся круг популярных и любимых цветов.

Но однажды за чашкой чая в Москве зашел разговор о цветах, в частности, о любимых. Помнится, так был поставлен вопрос: если бы заказать художнику картину, чтобы висела в доме, какие цветы вы предпочли бы видеть изображенными на картине?

— Лютик! — воскликнула Татьяна Васильевна.— Я бы хотела лютик!

Ее восклицание прозвучало неожиданно. Почему — лютик? Но с другой стороны — почему бы и нет?

Я стал вспоминать лютики, их глянцевые, лаковые лепестки, хотел представить, как они выглядели бы, написанные художником, но представился мне не букет лютиков, а наш летний луг. Ведь именно по этим цветам можно узнать летом, где и как текли через наш луг ве-

сенние мутные воды. Сначала они текут по дну оврага узким и бурным ручьем, потом, попадая на плоский луг, разливаются мелкой ширью, но все же не теряют лица потока. Всегда, даже на ровной земле найдется ложбинка чуть-чуть поглубже остального места, а такую ложбинку всегда найдет вода. Так, то разливаясь, то вновь сужаясь, то дробясь на несколько полос, то вновь собираясь в одну, вода добирается до крутого берега реки. Здесь она снова предстает мускулистым хлещущим потоком и падает с шумом в большую речную воду, чтобы потеряться в ней, но зато в конце концов достичь моря. Потечет вода к далекому Каспию, частица ее (ну, хоть стакан) возможно, небезызвестным Волго-Доном попадет и в Черное море и, сделавшись соленой и синей, гуляя там на белопенном просторе, забудет вода наш зеленый лужок, и как текла через него, пробиралась к реке, и как ходил по ней Серега Тореев в резиновых сапогах, и как ваш покорный слуга перепрыгивал через нее, опираясь на можжевеловую витиеватую палку, и как успела она косым отражением отрезать и подержать в себе крутой бугор с темными елочками на нем, и как пахла апрельская луговая земля, по которой она текла.

Но луг ее не забудет до самой осени. Там, где она текла темными потоками, загустеет трава, золотыми потоками зацветут лютики. И получается, что лютики — это воспоминание земли о весенней воде.

Конечно: эти дружные лаковые цветочки цветут не только на лугу, на месте мутных весенних ручьев, но и в саду, и около дороги, и на лесных полянах. Они, выражаясь казенно, активно участвуют в создании летней цветочной гаммы и тем не менее как-то умудряются не бросаться в глаза. Мимо поляны, цветущей лютиками, пройдешь, не обратив на нее особенного внимания, как никогда не прошел бы мимо поляны, цветущей купальницами, ромашками и даже одуванчиками. Но Татьяна Васильевна воскликнула: «Лютик! Я бы хотела лютик!» — и с этим ничего не поделаешь. Попал в любимые.

То же самое случалось у меня несколько раз со стихами и рассказами. Про некоторые думаешь: включать их в сборник или не включать? Не очень-то удались. Без них и сборник как будто цельнее, крепче. Пожадничаешь и оставишь, не выбросишь. А потом приходит читатель-

ское письмо. Оказывается, стихотворение, которое не хотел включать, кому-то (пусть хоть одному человеку) понравилось больше других.

То же самое случается и с людьми. Смотришь — невзрачная, некрасивая девушка, пожалеешь даже ее, а она, глядь, замужем первее красавицы. Значит, для са́мой дурнушки дело не безнадежно. Всегда найдется человек, который разглядит в ней некую, только ему одному видную красоту и полюбит.

А вовсе некрасивых цветов, как известно, не бывает.

* * *

Одуванчики цветут с весны и до осени. В течение целого лета не выберешь дня когда нельзя было бы увидеть этот цветок. Но все же бывает в мае пора, когда разливается по земле их первая, самая дружная, самая яркая волна.

Москвичи, поезжайте в Коломенское! В неранние утренние часы солнце смотрит там со стороны Москвы-реки, со стороны знаменитого «Вознесенья», и нам придется пройти сначала всю зеленую поляну до музея, до вторых ворот, а потом оглянуться.

Справа вы увидите старинную медоварню, сложенную из неправдоподобно толстых бревен, темных, словно пропитавшихся медом, с которыми столь удачно сочетается, омывающая их зеленым прибоем, трава.

Прямо, на противоположном от вас конце ровной поляны, на другом ее как бы озерном берегу, стоит белосахарная, с очень синими (во всяком случае, синее майского неба) куполами Казанская церковь. Все пространство между вами и ней (а справа бревенчатая медоварня) мягко и ласково ослепит вас чистым теплом золото одуванчиков.

Не мудрено и в других местах увидеть цветущие одуванчики и даже в таком количестве и в такой, я бы сказал, равномерной распределенности, но не везде в золотое озеро их глядится душистая бревенчатая медоварня и сахарно-голубая церковь. Кажется, что и одуванчики здесь не расцвели вчера, а остались вместе с самим Коломенским от семнадцатого века.

Со всех сторон, из-за вишневых садов, из-за дубового парка, из-за Москвы-реки и со стороны шоссе, надвигается

шум и скрежет наступающего города, который с каждым годом все туже стягивает кольцо. И уже дрожит и надтреснуто дребезжит от этого грохота одуванчиковая коломенская тишина. Скоро, не выдержав напора, она расколется, разлетится вдребезги. Торжествующий и злорадствующий шум нахлынет и погребет ее под собой, возможно, вместе с одуванчиками.

Один мой знакомый высказал в разговоре мысль, что всякий цветок так или иначе видом своим, или по крайней мере схемой стилизует солнце. Словно миллионы маленьких детей взялись рисовать его, кто как может. У всех получается по-разному, но в основе каждого рисунка — кругленький центр, а от него в разные стороны — лучи. Кругленький центр то маленький, то большой, лучи, то узкие, то широкие, полукруглые, то их много, то пять или шесть, то они белые, то красные, то синие, то как само солнце.

Мысль приблизительная, но позабавиться можно. Хотя и некуда деть при этом ни клеверной шапки, ни орхидей, ни всех, так называемых, мотыльковых, ни злаков, ни какой-нибудь там кошачьей лапки. Но вот что правда, то правда — одуванчик срисован с солнца.

Не будем сейчас думать о том, что, сорвав и держа стебель, мы держим вовсе не один цветок, а соцветие, корзину, как выражаются ботаники, и что один цветок представляет из себя тонюсенькую трубочку с зазубренными краями (неужели вы пошлете меня изучать незабудку!). Но глядя на поляну и видя ее всю золотой, невозможно освободиться от впечатления, что некий художник-гигант окунал свою кисть прямо в солнце и разбрызгивал его по зеленой земле.

Еще больше это похоже на бесчисленные зеркальца, в каждом из которых отражается солнце. Сходство дополняется еще и тем, что, когда солнце уходит надолго или на ночь, одуванчики закрывают свои цветы, гаснут, поляна отражает теперь лишь монотонное потемневшее небо.

Поворачиваются за солнцем в течение долгого дня почти все цветы, но закрываются при отсутствии солнца очень редкие и в том числе, и в первую очередь, одуванчики.

Никто не знает (и, вероятно, никогда не узнает), зачем понадобился одуванчику стебель в виде тонкостенной

трубки, вместо обыкновенного, зеленого шершавого стебля. Но зато всякий знает, зачем у него появится потом округлая пушистая головка. В человеческое сознание это растение входит, может быть, больше именно этой пушистой головкой, нежели самим цветком. У него и название не по цветку (скажем, могло бы быть желтоцвет, солнцецвет, солнечник и т. д.). А — одуванчик.

Когда Александру Твардовскому понадобилось найти для поэмы «Дом у дороги» признак жизни, земного бытия и земной радости, то от имени новорожденного человека, он произнес такие слова:

Зачем мне знать, что белый свет
Для жизни годен мало?
Ни до чего мне дела нет,
Я жить хочу сначала.
Я жить хочу, и пить, и есть,
Хочу тепла и света,
И дела нету мне, что здесь
У вас зима, не лето...
Я на полу не двигал стул,
Шагая вслед неловко,
Я одуванчику не сдул
Пушистую головку.
Я на крыльцо не выползал
Через порог упрямо,
Я даже «мама» не сказал,
Чтоб ты слыхала, мама!

Как видим, наш скромный «протеже» один удостоился встать рядом с такими многозначимыми вечными ценностями, как свет, тепло, первый шаг, первое слово и даже мама.

В самом деле, при слове «одуванчик» не большинство ли увидит мысленным взглядом не желтый цветок (хотя бы и с пчелой, старательно ползающей по нему), но белый пушистый шарик, а некоторые наиболее внимательные еще и белую припухлую лепешечку, в черных дырочках, которая остается после того, как дунешь на одуванчик и целый парашютный десант начнет медленно опускаться на землю с высоты вашего роста, вашей поднятой вверх руки.

Парашютный десант. Парашют мы изобрели в двадцатом веке. Одуванчик изобрел его миллионы лет назад. Можно утверждать, что природа нашла его на ощупь, сослепу, но прежде надо положить один-единственный пара-

шютик на ладонь или на лист бумаги и разглядеть его, по возможности в лупу.

Мы увидим, что вся графика этого удивительного приспособления достойна самого точного и красивого чертежа. Не говоря о инженерных, математических расчетах. Вес семечка, длина ножки, площадь зонтика, все находится в строгом математическом соответствии, и если бы современные инженеры при помощи логарифмических линеек и счетных машин взялись рассчитать подобный воздухоплавательный аппарат с точки зрения оптимальности его пропорций, то они пришли бы к пропорциям и формам аппарата, который вы держите на своей ладони и которые во множестве летают по воздуху в ветреный летний день.

Впрочем, есть варианты. У мать-мачехи тоже парашют, но ворсинки у нее начинаются прямо от семечка и расходятся конусом, отчего все приспособление похоже на мяч бадминтона, называемый еще воланчиком. Козлобородник ближе к одуванчику, но так как семечко у него тяжелее и больше, то и весь парашют, согласно конструкторским перерасчетам, соответственно увеличен в размерах. Есть и совсем «ленивые» варианты — бесформенный клочок пуха, а семечко спрятано в серединке. По сравнению с этим комочком пуха парашют одуванчика — как если бы сверкающее четкими никелированными спицами велосипедное колесо рядом с кругляшком, отпиленным от бревна, который тоже может катиться по земле, и катали, бывало, насадив его на гвоздь и прикрепив к палке.

Представляю себе разговор, когда разработав проект и все рассчитав, инженер-конструктор принес чертежи на утверждение какому-нибудь конструктору главнее его.

— Все хорошо,— сказал главный конструктор,— но если семечко, отлетев по ветру, уже упало на землю, стоит ли ему подниматься снова и лететь дальше?

— Понял. Сейчас поправлю.

На новом чертеже семечко, гладкое в первом случае, было снабжено мелкими острыми зазубринками, чтобы крепче держаться в почве.

— Вот видите, мелочь, а из-за нее могло нарушиться равновесие в природе. Хорошо. Утверждаю. Да будет так.

И миллиарды веселых белых пушинок полетели по ветру над зеленой землей, чтобы бесконечно зажигались

на ней все новые и новые цветы, похожие на маленькие солнышки.

Между прочим, салат из молодых листьев одуванчика, как о том пишут во многих книгах, действительно съедобен и, наверно, питателен. Чтобы удалить из листьев их горьковатый вкус, французы рекомендуют класть их на полчаса в соленую воду. Тут дело вкуса. Из лука, например, мы не стараемся удалить горечь, но лишь смягчаем ее сметаной, маслом, другими овощами и травами.

* * *

Возьмите три сердечка, какими их рисуют, когда хотят пронзить стрелой на открытке или какими обозначают червовую масть на игральных картах, и три эти сердечка соедините остриями в одной точке. Сделайте эти соединенные сердечки нежно-зелеными, посадите их на тонкий стебелек пяти- семисантиметровой высоты — и вы получите кислицу или заячью капустку, изящное, милое растеньице, украшающее тенистые, преимущественно хвойные, а еще преимущественнее еловые леса.

У других трав листья сидят на стебле по всей длине (как у крапивы) или расположены розеткой около самой земли (как у одуванчика), а здесь — особенно. Стебелек гладкий, словно стеклянный, полупрозрачный, розоватый, а ближе к земле темно-розовый до красного. Нет на нем ни чешуйки, ни ворсинки. Он весь, как медная проволочка. Венчается же тремя листочками, о которых шла речь.

Листочки, под воздействием тайного механизма, нагнетающего в них упругость и силу, то распрямляются и держатся горизонтально земле, парят, то все три поникают и повисают вдоль стебелька.

Заросли непоникшей кислицы больше всего похожи на пруд, затянутый ряской, потому что все листочки держатся плоско, на одном уровне и образуют ровную зеленую гладь, светло-зеленую, светяще-зеленую, контрастно-зеленую в царстве темных, почти черных тонов замшелого елового леса. В самом деле, где проглянет черно; стволы деревьев темно-коричневы, хвоя темная, сумрачная, воздух сам — полумрак. Только кислица и светится около земли, как если бы устроили снизу скрытую электрическую подсветку.

Взяв за листочки, легко выдернуть растеньице вместе с длинненьким стебельком, который чем ниже, тем краснее, но с другой стороны, прозрачнее, стекловиднее. Надергав несколько штук, свернешь их в комок да и отправишь в рот, станешь жевать. Кислота щавеля покажется грубой и какой-то шершавой после тонкой, острой, с примесью явственней сластинки кислоты заячьей капусты. Но как и щавеля, много не съешь. Да, говорят, и не нужно есть ее в большом количестве.

Считается, что эта трава — барометр, и очень точный. К дождю складывает свои листочки. Зная это, я стал посматривать на нее в лесу. Вижу — листочки сложены. Вот беда. Завтра нужна была бы хорошая погода. Прошел сто шагов — кисточки развернуты. Что за притча!

Несколько дней морочила мне таким образом голову кислица. Потом однажды, выйдя на обширные заросли ее, я догадался в чем дело. На ровной, зеленой плоскости лежала ровная лесная тень. Но были и светлые пятна, от солнца, пробившегося сквозь еловые ветви. И вот ясно было видно, что в тени листья кислицы расправлены и блаженствуют, а в солнечных пятнах поникли, словно боясь обжечься. Ну и правда, очень нежна эта травка. Нельзя ей выставляться на яркий и горячий солнечный свет.

В мае кислица выгоняет еще один стебелек, тоньше своего основного стебля. Он поднимается выше зеленой плоскости листьев, но все равно в лесной тени был бы почти не виден, если бы на нем не распускался очаровательный белый колокольчик.

Белый-то он белый, но если сорвать и разглядеть на свету, весь окажется в сиреневых прожилках и, как водится, желтенькие тычинки в глубине колокольчика.

Таким образом, вот картинка в еловом лесу: ровная «ряска» кислицы, а над ней на невидимых стебельках повисают в темном воздухе мириады маленьких колокольчиков.

Нисколько не хуже, когда около старого трухлявого пня, встретишь иной раз отдельную стайку кислицы с шапку величиной, но яркую, свежую, и несколько колокольчиков, парящих над ней. Тогда жалеешь, что только один ты и увидел эту маленькую лесную сказочку.

* * *

Травка, о которой пойдет речь, так неказиста и незаметна, что, конечно, никто, кроме специалистов-ботаников и знахарей (а в средние века ею очень интересовались еще и алхимики) не выделял бы ее из общей летней травы, если бы не маленькая особенность, не одно ее чудесное свойство.

Цветов у нее как бы и нет. Даже собравшись несколько штук в один клубочек, они не производят впечатления цветка. Клубочек получается величиной с ягодку лесной земляники, а цветом зеленовато-желтоватый. Этакая невзрачная шишечка. Что уж говорить про каждый отдельный цветок, зелененькую спичечную головку. А между тем — семейство розоцветных.

Смотришь и думаешь, неужели это в буквальном смысле бесцветное существо (зеленый цвет — не цвет для цветка) прямая и близкая родня царице цветов, и не просто родня, но из одного с ней семейства.

В одной любопытной книжке (на русском языке ее нет) я вычитал более поэтическое, чем научное соображение, будто все цветы делятся на две основные сферы и строятся по двум основным схемам: пятилучевой и шестилучевой.

Во главе первой группы (независимо от принятой ботанической классификации) стоит роза (пять лепестков), во главе второй — лилия (шесть лепестков), и так они царствуют, две царицы цветочного царства. И как бы ни был мал иной цветок (незабудка, например, или ландыш), все равно либо та либо другая схема, то или другое подданство.

Попробую процитировать в приблизительном переводе с немецкого:

«Кульминациями этих двух классов являются возглавляющие их Роза и Лилия. Они — королевы в своем царстве. Подобно Солнцу и Луне господствуют Роза и Лилия в царстве растений. Они несут в себе сияние прадревних культур. Мудрецы Востока старались над их введением в культуру. Все лилии несут в своем цветке шестиконечную звезду Зоратустры. Но все плоды и ягоды происходят от розы. Из них выделены и наши хлебные злаки...»

Трудно принимать всерьез подобные рассуждения, тяготеющие к космическому происхождению земных растений и даже всей жизни на земле, но сама по себе идея двух великолепных цариц невольно привлекательна и красива.

Впрочем, говоря о нашей маленькой травке, мы имели в виду сухую научную классификацию, по которой без всяких дополнительных и едва ли не метафизических идей манжетка обыкновенная безоговорочно принадлежит к семейству розоцветных.

Представим себе, что соберется розоцветное семейство, ну, хоть на выставке, если бы люди захотели устроить такую выставку. Почетное тронное место заняла бы, конечно, роза — семь тысяч сортов и столько же цветовых оттенков. Бархатные, шелковые, просвеченные солнцем, с темной тенью, залегающей в складках лепестков, белоснежные, желтоватые, желтые, пурпурные, пунцовые, бордовые, алые, черные, лиловые... Не хочет быть роза только голубой. Ну, это уже ее дело.

В сторонке, скромно расположится, придя на сбор розоцветных шиповник, называемый, правда, в ботанике розой собачьей, но от которого и произошли, собственно говоря, все семь тысяч махровых сортов. Как будто съехались городские красавицы в модных нарядах, ослепляют и завораживают, но храня достоинство, сидит в сторонке приодетый для праздника деревенский дед, от которого и пошло все это яркое, пышное потомство.

Не ударит в грязь лицом на празднике розоцветных и яблоня, когда белой невестой встанет она на весенней тихой заре и розовато светится и манит пчел.

Не бедной родственницей на речном берегу, над темной лесной водой, заглядевшись в черное зеркало, обольется белым цветом черемуха.

Ярко-розовый персик (цветущее дерево), миндаль, вишня и слива — у каждого дерева своя стать, у каждого цветка своя пора, свое место под солнцем, своя тихая безмолвная гордость.

Спустимся ниже. Кустик лесной земляники, пришедший на смотр розоцветных, скромнее, конечно, цветущего миндаля, но он с достоинством предстал пред светлые очи самой царицы: хотите гоните, а я — ваш. А в общем-то, если посмотреть, чем мои пять белых и чистых лепестков отличаются от таких же белых лепестков цветущего

вишенья? Их больше. Белыми облаками лежат они среди весенней земли, украшая и преображая вид деревень, небольших городов, всего пейзажа. Но, зайдя в сосновый лес, разве не обрадуетесь вы, увидев целые поляны в нашем белом цвету?

Все так. Но что это там у порога за невзрачная травка? Замухрышка и замарашка? Как смела она войти сюда, к розоцветным? Гоните нахалку вон!

— Я не виновата,— чуть слышно ответила бы невзрачная травка.— Я ваша родня. Я — розоцветная, поглядите в любую книжку.

— У тебя и цветка-то путного нет.

— Что поделаешь. Цветок есть, только он очень мал. Я уж стараюсь, собираю несколько цветков в один клубочек, но и клубочек мой не похож на настоящий цветок, а похож на зеленую, жесткую еще ягоду моей далекой сестрицы лесной земляники. Но я должна сказать, что люди меня знают, выделяют из остальных трав и по-своему любят.

— За что же? Не за родство ли с ними?

— Нет. Дело в том... Что у меня листья.

— Ну покажи, какие-такие у тебя особые листья?

— В ученых книгах их называют многолопастными, городчато-игольчатыми, но это ни о чем еще не говорит. Лучше вы поглядите сами.

Наклонившись или подняв до себя, мы увидели бы лист, который не только нам хорошо знаком, но который не однажды пробуждал в нас огонек восторга. Причем восторг этот относился не к листу, не к растению в целом, а к лугу, через который мы шли к косогору, на который мы смотрели, к утренней заре, и, наконец, просто к жизни.

Резной по краям листочек собран в гармошку и свернут воронкой. Покрыт мелкими волосками.

— Ну и что особенного в твоем листе? — может быть, стали бы спрашивать знатные родственницы скромную манжетку. Лист как лист. Все дело, что похожа на воронку.

— На горстку. В моем листе собирается влага. Средневековые алхимики считали, что это самая чистая влага, которая только может быть на земле. Они надеялись, что именно при помощи ее научатся превращать простые вещества в благородное золото. Иногда это моя собственная

влага, иногда небесная роса, иногда капли дождя. Со всех ваших листьев вода, как вы знаете, скатывается, а в моем листе собирается. Поэтому, когда люди идут по росистой земле, они видят большие округлые капли светлой влаги, иногда настолько большие, что можно даже схлебнуть губами. Мои ворсинки не дают росе растекаться по всему листу и делать его просто мокрым. У меня так: весь лист сухой, а середка, на дне воронки — округлый упругий шарик, который от собственной тяжести становится плосковатым, сплюснутым, но все равно округлым и серебристым. Я ничего не говорю, красива капля небесной влаги и просто на стебле, на колосе, а тем более на розовом лепестке, но все же без сверканья моих полновесных и драгоценных капель земля проиграла бы в своей красоте.

Если есть на свете роса, значит, кто-то должен собрать ее, чтобы всякий мог насладиться вкусом. Но и роса это еще не напиток по сравнению с той влагой, которую выделяю и дарю миру я сама. И птицы пьют с моих листьев, и дети, и некоторые взрослые, у которых не все еще выхолостилось и заглохло в душе, для которых не все еще свелось к граненому стакану, для которых лес не просто стройматериал и дрова, луг не просто центнеры сена, небо не просто место, где летают самолеты и спутники. А главное — которые не ленятся еще и не стыдятся опуститься на колени перед малой травинкой, держащей в себе каплю влаги, а в капле влаги, между прочим, и луг, и лес, и самое небо.

* * *

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Метерлинк. «Разум цветов»

«Если встречаются незадачливые и неловкие растения и цветы, то отсюда не следует, что они совершенно лишены мудрости и изобретательности. Все ревностно стремятся совершить свое дело: у всех великолепная, самолюбивая мечта наполнить и завоевать поверхность земного шара, умножая на ней до бесконечности тот вид существования, который они собою представляют. Чтобы достигнуть этой цели, им приходится вследствие закона, прикрепляющего их к почве, преодолевать большие трудности, чем те, которые препятствуют размножению жи-

вотных. Поэтому большинство из них прибегают к хитростям, к комбинациям, к приспособлениям, которые в смысле механики, баллистики, передвижения, наблюдений, хотя бы, например, над насекомыми, часто предшествовали изобретениям и познаниям людей».

«Если для нас бывает трудно открыть среди обременяющих нас законов тот, который с наибольшей тяжестью давит на наши плечи, то для растений в этом отношении сомнений не существует: это тот закон, который осуждает их на неподвижность со дня рождения их и до самой смерти. Им гораздо лучше, чем нам, рассеивающим свои силы, известно, против чего восставать в первую очередь... Мы увидим, что цветок дает человеку героический пример неповиновения, отваги, упорства и изобретательности. Если бы мы приложили половину той энергии, которую развил маленький цветок нашего сада для того, чтобы освободиться от различных давящих на нас неизбежностей... то должны верить, что наша судьба была бы весьма отличной от того, что она представляет из себя теперь».

«...воздушный винт клена, прицветники липы, воздухоплавательный снаряд чертополоха, одуванчика, козлобородника, разрывные коробочки молочаев, необычные приспособления ослиного огурца, волокнистые прицепки пушицы и тысяча других неожиданных и поразительных механизмов... нет ни одного семени, которое не изобрело бы какого-нибудь вполне своеобразного способа, чтобы избежать материнской тени...

Есть в этой доброй, толстой головке (речь идет о маке.— *В. С.*) осторожность и предусмотрительность, достойная самых больших похвал. Известно, что она заключает в себе тысячи маленьких, черных семян, крайне мелких. Надо рассеять эти семена насколько возможно удобней и дальше. Если бы коробочка, содержащая их, лопнула, упала или открылась бы снизу, драгоценная черная пыль образовала бы бесполезную кучку у подножия стебля. Но она может выйти наружу только через отверстия, проколотые наверху оболочки. Головка, созрев, нагибается на своей подножке, «кадит» при малейшем ветерке и буквально рассеивает, даже с движениями сеятеля семена в пространстве».

«Когда наступает время цветения (речь идет об одном водяном растении.— *В. С.*), осевые мешочки наполняются воздухом: чем более этот воздух стремится выйти, тем плотнее запирает он клапан. Наконец, он облегчает удельный вес растения и выносит его на поверхность воды. Только тогда распускаются прелестные маленькие желтые цветки... Но вот оплодотворение закончено, развивается плод, и роли меняются; окружающая вода давит на клапаны мешочков, вдавливает их, проникает в полость, отягчает растение и заставляет его вновь спуститься на дно.

Не любопытно ли видеть собранными в этом маленьком, с незапамятных времен существующем аппарате некоторые из самых плодотворных и недавних человеческих открытий: механизма клапанов, давления жидкости и воздуха, и закона Архимеда, изученного и использованного?.. Инженер, который первый привязал к потонувшему судну подъемный аппарат, не подозревал, что аналогичный прием практикуется уже в течение тысячелетий... пришедшие последними на эту землю, мы только находим то, что всегда существовало; мы, подобно удивленным детям, повторяем путь, который жизнь прошла уже до нас».

* * *

Как размножается папоротник? Дети до 16 лет не допускаются.

Да господи! С пятого класса каждый знает, что папоротник никогда не цветет, а размножается спорами. Поэтому и легенда родилась в народе, будто он все-таки цветет, но только одну ночь в году, а именно в ночь на Ивана Купала, то есть с 6-го на 7-е июля по новому стилю. И надо идти в полночь в глухой лес и смотреть на папоротник. И когда он зацветет огнем, то схватить, и это будет разрыв-трава.

Но это все сказки — добавит школьник, потому что папоротник размножается спорами. На обратной стороне листа вырастают ржавые бугорки. Если положить папоротник на бумагу этой стороной, то через некоторое время на бумаге останется коричневая пыль. Даже и не разглядишь, что это пыль, просто лист пойдет бурыми пятнами, сделается как бы грязным. Это и есть споры. Пятьдесят миллионов спор от одного экземпляра папоротника. Теперь представьте себе большой хвойный лес с ореховым

подлеском, заросший внизу широколистыми и как бы экзотическими папоротниками, и постарайтесь прикинуть то количество нулей, которое потребуется, чтобы выразить арифметическим числом общее количество спор, просыпаемых ежегодно на землю. А ведь должно еще остаться место для семян кислицы, для клубней любки, для пуха одуванчиков, для крыльчаток вяза и клена, для косточек черемух, для шишек сосен и елей, для всех деревьев и трав, мхов и грибов (тоже споры), число видов которых тоже выражается при помощи многих нулей.

Что ж тут удивительного, скажет иной человек, что пятьдесят миллионов спор. Природа щедра. Икринки в утробе налимьей, щучьей и осетровой самки тоже исчисляются миллионами. Природа хочет гарантировать продление и существование вида. Тогда интересно задуматься, сколько от одной любой пары живых существ, извергающих в океан биосферы миллионы и миллиарды своих зародышей, должно в конце концов произойти и остаться на земле живых особей производящих в свою очередь потомство. И сколько должно остаться на земле в конце концов этого своеочередного потомства?

Здравый смысл подсказывает, что от слонов и осетров, от горьких лопухов и медведей, от воробьев и муравьев, от саранчи и мышей не должно в конечном счете происходить больше двух штук и ни на одну сотую долю больше.

Два от двух — это допустимый природный максимум. Если будет два с четвертью (мышонка, котенка, василька, ромашки, крапивы, лягушки, карася или комара), то этот вид, как нетрудно догадаться, через некоторое время завалит и задавит своей биологической массой все пространство, отведенное для жизни на земле.

Итак, сколько бы ни было миллионов икринок, спор, семян — все погибнут, чтобы оставить после себя два, максимум два экземпляра живых существ.

Но мы отвлеклись. Мы решили взглянуть, как размножается папоротник и предупредили при этом, что дети до 16 лет не допускаются. Между тем, как раз дети нам и говорят: подумаешь — папоротник! Всякому школьнику известно, что папоротник размножается спорами. Коричневые бугорки на обратной стороне листа... картина ясна.

Ясна-то ясна. Но оказывается, из спор новые папоротники не вырастают. Сначала происходят события, которые

куда как чудеснее, если бы папоротник вдруг и, правда, зацвел огнем.

Не буду внушать вам, что все это я открыл сам в результате многолетних наблюдений при помощи современных микроскопов. Тогда я был бы не «литератор скромный», а ботаник и доктор биологических наук, никак уж не меньше.

Нет, все проще. Все идет от неутраченной еще до конца способности удивляться. Это и чудно и чудесно. Общие процессы нашего времени касаются и меня. И только некий здоровый консерватизм — врожденный или благоприобретенный, я не знаю — удерживает еще меня на плаву (или, скажем, на отвесе горы), когда все катится мимо: и камни, и комья, и дорогие товарищи мои, а я ухватился за крепкий обнаженный корень сосны, и повис, и остановился, и в глазах у меня вместо катастрофического мелькания неподвижный микропейзаж: ствол сосенки, каменная щель, из которой этот ствол растет, пятно зеленого мха на камне и белое меловое пятнышко от высохшей птичьей капли.

Кто-то из русских писателей в начале века сказал (приблизительно): «Произошло два события одинаковой важности: люди научились летать и люди разучились удивляться этому».

В Писательском (!) клубе в фойе смотрели в телевизоре, как впервые люди ходят по Луне. По другой программе должен был начаться хоккей. То и дело слышались голоса: хватит! Давай переключай. Подумаешь, ходят!..

Без удивления и я сажусь в самолет, беру в рот леденец, откидываю кресло. Иногда только спохватишься: мать честная! Иногда только на пролетающий самолет посмотришь глазами моих деревенских пращуров, ну хоть четырнадцатого, пятнадцатого века (наше село упоминается уже в двенадцатом): зашумело, загрохотало, все высыпали из домов, бегут к церкви, не поймут в чем дело. Вдруг из-за леса вылетает чудовище: крылья — не крылья, морда — не морда, ноги — не ноги. Пресвятая мать-богородица! Конец света... Может быть, кто-нибудь тут же и умер бы от внезапной тоски.

Советский писатель свидетельствует, как ругалась старушка во Владивостокском аэропорту. «Билет на «ТУ-134» брали, а нам «ТУ-104» подсунули. Теперь лети на такой рухляди. Не полечу!» Вот тебе и все удивление.

Не знаю, отчего больше зависит горестная утрата способности удивляться — от роста культуры, от глубины знаний, от цивилизованности или от какого-то всеобщего отупения чувств, от обжорства этим самым техническим прогрессом.

Нет, я тоже перестал удивляться лунному грунту, зондированию Венеры, чудовищным скоростям на земле. Но парашютику одуванчика я — представьте себе — все еще удивляюсь. Я и книгу-то эту пишу, может быть, только для того, чтобы вы оторвали на минуту свой утомленный взгляд (а он у вас утомленный) от беспрерывного, бесконечного мелькания (телевизор, кино, автомобили, поезда, самолеты, прохожие, огни реклам, лифты, руки продавщиц, двери троллейбусов, эскалаторы, телефонные диски, весь мелькающий мир, когда он мчится и завихряется вокруг вас или весь мелькающий мир, когда вы мчитесь сквозь него со скоростью автомобиля, поезда, самолета) и остановили бы его, свой утомленный взгляд, на огромной неподвижной капле влаги, скопившейся в сборчатом и ворсистом листе манжетки. Или на парашютике одуванчика тоже неплохо остановить свой взгляд.

Вы подняли пушистый цветок над головой (кто же это сказал красиво и точно: «Одуванчик из солнца уже превратился в луны...»?) и дунули на него. Пушинки бойко и дружно взмывают вверх, потом относимые ветерком начинают наискось падать, опускаться на землю. И пока вы следите за ними, пока они летят сначала беленькие и четкие на фоне синего неба, а потом переплывут на фон зеленой травы, что-то успеет дрогнуть, оттаять в вас. Проклюнется из мертвого холода слабый первый, но симптоматический толчок душевного пульса, и вы поймете, что душа в вас жива, но только она заморожена, анестезирована...

Ну, так как же размножается папоротник, если из спор новые папоротники не вырастают? И при чем тут дети до шестнадцати лет? И зачем же тогда существуют споры?

Споры созревают и высыпаются на влажную землю. В лесу она всегда влажная, а если нет, то пойдет дождь — и она станет влажной. Это важно, потому что для всякого прорастания нужны два условия: тепло и влага.

— Значит, споры все-таки прорастут?

— Да, они прорастут, но не для того, чтобы из них

вырастали сразу новые, пусть и крохотные папоротнички. Из споры вырастает всего лишь зеленая пластиночка величиной с ноготь мизинца и даже еще поменьше. Она похожа на сердечко и называется у ботаников заростком. Если ходить в лес, в те места, где растут папоротники и поискать там в середине лета (в общем-то, действительно в день Ивана Купалы), то можно эти зеленые бляшки найти и разглядеть. Но скорее всего, в первый год вы увидите не сами заростки, а розеточки новых молодых папоротников, уже начавших развиваться, так сказать, на базе заростков.

Перевернув розеточку, увидишь и заросток, но уже сморщенный, потемневший, отработанный и ненужный. Наглядитесь на него хорошенько, запомните его, чтобы на будущий год легче было обнаружить где-нибудь у корней трухлявого пня, а то и на самом пне.

— Значит, из споры вырастает заросток, а из заростка папоротник? Что же тут особенного? Бесполое размножение...

— Далеко не так. От руки человека, от спины человека не отпочкуется новый человек. Он может вырасти только из половой женской клетки и притом оплодотворенной. У папоротника происходит все то же самое.

— Но у него нет цветка, нет мужских тычинок и женского пестика, нет пчелы, которая перенесла бы пыльцу...

— Но у него есть заросток. Зеленая бляшка, величиной с ноготок мизинца и похожая на сердечко. Так вот на этой зеленой бляшке вырастают рядом два органа, один женский, другой мужской... Между прочим, над лесом пролетает самолет, чудо техники двадцатого века, не хочется ли вам задрать голову и поглядеть, как он там летит в облаках? Смотрите, как интересно: два крыла, окна, хвост... Не хочется? Интереснее поглядеть на бляшку? Тогда смотрите... Женский половой орган (выписываю): «...по своей форме несколько напоминает бутылочку, в расширенной, утолщенной части которой располагается женская половая клетка — яйцеклетка, шейка же занята канальцевыми клетками, которые при созревании... ослизняются».

Мужской половой орган «...округлой формы, полый внутри, он имеет оболочку, которая при созревании спер-

матозоидов раскрывается, позволяя им выйти наружу».

Дальнейшее, очевидно, не трудно угадать. Если есть женский орган, похожий на бутылочку со специально осклизлым горлышком и таящий внутри себя яйцеклетку, и есть мужской орган, округлый и наполненный сперматозоидами, то им осталось соединиться, и тогда...

Но как им соединиться, если они оба на одной плоской бляшке? Соединиться им никак не дано, чем не шекспировский трагизм? И близко, и созрели, и предназначены друг для друга, но разделены неподвижностью, практической недосягаемостью, обречены на безмолвные танталовы муки.

Между тем в верхушках деревьев начинается робкое вначале шуршание дождя. Теплый июльский дождь с набежавшей тучки прошел охлаждающей полосой по зеленому лугу, по желтоватому полю и задел стеклянно-туманной кисеей, волочащейся по земле вслед за тучей, старый сосновый лес. На иголочках повисли светлые крупные капли. Перекапывая все ниже, сливаясь из трех в одну и отяжеляясь, они достигают нижних древесных ветвей, а потом и травы, а потом и земли. И вот одна прохладная капля упала случайно и накрыла собой всю зеленую пластиночку, похожую на сердечко.

Сразу же уточним, что это могла быть не капля дождя, а капля росы. Даже еще лучше. Еще спокойнее, без ненужного удара и расплеска, она охватила бы собой зеленую площадочку, накрыв ее подобно тому, как капля купола небес накрывает землю.

Я не случайно употребил это, впрочем-то банальное сравнение, потому что для сперматозоидов, дождавшихся своего часа и извергнутых мужским половым органом в эту прохладную каплю воды, она правда, по обширности, округлости и прозрачности должна напоминать свод небес, если бы, конечно, они могли воспринять ее во всем трепетном, дрожащем, просвеченном блеске. Ну или по крайней мере для них это Черное море, океан, в который выплывают они дружной, многочисленной стаей. Они, оказывается, снабжены жгутиками, похожими на штопор, и обладают способностью передвигаться в воде.

Им некогда любоваться тем океаном, в который они попали, некогда наслаждаться неожиданной свободой, у них есть главная и неотложная задача найти осклизлое горлышко женской бутылочки, незамедлительно проник-

нуть в нее, а там найти яйцеклетку, с которой соединиться и слиться. И тогда произойдет еще одно чудо — чудо оплодотворения («химизм которого нам неясен»), а потом уж и вырастет новый папоротник.

Сеанс окончен, зажигайте свет, пусть вбегают все дети. Мы видим теперь только старый пень, на который падает косой луч летнего, последождевого солнца, капли недавнего дождя, который ушел дальше и не знает, наверно, что натворил невзначай, и широкие резные листья папоротников, растения немного отличающегося от всех других трав, но все же вполне привычного нашему глазу и не удивляющего нас, когда мы его видим, отправляясь в лес по грибы или по орехи.

Но все же, пока дети еще не вбежали, хочется задать самому себе один вопрос, на который пока никто не ответил. Если бы я был ботаником, и, поскольку уже есть электрические приборы, улавливающие и записывающие импульсы растений, в частности, боль, то я употребил бы все усилия, чтобы на этот вопрос получить ответ. Есть ли у растений оргазм и в какой момент он возникает? Когда цветок принимает пчелу? Когда пыльца расстается с тычинкой? Когда пыльца попадает на пестик? Когда она прорастает сквозь пестик? Когда она сливается с яйцеклеткой? Когда лопается мужской орган, выбрасывая сперматозоиды? Когда сперматозоиды находят горлышко женского органа? Когда проникают в него? Но что до этого листьям взрослого папоротника?

Между тем, где-то должна существовать та манящая, призывная стадия, которая вложена природой, как надежный саморегулятор во всякий организм, дабы он несмотря ни на какие препятствия стремится породить подобный себе организм, может быть, это самое гениальное изобретение природы, после которого она может позволить себе иногда вздремнуть на диване или в глубоком кресле: все равно живые творенья теперь ничем уж не остановишь, оргазм вмонтирован в них и делает свое дело. Нет никаких сомнений, что он присутствует всюду, где есть то, что мы называем половым размножением, включая и папоротник, и подсолнух, и василек, поскольку, как мы знаем, в течении этого процесса у них, у рыбы, у бегемота и у гомо сапиенс нет никакой принципиальной разницы.

* * *

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

М. Метерлинк

«Тычинки, спокойные и покорные ждут в желтом венчике (речь идет о процессе оплодотворения у руты), размещенные кругом вокруг толстого и коренастого пестика. В брачный час, повинуясь приказу супруги, которая явно делает что-то вроде призыва, один из самцов приближается и касается стигмата, потом то же делает третий, пятый, седьмой, девятый, пока не кончится весь нечетный ряд. Затем — очередь четного ряда: второго, четвертого, шестого и т. д. Это прямо любовь по приказу. Этот цветок, умеющий считать, казался мне столь необычным, что я сперва не мог поверить ботаникам и старался не раз проверить его чувство чисел. Я установил, что он ошибается очень редко».

«...Наш механический гений существует со вчерашнего дня, в то время как механика цветов функционирует уже тысячелетия. Когда цветок появился на нашей земле, вокруг него не существовало никакой модели, которой он мог бы подражать. В ту пору, когда еще мы знали только мотыгу, лук, в недавние времена, когда мы изобрели колесо, блок, таран, в то время,— так сказать, уже в последний год,— когда нашими шедеврами были катапульты, часы и ткацкое искусство, шалфей уже изобрел вращающиеся перекладины и противовес своих точных весов. Кто еще менее ста лет тому назад мог подозревать о свойствах Архимедова винта, употребляемого кленом и липой со дня рождения деревьев? Когда удастся нам построить столь же легкий, точный, нежный и верный парашют, как у одуванчика? Когда откроем мы секрет вставлять в столь хрупкую ткань, как шелк лепестков, такую могущественную пружину, как та, которая бросает в пространство золотистую пыльцу дрока? А момордика, или «дамский пистолет», кто разъяснит нам тайну ее чудесной силы?.. Ее мясистый плод, похожий на маленький огурчик, обладает замечательной живучестью, необъяснимой энергией. Как бы слабо ни прикоснуться к нему в момент его зрелости, он внезапно, конвульсивным сокращением отрывается от своей плодоножки и выбрасывает в отверстие,

образованное разрывом, слизистую струю, смешанную с зернами, со столь удивительной силой, что она отбрасывает семена на четыре, пять метров от родимого растения. Это действие столь же необычно, как если бы нам удалось, сохраняя те же пропорции, выбросить одним спазматическим движением все наши органы, внутренности и кровь на полкилометра от нашей кожи или нашего скелета...»

«Пусть говорят по поводу орхидеи, как по поводу пчелы, что это природа, а вовсе не растение, или насекомое вычисляет, комбинирует, украшает, выдумывает и рассуждает,— какой интерес может иметь эта разница для нас? Важно уловить характер, качество, обычаи и, быть может, цель общего разума, из которого вытекают все разумные акты, совершающиеся на этой земле».

«Природа, когда хочет быть прекрасной, нравиться, давать радость и казаться счастливой, делает почти то же, что делали бы мы, если бы располагали ее сокровищами. Я знаю, что, говоря так, я говорю отчасти как тот же епископ, который поражался, что провидение заставляло проходить большие реки около больших городов».

«Не будет, думается мне, слишком смелым утверждать, что нет существ более или менее разумных, но есть общий, рассеянный разум — нечто вроде всемирного тока,— проникающий различно, в зависимости от того, хорошие ли они или плохие проводники разума — встречающиеся ему организмы. Человек является до сих пор на земле тем видом жизни, который оказывает наименьшее сопротивление этому току, но ток этот не обладает другой природой, не исходит из другого источника, чем тот, что проходит в камне, в звезде, в цветке или в животном... Но это тайны, вопрошать которые — довольно праздно; потому что мы пока еще не располагаем органом, который мог бы воспринять ответ».

* * *

Если правда, что существует спор между прозой и поэзией, то вот точка, о которую ломаются копья. Причем, вот странный случай, когда при всей очевидности прозаической правоты, легкомысленная поэзия остается победительницей.

Давно втолковали людям, что это растение вредоносный и злой сорняк, а люди, когда спросишь о любимом цветке, продолжают твердить по-прежнему: василек. Просветительский агрономический разум вскипает в бессильной ярости перед чудовищной обывательской тупостью, а тупой обыватель (обывательница) очарованно смотрят на синий-синий цветок и срывают его, не только не испытывая никакой враждебности и ненависти, но радуясь и любя. И ничего уж тут с этим не поделаешь. Такова власть красоты.

Сорняк, да красив! Да, полно, сорняк ли он? Такой ли уж он сорняк? И что такое сорняк?

«Хищник — это животное, поедающее другое животное, которое вы хотели бы съесть сами» *(У. О. Нагель).*

«Дело в том, что нет ни растения, ни животного, а есть один нераздельный и органический мир» *(Тимирязев).*

Может быть, мы не разгадаем многих тайн, пока будем считать, что рожь и василек — два раздельных растения, а не один биологический организм.

Эта мысль не моя, хотя я и не взял ее в кавычки. Я ее вычитал в ученой статье, но по непростительной оплошности почему-то не записал и теперь воспроизвел приблизительно, по памяти, но за смысл, разумеется, ручаюсь.

Есть еще о сорняках у замечательного белорусского писателя Янки Брыля.

«— Скажи ты, браток, что это делается? И семя дали сортовое, и химпрополка у нас, а осота — сплошь полно. Так и прет, так и прет!..

— А что ты хочешь? Тогда, при единоличестве, как ты на посев выезжал? Баба тебе и фартук помоет беленько и перекрестишься ты, и, став на колени на пашне, наберешь того жита... ну просто праздник у тебя! А теперь? Только мать да перемать один перед одним... Вот сорняк и лезет!»

В сказанном — народный толк: мало любви к земле. (Янка Брыль, «Горсть солнечных лучей», «Советский писатель», 1968, стр. 62. *Перевод с белорусского Дм. Ковалева*).

Согласимся, что и действительно только от нерадивости земледельца сорняки на его ниве могут заполнить поле и победить злаки. Только по своей нерадивости земледелец создает (вернее, допускает) равные условия для

сорняков и для злаков (демократия, что ли?), но истинный хороший земледелец делать этого никогда бы не стал. Он знает, что при одинаковых условиях сорняки победят. Так что, когда увидите где-нибудь близ дороги поле, сплошь заросшее ромашкой, осотом или теми же васильками (а такие поля вы увидите всюду), то не сваливайте вину на ромашки и на васильки, а смело обвиняйте хозяев данного поля.

Но кроме того, если признать философию белорусского крестьянина, разговор которого подслушал чуткий писатель, а именно, что похабные, мерзкие, матерные слова оборачиваются на поле сорняками, то неужели можно представить себе, будто грубое, грязное, слово может превратиться в изящный и чистый василек? Никоим образом, никогда!

В колючий жабрей — возможно, в осот полевой — допустим, но в чистый и ясный василек? Нет, в этот цветок явно вложена какая-то иная идея.

Если бы он был злостным сорняком, то крестьяне (русские, немецкие, всякие) давно бы, задолго до появления начитанных агрономов, возненавидели его и эту свою неприязнь сумели бы передать детям, воспитать в поколениях крестьянских детей, как это произошло, скажем, с мышью, со зверьком вообще-то милым и симпатичным, если бы не воспитание, перешедшее в плоть и в кровь.

Полевка-малютка, вьющая себе гнездо на стебле ржи,— казалось бы, трогательная картинка. Чем этот, с наперсток величиной зверек, не милее, не симпатичнее такой же крохотной лесной птички? Однако при слове «птичка» мы слышим в себе доброжелательную симпатию и умиление, а при слове «мышонок» — отвращение, брезгливость и немедленную готовность убить, пресечь.

Василек же мы любим и любуемся им, едва ли не больше, чем самим колосом ржи. Поэзия победила пользу? Но дело в том, что поэзия тут только тогда и возникает, когда васильки расцветают во ржи. Я видел васильки, растущие на городских клумбах и на газонах. В них не только не было никакого очарования, на них было почему-то неприятно смотреть. Они выглядели выцветшими, хилыми, производили даже неряшливое впечатление, тщетно было бы искать в них той полной, сочной и как бы прохладной синевы, какая свойственна им, когда они цветут на своем месте — во ржи.

Между прочим, именно василек может научить нас, что в произведении искусства все изобразительные средства должны гармонировать и небрежение хотя бы одним из них резко ослабляет художественную силу произведения.

Берем другой цветок, который по схеме, по чертежу почти не отличается от нашего василька. Он так и называется «василек», но с добавлением словечек «перистый и фригийский» и тяготеющий не к хлебным полям, а к лугам и кустарникам.

Да, чертеж тот же самый, не соблюдены только два условия: размер и цвет. Фригийский василек крупнее и лепестки у него лилово-пурпурные и темно-красные. И вот уж средний читатель начнет сейчас думать, о каком таком цветке идет речь. Вероятно, вспомнит. Но разве нужны такие же усилия, чтобы вообразить василек обыкновенного василькового цвета?

Говорилось о неприязни, которая должна была бы, казалось, существовать у крестьян к васильку, как в траве бесполезной и сорной. Но мало того, что не было никогда такой неприязни, василек с древних времен участвовал во многих красивых обрядах и празднествах.

Во Владимирской губернии в некоторых местах был обычай, называемый «водить колос». То ли обычай, то ли хороводная игра, то ли народная песня, то ли поэма, но выраженная не в словах, а во внешнем действии.

Около троицына дня, когда начинает колоситься рожь, выходили на околицу девушки, парни, молодые женщины, подростки. Молодые люди становились все лицом друг к другу и брались за руки крест-накрест, как берутся, когда хотят образовать сиденье «стул», чтобы нести человека, например: подвихнувшего ногу.

По соединенным таким способом рукам пускали идти маленькую девочку в васильковом венке. Задние пары, по рукам которых девочка уже прошла, перебегали вперед. Так девочка, не касаясь земли, доходила до ближнего поля. Впрочем, оно колосилось всегда где-нибудь поблизости от крайних деревенских домов. Тогда девочка спрыгивала на землю, срывала несколько колосков, бежала с ними в село и бросала их возле церкви. Шествие к ржаному полю сопровождалось песней.

Зажиточный сноп, который ставили иногда в переднем углу, тоже украшали васильками или васильковым венком.

Если же вы будете настаивать, что все-таки василек не больше чем вредитель, то тем удивительнее — скажу я,— что он сумел, несмотря на свою вредоносность, внушить нам, людям, расположение к себе и даже любовь.

Относительную пользу тоже нельзя сбрасывать со счетов. Василек — прекрасное средство для укрепления глаз. У Монтеверде читаем, что васильковые «цветы дают пчелам обильный взяток меда даже в самую сухую погоду».

Вспоминаю, как Иван Александрович Крысов — пчеловод из-под Вятки — удружил мне ведро василькового меда, цвета зеленоватого янтаря. Бывает такой янтарь, похожий на виноград.

Грешно говорить про хлеб, но я бы то драгоценное ведро зеленоватой тягучей жидкости не променял ни тогда, ни теперь задним числом, а вероятно, даже и в голодовку, на ведро уважаемой мной сыпучей ржи или муки из нее.

Но дело вовсе не в этой относительной пользе василька. Я подозревал, что они существуют и действительно набрел в специальной литературе на сведения о васильке и о его роли на хлебной ниве, подтверждающие безошибочность крестьянской интуиции, благодаря которой они и относились к васильку во все века с несомненной симпатией, вопреки поверхностной очевидности.

Наука — вещь многослойная. Копнут снаружи, ухватятся за первое звено цепочки закономерностей и думают, что ухватились за истину. Но цепочка повела в глубину, во тьму, и уже третье звено ее опровергнет скоропалительные заключения и все выворачивает наизнанку.

Но прежде чем говорить о полезности василька, придется сказать сначала несколько слов о почве.

Почва — это то, что все люди зовут обыкновенно землей, в самом прямом смысле слова. Но когда требуются более строгие формулировки, то приходится тем же людям искать уточняющие слова, вроде: «Поверхностный горизонт земной коры, измененный совокупной деятельностью агентов выветривания при одновременном накоплении органических веществ... Самостоятельное естественно-историческое тело — продукт окружающей природы, живущий и закономерно изменяющийся под влиянием внешних условий... среда, служащая для питания растений» (Брокгауз и Ефрон).

А также: «Поверхностный слой земной коры, несущий на себе растительный покров суши земного шара и обладающий плодородием. Образование почвы и развитие растительного покрова неразрывно связаны между собой» (Б. С. Э).

Специалисты — биологи — смотрят на почву еще и своим особенным взглядом. Они считают, что почва — это живой организм, обладающий специфическими условиями жизнедеятельности и развивающийся по собственным законам.

Хорошая, здоровая почва содержит, оказывается, на одном гектаре до 800 кг земляных червей (до 15 миллионов штук), а также около 4000 кг бактерий актиномицетов и простейших. Все эти тысячи килограмм бактерий (не будем переводить их на штуки) занимаются тем, что превращают минеральные соединения из нерастворимого состояния в растворимое, усваиваемое растениями.

Известно, что всю существующую почву несколько раз уже пропустили через себя дождевые черви. А если бы не пропустили, она не была бы такой, как сейчас, а, возможно, и вообще не была бы почвой. Дождевые черви — главная фабрика гумуса в почве, без которого почва погибает и становится бесплодной землей. Подземные труженики — дождевые черви — дают почве удобрений не меньше, чем все пасущиеся на земле коровы. Но у них есть и еще одна задача: проникая глубоко в землю, они выносят оттуда в пахотный слой нужные минеральные вещества. Известны случаи, когда почва, в которой не было дождевых червей, оказалась бедной кальцием, в то время как под ней, на доступной червям глубине, лежал известняк.

Итак, почва — это биологический организм, от здоровья которого зависит его жизнедеятельность, а в первую очередь, произрастание всевозможных растений. Теперь возьмем несложный пример. Допустим, мы заинтересованы, чтобы в лесу водилось побольше рябчиков, жизнь которых связана с хвойными деревьями. Замечаем, что хвойные деревья хиреют, их становится меньше, а вместе с тем редеют и рябчики. У нас два пути. Один путь — подкармливать рябчиков искусственно, химическими питательными таблетками, скажем, рассыпая их по лесу с самолета. Второй путь — ухаживать за хвойными деревьями, умножать их, улучшать их, всячески заботиться о них

и тем самым способствовать многочисленности рябчиков.

Возьмем еще одно дополнительное условие: допустим, что от химических таблеток, рассыпаемых для рябчиков, хвойные деревья погибают и вымирают. Спрашивается — какой выбрать путь, если мы хотим, чтобы были рябчики. И не только для нас, но и для наших внуков? Всякий здравомыслящий человек скажет, надежным путем надо считать второй путь — путь ухаживания за хвойными деревьями.

Точно также и в сельском хозяйстве надо работать совместно с природой, а не против нее. Переносить закономерности фабричного производства целиком на сельское хозяйство нельзя. Главной рабочей силой здесь являются солнце и микрофлора почвы. Поэтому главное состоит в том, чтобы создать наилучшие условия для их деятельности. Не подкормка растений, а питание почвы. Подкормка — это допинг, при котором, как известно, достигаются временные, даже и неожиданные результаты, но весь организм в целом работает на истощение, на износ.

Между тем разумное, цивилизованное человечество идет по заведомо ложному пути. По принципиально ложному пути. Только и слышно на земном шаре: подкормка растений, минеральные удобрения, гранулированные удобрения, суперфосфаты, химическая прополка.

Нетрудно догадаться, что вся эта химия убивает в почве все живое, и бактерии, и червей, то есть, по существу говоря, убивает почву. Кроме того, она ухудшает коллоидные свойства почвы, ее структуру. Кроме того, она, вся эта химия, используется крайне не эффективно, незначительно, потому что тотчас уходит в нижние слои почвы и переходит в нерастворимое состояние. Например, фосфор, вносимый в почву, используется на два процента.

Хороший гумус связывает большое количество воды и постепенно отдает эту воду растениям. В минерализованной же почве вода не задерживается. А не надо забывать, что на каждый килограмм зерна для его созревания требуется 500 литров воды.

Убитая почва начинает подвергаться эррозии. Говорят, что в США не меньше одной трети всей почвы затронуто этим губительным процессом. Говорят, что минеральные удобрения делают богатыми отцов и бедными де-

тей. Говорят, что если европейские страны и Америка будут и дальше опираться в сельском хозяйстве на минеральные удобрения, то в конце концов они превратятся в новую пустыню — Сахару.

Животные поедают растения. Продукты выделения животного мира должны возвращаться растениям через почву, однако, переработанные ее очень сложной и многообразной жизнедеятельностью, простой метод — вали в землю как можно больше навоза — тоже не соответствует уже уровню нашей цивилизации. Навоз хорош для растений только в переработанном почвой виде. И вот тут-то человек может почве помочь, компостируя и ферментируя органические отходы нужным образом. Это — будущее сельского хозяйства, если мы хотим еще пожить на земном шаре. При уходе за почвой мы сталкиваемся с замечательным явлением, ради которого пришлось сделать столь далекое и скучное (но, надеюсь, не бесполезное) отступление. Замечено, что в содержимое компостов полезно добавлять настои некоторых трав: валерианы, одуванчика, крапивы, ромашки, тысячелистника. Замечено, что экстракты некоторых растений даже в очень больших разведениях оказывают влияние на жизнедеятельность бактерий, находящихся в почве. И, наконец, замечено, что таким действием обладают не только экстракты, но и выделения в почву из корней живых растений.

Опыт показал, что если к ста семенам пшеницы добавить двадцать семян сорняка-ромашки, то произойдет угнетение пшеницы. Если же добавить к ста семенам только одно семечко, то пшеница вырастет лучше, чем если бы она выросла совсем без этого сорняка. Такие же результаты получаются, если взять вместо пшеницы рожь, а вместо ромашки васильки!

А что значит на сто стеблей ржи один василек, на сто золотых колосьев одна синяя яркая головка? Я не подсчитывал специально, но неужели на одном квадратном метре умещается всего сто стеблей? Не двести, не триста ли? Тогда вполне допустимы на квадратном метре два-три василька. То есть именно та картинка, которая обычно радует глаз. Больше — впечатление засоренности, неряшливости поля. Меньше или, когда совсем нет — чего-то как будто не хватает.

О симбиозе, о взаимополезности сожительства разных

видов растений и животных написано много книг. Сожительствуют грибы и деревья, грибки и водоросли, гидры и водоросли, мы помним классически-школьные симбиозы рака-отшельника и актинии, крокодила и птички, пасущейся в его раскрытой пасти...

Но все же мы видим чаще всего лишь внешнее проявление сожительства (гриб под березой) и не видим наглядно той взаимной пользы, которую приносят друг другу живые организмы. Мы не знаем насколько худосочнее было бы дерево, если бы вокруг него не росли грибы. А между тем в природе существует столь наглядный пример симбиоза, что результаты его можно рисовать, фотографировать, измерять на сантиметры и взвешивать на весах.

Идя по отлогим косогорам, по склонам оврагов, по суховатым лугам, внимательный человек заметит среди обыкновенной травы более темные и жирные зеленые полосы. По «ассортименту» трава на этих полосах растет та же самая, что и вокруг, но она значительно гуще, выше, сочнее и зеленее. Полосы бывают шириной до полуметра, а в длину они самые разные. Иногда лежит полоса подковой в четыре шага, иногда правильным кругом по десяти шагов, а иногда тянется бесконечной змеей через весь косогор. Я вижу их с детства (их нельзя не заметить), но долго относился к ним безразлично, не задумываясь об их происхождении и природе. В лучшем случае, я думал, что они проявляются на тех местах, где были коровьи лепешки и дорожки. И только совсем недавно, когда я увлекся собиранием луговых опят, открылся для меня секрет этих пятен.

Луговые опята — небольшие, тонконогие с кожистыми шляпками грибки, обладающие тонким ароматом и вкусом. За аромат их еще называют гвоздичными грибами. Может быть, и правильнее их так называть, потому что меньше всего они — опенки, опята: никаких пней там, где они растут, нет и в помине. Если все грибы «приписаны» каждый к своему дереву, кто к березе, кто к сосне, кто к осине, то луговой опенок — гриб исключительно травяной.

Эти мелкие грибки вырастают дружными стаями (единственно, что их роднит с опенками), но не кучами, а лентами, иногда закручивающимися и образующими подковы и круги. Их-то и зовут в народе ведьмиными кру-

гами. Отмечу, уж если зашел разговор, еще одну их особенность. Вылезши из земли, они очень нежны, даже и ножки, но потом, если стоит сухая погода, они быстро становятся кожистыми, жесткими, а через день-два ссыхаются и сморщиваются. Однажды от отчаяния я насобирал таких сохлых грибов, но дома их пришлось выбросить недалеко от калитки, под вишневое дерево. Ночью был дождь. А утром я удивился: откуда взялись под вишеньем свежие, чистые, нежные луговые опенки. Оказывается, на дожде они набухают, распрямляются и становятся опять нормальными грибами.

С некоторых пор я полюбил собирать их. Приходится вооружаться ножницами и стричь их пополам с травой, как стригут овец. Конечно, хорошо в грибном прохладном лесу, но есть своя прелесть и в просторных, размашистых, открытых взгляду, сердцу (и легкому ветерку) косогорах и луговинах.

Так-то вот, собирая луговые опята, я и заметил, что их дружные стаи вытягиваются и закручиваются только по тем самым темным травяным полосам, о которых шла речь. Эти травяные полосы возникают на месте грибницы лугового опенка и точно обозначают ее, залегающую под землей.

Симбиоз. Взаимная польза. Без травы эти грибы не выросли бы вообще (они не растут на голых бестравных местах), без грибов (без грибницы) трава заметно слабее, тощее, реже, ниже, бледнее цветом. Можно собрать с одинаковой площади ту и эту траву и получить разультаты симбиоза, выраженные в граммах.

Симбиоз василька и ржи не так заметен. Но разве ничего не значит, что трудно подобрать другой земной цветок, который так же удачно сочетался бы с золотом ржи, как это делает василек?

Земледельцу же остается заботится только о соотношении ржи и василька на поле, а это, как будто в человеческих силах.

* * *

Тишина — вот самый большой дефицит на земном шаре. Постоянное рычание и тарахтенье разнообразных моторов, движков, компрессоров, автомобилей, тракторов, мотоциклов (один мотоциклист, проезжая по ночному городу, заставляет вздрогнуть и проснуться примерно

20 000 человек), поездов, самолетов, лифтов, отбойных молотков и других механизмов, от шума которых современный человек не спасается даже в своем жилище, и даже ночью оглушают планету и делают ее, строго говоря, мало пригодной для жизни. Только величайшая невзыскательность и приспособляемость человека к обстановке, к среде, к условиям существования позволяют еще ему кое-как отправлять его не только биологические, но и общественные функции. Но это стоит нервов, нервов и нервов. И сердца. И психики. Поэтому наряду с тишиной становится дефицитной на земном шаре и валерьянка.

Прибавьте к этому современные скорости, современную вибрацию, современное мелькание мира перед глазами, прибавьте смертельно-ядовитые нервные газы, которые ежедневно в больших количествах вдыхает каждый городской житель (а теперь большинство людей живет в городах), прибавьте к этому вечную спешку, вечное ощущение «некогда», «не успеваю», то есть ощущение острого цейтнота, из которого шахматист выходит через час, хотя и проиграв партию, а современный человек выходит только вместе со смертью (преждевременной из-за того же цейтнота и вышеперечисленных обстоятельств), прибавьте к этому ежедневное добровольное облучение вредными лучами перед экраном телевизора, прибавьте к этому вечную нехватку денег, прибавьте к этому переизбыток всевозможной информации, злоупотребление антибиотиками, снотворными средствами, никотином, кофе и алкоголем. Прибавьте к этому всеобщее и постоянное стояние в очередях, прибавьте к этому скученность, обусловленную городами, и вы поймете, почему в аптеке трудно купить натуральный валериановый корень.

В каплях и таблетках валериана, слава богу, бывает, да и как бы можно было жить без нее, учитывая все те условия, которые я перечислил. И хорошо так же, что она бывает в настойках, а не в экстрактах, ибо чистое лекарственное вещество, извлеченное из растения, оказывается еще — не все, и два течения в фармацевтике парацельсовое и галеновое до сих пор не решили спора. Парацельс считал, что достаточно извлечь из растения основной препарат и давать его в виде порошка или таблеток. Сторонники Галена считают, что нужно применять настойки и вытяжки, в которых присутствует все, что есть в растении.

«Ценность этих препаратов заключается в том, что наряду с известными или еще неизвестными нам действующими веществами, из лекарственного растения извлекаются другие полезные вещества, роль которых в организме нам еще не совсем ясна: присутствие их благотворно влияет на физиологическую активность основных действующих веществ» (М. В. Сало, Медицина и растение, М., «Наука», 1968).

То есть, видимо, полезнее выпить стакан валерианового чая, нежели съесть таблетку, содержащую экстрагированное лекарственное вещество. Но где же взять валерьяновый корень?

В ВИЛАРе (Всесоюзный институт лекарственных растений) научный работник мне сказал: «С валерианой вопрос решен. Мы ее будем выращивать, как капусту».

Это и хорошо. Но я тотчас вспомнил изыскания Борахвостова, который раскопал где-то, что корень женьшеня, выросший в тайге, стоит пять тысяч рублей килограмм, а корень, выросший на плантации — всего лишь восемь рублей. Чем-нибудь обусловлена такая разница?!

Вероятно, семечко в естественных условиях прорастает только там, где находит необходимые условия для будущего растения, где есть в почве тот сложнейший комплекс веществ, который нужен, чтобы женьшень стал женьшенем, а валерьяна стала валерианой. Японские ученые предполагают, например, что настоящий, таежный женьшень выбирает места с повышенной радиоактивностью почвы.

Недаром всякое растение на земле знает свое место. Одно любит глину, другое растет на жирном черноземе, малина обожает древесную труху, ландыш расцветает в еловой тени, кипрей на лесных, открытых солнцу порубках.

Соседство других растений имеет не меньшее значение. Уже был разговор, что ромашка и василек полезны для пшеницы и ржи (в малых дозах), потому что их корни выделяют в почву нечто, что усваивают корни рядом растущих злаков.

Около тридцати лет назад советский ученый Борис Петрович Токин сделал открытие, которое по праву должно было бы называться открытием века. Он открыл фитонциды.

Каждое растение выделяет некие летучие вещества, которые либо благотворно, либо губительно влияют на

окружающую растение среду, в первую очередь на микроорганизмы, витающие в воздухе, но и на соседние растения тоже. В то время, как нам для того, чтобы стерилизовать рану, нужно прибегать к йоду, к марганцовке, к борной кислоте или, по крайней мере, к кипяченой воде, раненый древесный лист сам окружает себя стерильной зоной, излучая фитонциды и убивая в непосредственной близости всех бактерий, какие только тут окажутся. Вареное яйцо, облучаемое фитонцидами хрена, не протухает годами. Гектар можжевелового леса выделяет за сутки 30 килограммов летучих фитонцидов. Не удивительно поэтому, что одни травы и цветы могут расти в можжевелом лесу, а другие не могут.

Многие любители цветов, вероятно, замечали, что некоторые цветы нельзя соединять в одной вазе. Какой-нибудь один цветок быстро увядает, как бы задушенный, умерщвленный своим невольным соседом. Чтобы убедиться в этом, достаточно поставить в вазу пышноцветущие свежие розы и тюльпан. Увидите, как тюльпан расправится с розой (не напомнить ли вам, что тюльпан является подданым шестилепестковой лилии?).

Настоящие огородники знают, что иные огородные культуры хорошо соседствуют на грядах, а иные плохо и что есть так называемые бордюрные растения, которые хорошо разводить вокруг грядок и вдоль огородной тропинки. Глухая крапива, эспарцет, тысячелистник, укроп... Но обо всем этом можно прочитать в специальных книгах. Важно то, что соседство растений не безразлично каждому из соседей.

Можно выращивать целебные травы и на плантациях. Но создайте валерьяне на своей плантации ту же в тончайших тонкостях почву, что и на сыроватой низменной лесной поляне, или в овраге, или в кустах на речном берегу, окружите ее теми же травами и цветами, раскиньте над ней те же ольховые и черемуховые ветви, создайте ей такое же соотношение солнца и тени, такую же влажность в почве и воздухе, поселите неподалеку крапиву и зонтичные, напускайте на нее своевременно прохладный белый туман, что обычно поднимается от реки или стелется по дну оврага, заставьте в росистые ночи петь над ней соловья, соблюдайте еще десятки неведомых нам условий, тогда, может быть, и на плантации вырастет та же самая валерьяна, что застенчиво розовеет на той волглой

лесной поляне, где ей понравилось вырасти и расцвести.

Желая добыть корень подлинной дикой валерьяны, я пошел в лес и там в буераке нашел ее, растущую в тени. Вот растение, которому в наш суматошный век, в век истрепанных нервов, семейных скандалов, внезапных сердцебиений, изнурительных бессонниц и сдвинутой с места психики, надо бы поставить большой красивый памятник.

В то время, когда я старательно вынимал валерьяновый корень из земли и бережно отряхивал его мочку, за спиной послышался легкий кашель. Так покашливают, когда хотят обратить на себя внимание. Я обернулся и увидел незнакомого старичка с грибной корзиной в руке. Старичок глядел на корень в моих руках, на изломанное и брошенное теперь за ненадобностью тело самого растения и качал головой.

— Что-нибудь не так? — спросил я, имея в виду свои действия.

— Не вовремя берешь ты эти корни. Теперь еще утро. А их надо копать, дождавшись сумерек, и чтобы на небе был новорожденный месяц.

Старик помолчал и добавил:

— Ущербный месяц тоже ничего, хорошо. А вот полная луна не годится. Нельзя. Сила не та.

— У луны?

— У корня.

— А филин должен ухать или можно без филина?

Старичок обиделся и даже перешел на «вы».

— Как хотите, ваша полная воля. А растение, оно ничего вам не скажет, хоть утром его бери, хоть вечером, хоть в дождь, хоть в солнце.

Я понял, что старичок поделился со мной из самых хороших чувств и очень дорогим своим секретом, поделился потому, что впервые, может быть, встретил в этих местах второго после себя человека, заинтересовавшегося травой не только кормовой базой с точки зрения центнера на гектар, но учитывая ее особые индивидуальные свойства.

Почему получается, думал я потом, что именно соприкасаясь с травами, с цветами, с корнями, человек более всего склонен удариться в разные суеверия. Новорожденный месяц ему понадобился! Сумерки! Хорошо я ему

насчет филина-то ввернул. Разве далеко от этих сумерек и новорожденного (ущербного) месяца до поверья, например, что женьшень надо выкапывать только костяной, но ни в коем случае не железной лопаткой и нельзя быть при этом вооруженным?

Тогда я не задумывался еще, что человек склонен считать и считает на самом деле суевериями и мистикой все, что не может пока уложиться в привычные рамки своих микроскопических знаний и представлений. И что «много есть вещей на свете, друг Гораций, которые даже и не снились нашим мудрецам».

Попробуйте проделать следующий не сложный опыт. Для того чтобы исключить случайность, проделайте его многократно и выявите тенденцию. Например, восемьдесят случаев из ста можно считать законом.

Возьмите пять порций дистиллированной воды и кипятите ее отдельными порциями по двадцать минут в одной и той же посуде на разном источнике тепла: электричество, газ, уголь, дрова, солома. Потом в каждой из этих вод (остывших, конечно) в строго одинаковых условиях замочите какие-нибудь семена, скажем, пшеницу. Потом эти семена в равных условиях пусть прорастут у вас. Измерив длину листочков, вы убедитесь, что длина у них разная. Самые короткие будут у тех зерен, которые замачивались в воде, нагретой электричеством. Потом пойдут последовательно: газ, уголь, дрова, солома. Останется сделать вывод, что от соломы исходит самая благоприятная для растений теплота.

Если вы затем подвергнете испытанию не топливо, а посуду, то получите следующую цепочку (от худшего к лучшему): алюминий, железо, олово, медь, стекло, эмаль, фарфор, глиняный горшок, золото.

После всего этого утверждение дела насчет ущербной луны покажется грубым реализмом.

В конце вы увидите, проявив интерес, что древние вавилоняне собирали белену и дурман только ночью; что еще Плиний в своей 18-й книге «О естественной истории» (Натюргешихте) много говорит о влиянии фаз луны на растения, животных и человека.

В конце концов вы набредете на сведения, что при полнолунии в растения всасывается больше воды, чем в другое время. Стволы деревьев в полнолуние более влажны, водянисты, бревна и доски из них получаются худше-

го качества, быстрее гниют и легче поражаются всякими грибками и древоточицами. В старину лесорубы придерживались обычая рубить лес лишь в новолуние. В тропиках это соблюдают и до сих пор. Например, в Бразилии до сих пор существует обычай ставить на бревнах клеймо с указанием фазы луны, при которой дерево срублено. Плиний тоже упоминает, что дубы валят при убывающей луне.

Да и что удивительного! Если луна заставляет совершать приливы и отливы такой гигантский организм, каковым является наш земной океан, если приливы эти под влиянием луны происходят даже и в твердом веществе земли (в Москве, например, почва под влиянием луны опускается и поднимается почти на полметра), то тем легче повлиять ей, луне, на движение соков в дереве или в малой травке.

Теперь, представьте, что вы всего этого не знаете, а дед походя говорит: «Не руби дерево в полнолуние, его шашель съест». Разве вы не посмеетесь над его темнотой? Разве вы не увидите в нем суеверного человека, мистика?

Но если не мистика, что тепло от соломы лучше тепла от электричества, что дуб надо валить не в полнолуние, а на ущербе луны, то, может быть, не мистика и то, что валерьяновый корень надо выкапывать в сумерки, при новорожденном месяце и даже то, что женьшень надо выкапывать костяной, а не железной лопаточкой. Просто, в луне мы уже разобрались, и нам теперь все тут ясно, а в костяной лопаточке пока еще не разобрались. Вдруг и ей, костяной лопаточке, есть какое-нибудь свое неожиданное объяснение, которое будет казаться нам потом до смешного простым.

* * *

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Тимирязев. «Жизнь растений»

«Наиболее выдающаяся черта в жизни растения заключена в том, что оно растет».

«Убедившись, что в прорастающем семени совершается в существенных чертах такой же процесс дыхания, как

и в животном организме, мы вправе сделать еще шаг далее и спросить...»

«Таково известное мангровое дерево, обитающее по прибрежьям тропических морей, обыкновенно в полосе, валиваемой приливом. Семена этого живородящего растения прорастают в плоде и, еще будучи на материнском растении, образуют длинный, тяжелый и приостренный корень. Достигнув известной стадии развития, они отрываются и, вонзаясь этим корнем в вязкий ил, прямо, без всякого перерыва, продолжают свое существование».

«Помножим это число на среднюю длину волосков и получим действительно колоссальную цифру 20 километров, или около двадцати верст. Таков путь, который пробегает в объеме почвы величиной с обыкновенный цветочный горшок корень пшеницы со всеми его волосками».

«Наконец, существуют и такие растения, как, например, лишайники, которые в виде пенок или накипи поселяются на голой поверхности камней, говорят, даже на поверхности полированного стекла, и разрушают эти вещества, добывая из них необходимую минеральную пищу».

«Это дало Брауну повод к остроумной шутке, что растение обладает, по-видимому, более обширными сведениями по физике, чем мы готовы допустить».

«Но как объясним мы причину этого поднятия воды иногда на громадную высоту 300 футов?»

«Десятина овса испаряет за все лето от 100 000 до 200 000 пудов воды, десятина смешанной луговой травы — около 500 000 пудов».

«Первый вопрос, который должен бы естественно представиться при наблюдении этого явления, но который, вероятно, мало кому приходит в голову,— до такой степени мы привыкли к этому явлению,— это вопрос: почему корень и стебель растут в противоположные стороны, один — в землю, другой — в воздух, один — вниз, другой — вверх?»

«В сердцевине так называемых саговых пальм отлагаются запасы крахмала, которые можно считать пудами; в клубнях картофеля отлагается также крахмал; в корнях свекловицы отлагается в изобилии сахар; в кочанах капусты или в корнях репы — разнообразнейшие питательные вещества; наконец, в мясистых листьях описанной выше агавы отлагаются в течение нескольких лет запасы сахара. Одним словом, нет почти растительного органа, который не мог бы сделаться вместилищем, складом питательных веществ».

* * *

Она родня ландышу и потому ядовита. Но мало ли что? Ядовит и ландыш.

Помню, впрочем, как осыпались, отцветая, отжив (отболев?), растопыренные лепестки и оставалась на стебле шишчатая головка, которая темнела потом и мы вытряхивали из нее на ладонь мелкие черненькие семена, гораздо мельче маковых зерен и слизывали эти семена языком. Называлась она у нас почему-то лазоревый цвет. Настоящее ее имя — купальница — я узнал из книг. Никто в наших местах ее настоящего имени не знает.

Цветы ярко-золотые, светяще-золотые, недаром их в некоторых местах называют фонариками. Когда выйдешь на поляну с цветущими купальницами и посмотришь на них еще издали, то прямых и высоких стеблей не видно, они сливаются с общей зеленью. Кажется тогда, что купальницы висят в воздухе. И кажется еще, что если бы сделалось темно, то эти цветы все равно было бы видно — настолько ярки.

В лесу, где поляна забежала под тенистый полог дремучей ивы и где образовалось под пологом ветвей нечто похожее на грот, с десяток купальниц-великанов освещали это темноватое даже в летний полдень, пространство и вправду как настоящие фонарики. Во всяком случае, когда по моему недосмотру дочка сорвала их все, там стало темно и мрачно.

Нераскрывшиеся бутоны — капустообразные кочанчики, величиной с лесной орех — зеленого цвета. Ничто не предвещает как будто солнечной яркости. Но и в распустившихся еще лепестках, когда лесной орех превратится

размером своим в средней величины мандарин, и в таких распустившихся лепестках сквозит первоначальная зелень, и эта зеленоватая примесь создает ощущение прохлады и свежести.

Со мной в деревенском доме жили тогда две мои сестры. У одной из них подошел день рождения. По этому случаю я нарвал в лесу солнечный сноп купальниц. Чтобы было всем сестрам по серьгам, для другой сестры я сорвал три веточки ландыша.

Роскошны и праздничны были мои купальницы. Но когда я распределял подарки, то невольно поймал себя на следующем отчетливом ощущении. Мне показалось вдруг, что одной сестре я вручаю добротную, тяжелую, медную сбрую, а другой бриллиантовую брошь или ниточку жемчуга. Ну сбрую, не сбрую — чеканные медные украшения, столь любимые современной молодежью.

Купальница на меня не обидится. Она знает, что я ее люблю. Но свое промелькнувшее ощущение я, как писатель, обязан выразить, по возможности, точно.

* * *

Сначала я познакомился с листьями ландыша. Мой дед постоянно читал толстые книги, водя по строчкам лупой, величиной с чайное блюдце. Закладками ему служили засушенные в тех книгах ландышевые листья. Высыхая, они приобретают золотистый оттенок и становятся как бы шелковыми. Я и сейчас думаю, что не может быть лучшей книжной закладки, чем засушенный ландышевый лист.

Взяв меня в лес, сестра прилегла отдохнуть на поляне, что-то там расстелив, а меня послала в ближайшие деревья, чтобы я поискал ландышей. Сколько мне было лет, я не знаю, но очевидно, что мало, если живого ландыша я до сих пор, оказывается, не видел. Я спросил у сестры, какие бывают ландыши, и она ответила коротко и мудро:

— Самые лучшие. Когда увидишь, не ошибешься. Белые колокольчики.

Вооруженный таким напутствием, я шагнул в древесную тень на поиски «самого лучшего». И хотя мне не полагалось далеко отходить (сестра начинала аукать и звать обратно), все же и на ближайших метрах своих жизнь тотчас поставила меня перед сложным выбором, потому

что под сыроватым пологом леса то и дело стали попадаться разнообразные белые колокольчики и все они были (а я их благодаря младенческому росточку видел очень близко и как бы укрупненно) один лучше другого.

Теперь, зная ту лесную поляну и приходя на нее в такой же весенний день, я могу с точностью разобраться во всех соблазнявших меня тогда белых лесных колокольчиках. Вот они все тут как тут.

Почему бы не потянуться мне тогда к нежному колокольчику кислицы, лиловатому от тончайших сиреневых прожилок. Пожалуй, даже скорее розовому, несмотря на то что прожилки сиреневого цвета. Они настолько тонки, что у них не хватает густоты и силы заявить о своем настоящем цвете и они создают цветочку кислицы лишь розовый колорит. Достойна удивления чистота и тонкость ювелирной работы, но все же внутреннее чувство подсказывает, что нужно пройти мимо и наклониться над другим белым цветком.

Я разглядываю беленькие же, очень похожие формой на ландышевые колокольчики цветы брусники. Глянцевые листочки, медовый аромат, все, как говорится, при них, но чего-то, однако, не хватает, чтобы срывали и ставили в вазочки и прославляли в стихах.

Или что сказать о грушанке, которую можно было бы считать ложным ландышем, как бывают ложные грибы: ложный опенок, ложная лисичка, ложный шампиньон? Прямостоящая ветка грушанки усажена белыми колокольчиками. И растет грушанка в таких же лесных местах, где ландыш. Но почему-то у нее вместо смело очерченных элипсоидных листьев, невразумительные округлые листья. У ветки нет того классического изгиба, а торчит она прямо. И колокольчиками она усеяна со всех сторон, а не с одной только стороны, по внутренней линии изгиба. Что цветы грушанки развернуты и слишком вылезают из них тычинки, придавая всему цветку оттенок даже неряшливости. И вот в результате того, что в одном месте «слишком», а в другом «чуть-чуть не хватает» весь цветок на конкурсе красоты никогда не достиг бы пьедестала почета.

Кому совсем «чуть-чуть не хватает» до ландыша, так это его ближайшей родственнице купене. Даже и листья похожи. Но зачем вместо двух, выразительно расходящихся от земли зеленых лопастей, натыкано на длинную

ветку в несколько этажей пять-семь пар тех же самых листьев? Зачем колокольчики так удлинены, нарочито вытянуты, превращены из округлых в некие белые трубочки, собраны в связочки по несколько штук, как ключи на кольце, и так висят?

Да, если в поисках единственно гениального решения художник (конструктор) комкал и бросал эскизы-черновики, которыми был неудовлетворен, то купена — последний черновик, перебелив который, наконец-то можно было откинуться с облегчением и счастливо закурить, разминая сигарету пальцами, все еще дрожащими от последнего творческого усилия. Черновики кончились — создан ландыш.

— Какой он?

— Самый лучший. Когда увидишь, не ошибешься.

У кого-то из прозаиков записано, как он, никогда не слышавший соловья, решил узнать его сам, по голосу, и как сначала принимал за соловьиные то одну, то другую птичью песенку. Но вдруг все пропало, исчезло, замерло. Огромные золотые обручи покатились по благоговейно онемевшей земле. Запел соловей.

Такое же чувство очевидной исключительности и непохожести ни на что другое испытал и я, когда, не соблазнившись другими цветами, остановился перед волшебной веточкой ландыша, расцветшего в зеленоватой еловой тени.

Выдержав первый экзамен на чувство прекрасного (при подсказке такого цветка, как ландыш, не так уж трудно было выдержать), я вынес из леса, на залитую солнцем опушку, пестреющую лиловыми, желтыми, синими, красными цветами, веточку как бы даже не солнечного, а лунного цветка.

Он был как русалка среди играющих румяных деревенских красавиц, как призрак среди пирующих пьяных рыцарей, как бледная невеста в фате среди пышащих здоровьем и весельем подруг. И если было сказано, что роза и лилия царствуют в цветочном царстве, как дневное и ночное светило на земле, то ландыш — самый преданный, самый верный и приближенный рыцарь лилии.

А между тем — вы не поверите! — это вовсе подземное растение и цветы ему, можно сказать, не нужны. Растение живет и размножается под землей (вегетативно),

так что если вы увидите стайку ландышей в лесу, нужно иметь в виду, что вы видите одно-единственное растение, как если бы яблоню с многими цветами и листьями. Обратимся к более точному языку ботаники.

«Каждый знает, как много встречается в лесу ландышевых листьев, или, точнее, нецветущих стеблей, и как сравнительно редко встречаются стебли с изящными кистями цветков. Если подсчитать, какой процент стеблей ландыша цветет по отношению ко всем встречающимся на любом участке леса, то даже в самых урожайных на ландыши местах мы получим совершенно ничтожные цифры. Окажется, что в лучшем случае один цветущий ландыш попадается на сотню нецветущих, а то и еще реже. Если же мы придем в лес осенью и посмотрим, сколько найдется в нем плодоносящих стеблей, несущих крупные оранжевые ягоды, то окажется, что их в лесу найти гораздо труднее, чем цветущие растения, и не потому что они мало заметны, значительная часть цветов опадает после цветения, не завязывая плодов. Вместо ягод в таких случаях мы находим на стебле лишь засохшие цветоножки.

На что указывает этот факт? Очевидно, семенной способ размножения мало надежен для ландыша и у него должен быть какой-то другой способ размножения, обеспечивающий ему возможность такого широкого распространения в лесу.

Раскопки вокруг стеблей ландыша легко убеждают в справедливости такого предположения. В поверхностном слое почвы на глубине 6—8 см расходятся во все стороны тонкие белые шнуры, местами дающие густые бороды белых корешков. Это — корневища ландыша, представляющие собой подземные стебли. Образуя под землей мощную сетку, они соединяют друг с другом довольно далеко отстоящие стебли, в результате чего большое количество ландышей оказывается в действительности одним, сильно разросшимся экземпляром... несомненно, что такой способ размножения является более надежным, чем семенное воспроизведение, особенно в условиях леса, где цветенье сильно подавлено и где молодым всходам приходится выдержать суровое соревнование в борьбе за жизнь... Мы видим, таким образом, что ландыш ведет интересную подземную жизнь. Под землей целиком проходит первый год его жизни, здесь же постоянно находятся его подземные

стебли, живущие много лет подряд, в то время, как надземные побеги существуют лишь в течение нескольких летних месяцев». (А. В. Кожевников, Весна и осень в жизни растений, 1950, стр. 126—129).

— Значит, что же получается! — должен воскликнуть на этом месте всякий поэт, романтик, жрец красоты.— Получается, что цветы для ландыша бесполезны, что его цветенье лишено забот о потомстве, то есть, по существу, всяких забот, потому что других забот у растения и нет, получается, что цветы для ландыша — чистое искусство! Не потому ли они так прекрасны?

Конечно, забота о семье, о тепле, о крове, об одежде, забота, короче говоря, о хлебе насущном, во все времена была могучим двигателем всякого труда, в том числе и труда художника. Заботясь и зарабатывая, он писал быстрее и больше, из-под его пера или кисти появлялись рассказ за рассказом, роман за романом, полотно за полотном... Но все же самые совершенные, смелые и вдохновенные образцы художества возникали тогда, когда дух преобладал над немедленной пользой, когда цель была, но отстояла немного подальше, нежели брезжила вдалеке, как зовущий свет, как ощущение правильности пути и как стремление дойти до заветной цели.

Скажем, что и у ландыша не вовсе бесцельны цветы, хотя ничего не случится, если в этом году они не дадут семян. Над ним, говоря современным жаргоном, не каплет. Но время от времени копающееся под землей растение должно освежиться, обновиться, пройдя через грозную, ослепительную, но его радостную вспышку, по-нашему — любви, а по-научному — полового процесса.

В свое время и в своем месте было провозглашено: «Пусть цветут все цветы». Несколько позже было добавлено: «За исключением ядовитых». Так вот ландыш — ядовит. Это общеизвестно. Но столь же общеизвестно, что вытяжка из него помогает работе человеческого сердца.

По-моему, не меньше вытяжки помогает работе человеческого сердца и сама красота его цветов, внушающих нам дополнительный стимул к жизни. Потому что среди немногих вещей, которые, в конце концов, будет жалко покидать на земле, найдет себе место и ландыш, весенний лесной цветок, прекрасный и совершенный образец вдохновенного творчества природы.

* * *

Как бы сменяют друг дружку целые цветочные цивилизации, по меньшей мере, народы.

То скифы господствуют в южных русских степях, то их сменяют татары. А то еще были хазары, печенеги и половцы. То угрофинны расселяются от Невы до Урала: чудь, мурома, меря и весь, то славянские племена: вятичи, кривичи, древляне, поляне.

Гора от нашего села к реке никогда не бывает занята высоким, луговым разноцветьем травостоем, потому что на ней пасут скотину. Она постоянно покрыта плотной, мелкой травяной щеткой, вроде как подшерстком, сквозь который вырастают время от времени в виде ости (если уже мы взяли это сравнение) другие временные растения. Они-то и напоминают мне смену разных народов.

В конце апреля, в начале мая зеленая ровная поверхность нашей горы разукрашивается по всей своей ширине и длине крохотными синими (лиловатыми, впрочем) цветочками. Эти цветочки не поднимаются над основной постоянной травкой, напротив, они даже ниже ее и как бы вкраплены в зелень.

Они (разновидность фиалки, какая-нибудь там фиалка опушенная или фиалка собачья) не бросаются в глаза и не видны издали. Подходишь к горе и видишь перед собой зеленую раннемайскую гору, которая сейчас тебя плавно и ровно, как на крыльях, спустит к реке. Но, поглядев под ноги, обнаружишь в траве свежие и неожиданные в ту бесцветную пору синенькие крохотные цветочки. Увидишь сначала один цветочек около огромного и тупого своего башмака (как если бы пятиэтажный дом собирался наступить на девочку, играющую на тротуаре), тотчас увидишь и второй и третий и вдруг радостно обнаружишь, что вся гора расцвела этими цветочками, кое-где образующими густые коврики. Садись поблизости и любуйся.

Если пойти в это время на другие косогоры, на склоны оврагов и холмов, всюду обнаружишь это тихое, скромное цветенье весенней земли, запутавшееся в густой травяной щетинке.

Скромный и мирный народец покажет миру, заявит о себе и исчезнет с поприща, как будто его и не бывало.

Останется только в воспоминаниях, в лучшем случае в стихотворении, в песне, если вовремя попадается на глаза внимательному поэту. Как помним, именно об этих цветочках вспоминает девица из повести Куприна (называли их «сон» и красили ими пасхальные яйца).

На место незаметных синеньких цветочков хлынет и обольет всю гору яркая, горячая волна племени одуванчиков. Этих не надо разглядывать, раздвигая пальцами траву вокруг. Выбежишь на линию, с которой начинается уклон горы, и даже зажмуришься от обилия жаркого золота, от обилия солнца и в небе и на земле.

Но пройдет некоторое время, схлынет и эта волна. Покроется гора тонкой и блеклой позолотой манжетки, которую мы в детстве называли еще божьей росой за то, что собирает в своих листьях большие прохладные капли.

Даже и не позолота, а так себе — желтоватый тон. Но, конечно, если идти по горе, в росистое утро, не насмотришься на сверкание бесчисленных самоцветов, которые дробят в себе так и сяк на составные радужные цвета белый свет и сиянье солнца.

Но однажды увидишь гору еще и в новом неожиданном украшении. Нет в помине лиловых цветочков, нет в помине ярких одуванчиков, нет в помине желтоватой манжетки. Теперь, словно полупрозрачный белый газ накинули на зеленую траву, на зеленую гору. Легкое воздушное покрывало поддерживается на некоторой высоте крепкими стебельками, все более разветвляющимися кверху, словно нарочно для того, чтобы удобнее было держать на себе, пусть и невесомую, белую вуаль. Из земли поднимается один стебель, потом он ветвится на два, на три, а те, в свою очередь, достигнув предела своего роста, разбегаются на ажурные зонтики. Каждая «спица» зонтика оканчивается крохотным, беленьким цветочком. Если бы разглядеть этот цветочек в отдельности, увидели бы, что он несколько похож на бабочку (величина — в половину спичечной головки). Но кто же будет разглядывать в отдельности такой цветок? Воспринимается сразу весь зонтик, а еще проще — целая гора. Цветет тмин.

Не знаю, кто как, а я люблю зонтичное. Мне нравится сама конструктивная схема зонтичного растения. Если растение обращено к небу, к космосу для того, чтобы улавливать энергию, свет, волны, импульсы, точно так же, как

мы пытаемся при помощи металлических антенн улавливать радио- и телеволны, то посмотрите на зонтик тмина, или дягеля, или обыкновенного огородного укропа — какая четкая и разумная схема!

Один стержень (стебель) делится вдруг на множество лучей, направленных по сторонам и кверху. Растение как бы подставляет себя солнцу и небу. Именно так, похоже, мы подставляем раскрытые ладони под первые капли давно ожидаемого дождя. Но стремление взять от неба как можно больше заставляет каждый лучик, каждую «спицу» зонтика разделиться еще на лучи, образовать новый, самостоятельный зонтик. Как если бы при жажде прикоснуться к дождю и воспринять его, на кончике каждого нашего пальца, вросло бы еще по ладони, с растопыренными пальцами. У нас это было бы безобразно и уродливо, у зонтичных получается красиво, ажурно, стройно.

В конце-то концов каждое почти растение разветвляется на все более и более мелкие ветви, дабы превратить себя в антенну и дабы антенна эта получилась наиболее эффективной, но согласитесь, что не у каждого растения мы встречаем такую стройную и ясную схему. Словно прочие растения набрасывал свободным и фантазирующим карандашом раскованный в своем творчестве художник, а зонтичные вычерчены прилежным и педантичным чертежником.

На каждом кончике этой сложной и экономной антенны присело по крохотному мотыльку с белыми или зеленоватыми крылышками. Отдельный цветочек надо разглядывать в увеличительное стекло, а в целом — белая кипень около тына и даже вот белая газовая вуаль над просторным склоном холма, ведущего к нашей речке.

Зонтичные для меня — признак полнокровного лета, вошедшего в силу. Если бы я был художник, и если бы захотел написать этюд под названием «Лето», я бы изобразил тот угол нашего запущенного беспризорного сада, где около покосившегося тына, белой пеной, белыми клубами поднимаются душистые зонтичные травы.

С весны — тын, да земля, да куст крыжовника около тына. Но вдруг вскипает белая волна и захлестывает и топит под собой и землю, и крыжовник, и сам забор. Надо поднять руку, чтобы достать до верхушек трав.

* * *

Лет семь назад я провел три недели в Дании. На одной крестьянской ферме я увидел некое зонтичное растение, поразившее меня своими размерами. Право же, в нем было не менее трех метров. На такую высоту оно поднимало зонты, мало чем отличающиеся в размере от настоящих дождевых зонтов, от которых и получило название все это зонтичное семейство.

Я спросил у фермера, нельзя ли набрать семян. Фермер ухмыльнулся, как, вероятно, ухмыльнулся бы наш крестьянин, если бы у него попросили семян репейника, горького лопуха. Тем не менее я набрал горстку семечек, завернул их в бумагу и положил в спичечный коробок. Я предвкушал удивление наших деревенских жителей, которые вдруг увидели бы где-нибудь около своего огорода огромное растение — каждый зонтик по тележному колесу.

Около дома была площадка, маленький пустырек, освободившийся, когда сломали некоторые дедовские постройки. Мы решили засадить эту площадку по краям шиповниковыми кустами и рябинами, а в середине вишневыми деревьями. Тут на рыхлую землю я и выбросил дальние, можно сказать, заморские семена.

Сначала я колебался. Вспоминались разные поучительные истории. Как заполонила все водоемы Европы случайно завезенная канадская элодея (прилипла к днищу корабля), прозванная даже потом водяной чумой. Как американская семья путешествовала по Африке, и мальчик привез домой две улитки, и как мать мальчика выбросила этих улиток за окно, и как они вскоре съели растительность целого штата. Некоторые странички о сорняках из книги Александра Васильевича Цингера «Занимательная ботаника» тоже не давали покоя.

«Что такое сорные травы! Ученые-специалисты разделяют их на несколько различных категорий, но мы, не вдаваясь в подробности, будем называть сорными травами все те растения, которые независимо от нашего желания и даже наперекор нашим стараниям засоряют поля, луга, огороды и сады...

Представьте себе, что мы с вами на глобусе стали очерчивать области естественного распространения различных

видов растений. Из тех примерно 250 тысяч видов высших растений, которые изучены, подавляющее большинство видов было бы отмечено на нашем глобусе лишь небольшими участками, а иногда всего каким-нибудь одним островком. Наберется лишь немного десятков таких растений, которые расселились, если не по всему свету, то на половине всей суши и более... Это — весьма важная особенность многих из тех трав, которые мы старательно искореняем с огородных грядок и с садовых клумб. Они — «граждане мира», космополиты. У каждого из них есть, конечно, своя родина, то место, где когда-то впервые вырастал тот или иной вид, но они отлично уживаются и далеко за пределами этой родины: и в северном полушарии и в южном, и в Старом и в Новом. Почему? Может быть, они отличаются особой неприхотливостью, невзыскательностью к условиям жизни? Нет! Любой опытный садовник ботанического сада скажет вам:

— Сорная трава отлично растет там, где мы ее стараемся уничтожить, но и на приготовленных для нее грядах, несмотря на все наши заботы, зачастую одни только... ярлыки с названиями... Быстроту и упорство размножения сорных трав лучше всего можно было проследить в тех случаях, когда они вторгались и заполняли новые для них местности. Среди очень распространенных наших сорняков есть чужеземцы... Возьмем, например, невзрачный канадский мелколепестник, в песчаных местностях заполнивший все пустыри, залежи, дороги, берега рек... Это — один из знаменитых «завоевателей» Европы. Он случайно попал в Париж в середине XVII века. Сохранились сведения, что его хохлатыми плодами было набито привезенное в 1655 году из Канады чучело птицы. Щепотка плодов случайно разлетелась по ветру, семена попали на подходящую почву. Проросшие растения развились, и в результате лет через сорок мелколепестник сделался по всей Европе самым обыкновенным растением.

— За последние полвека, уже на моей памяти,— пишет далее А. В. Цингер,— и отчасти на моих глазах произошло вторжение к нам другого американского растения — пахучей ромашки... Она стала распространяться по Европе с начала 70-х годов прошлого столетия... ботаники полагают, что ее семена были завезены с американским зерном. На моей памяти пахучая ромашка заполнила Тульскую губернию. Я отлично помню, как отец мой

ездил на ботаническую экскурсию на берег Оки, километров за 60 от наших мест и привез оттуда первый экземпляр пахучей ромашки, которая заняла тогда одно из почетнейших мест в его гербарии. Прошло лет пять, и американскую ромашку можно было легко найти по всей линии Московско-Курской дороги, прорезывающей наш район с севера на юг. Прошло еще пять лет, и она стала встречаться все дальше от железнодорожной линии, а еще лет через пять все края дорог, все незаезженные улицы деревень, все дворы, все пустыри сплошь были заселены американской эмигранткой. Ступая по коврам пахучей ромашки, в нескольких шагах от дома, было смешно вспомнить радость отца, нашедшего «редкостную новинку».

Мне тоже стало мерещиться по ночам, как наше село, наши поля и сады окружают со всех сторон полчища трехметровых гигантов, наступающих стеной и заполоняющих все вокруг. Вот уж нет ни деревенек на склонах холмов, ни разнотонных полей ржаных, ячменных, картофельных, гречишных, клеверных, гороховых, овсяных и льняных, нет ни тропинок, ни дорог между этими полями, но всюду — ровные непроходимые заросли трехметрового зонтичного сорняка, вроде сплошного леса, вроде тайги. Люди разбежались в другие места, замерла вся жизнь, на корню истлевают брошенные дома, чьи крыши едва выглядывают из дремучих зарослей.

Американская ромашка — пустяк! Каких-нибудь 10—15 сантиметров от земли, мягкий коврик под босыми ногами. Другое дело, когда древовидные растения, высеянные моей легкой преступной рукой, начнут распространяться вдаль и вширь, завоевывать луга, берега рек, овраги, поля, дороги, деревни...

Но дело было сделано, семена брошены в почву, раскиданы по земле. Теперь их обратно не соберешь...

На другой год никаких необыкновенных растений на моей площадке не проросло. Потом начали разрастаться деревья и кусты, которые, как редко я их не садил, через три года перепутались, образовали густоту, колющую мешанину, усугубляющуюся летом крапивой, репейником и всякой другой травой.

Однажды мне понадобилось залезть в эту зеленую гущу для того, чтобы попытаться спасти куст жасмина, совсем затененный соседними деревьями.

Едва ли не ползком я пробрался под непроницаемый для солнца полог рябиновых и вишневых ветвей и увидел, что под их пологом не растет даже трава.

Куст жасмина погибал. Торчали сухие палки, и только два зеленых побега говорили о том, что борьба за существование продолжается и пульс еще бьется.

Я знал, конечно, что в конце июня пересаживать растения нельзя. Но этот куст был мне очень дорог. Увидев, что он еще жив и борется, мне захотелось оказать ему немедленную, хотя бы рискованную помощь. В конце концов, если окопать растение со всех сторон подальше от стволов, от стеблей, и как можно глубже, если выворотить его потом вместе с глыбой материнской земли и опустить эту глыбу бережно в большой таз, и бережно перенести, и бережно поместить в заранее вырытую яму в хорошем месте, а потом поливать и ухаживать... поболеет, перестрадает, но для своего же блага.

С жасмином я так все и сделал и тогда увидел, что загораживаемые сухим жасминным кустом, то есть в еще большей и глубокой тени без всякого травяного соседства, из влажноватой гладкой земли растут два большие, продолговатые, пятилопастные, на толстых черенках лопуха, совсем не похожие на какие-нибудь наши местные лопухи.

Я рассказал о своей находке за столом во время обеда, и моя сестра Екатерина Алексеевна, человек очень внимательный к природе, меня огорошила.

— Это растет какое-то твое заморское растение. А ты разве не знал? И прошлый год оно там росло и три года назад. Только оно не вырастает как полагается, потому что ему там очень плохо.

Если нельзя пересаживать среди лета древесный куст или деревце, то тем более нельзя этого делать с травянистым растением. Но удачная пересадка жасмина вдохновила меня на дальнейшие садовнические подвиги, а вернее сказать — глупости. Мой пересадческий зуд подхлестывался воображением, которое почему-то не рисовало, как засыхает и гибнет неведомое растение, уже перенесшее несколько лет тяжелых невзгод, но рисовало только радужные картины: как хорошо этому растению на новом месте, как оно радуется и, достигнув той, памятной мне высоты, набирает огромный зонт, расцветает и, благодарное, сыплет мне в пригоршни щедрые многочисленные семена.

Как ни глубоко я окопал со всех сторон несчастное растение, оно не хотело колебаться и, взяв еще поглубже, я с отдачей в сердце услышал, как под острым железом хрустнул толстый и сочный корень.

Сестра же и начала ухаживать за обоими новоселами. Тотчас она их полила и сказала, что будет поливать каждый день утром и вечером.

На другое утро я пошел поглядеть на свои растения и увидел, что оба чувствуют себя хорошо. За жасмин я и не опасался. Но благополучие неизвестного растения показалось мне мнимым. Ведь даже и сорванный цветок, поставленный в воду, не вянет несколько дней.

С другой стороны, почему ему завянуть? Ему, правда, пришлось проделать принудительную эмиграцию, но ведь из каких условий в какие? Или не главное, что из плохих условий в хорошие, а главное, что из привычных в непривычные? Обращались же с ним по возможности бережно. Не выдернули ведь, не бросили на новое место — расти как знаешь. Пересадили вместе с материнской землей. Корень, правда, пришлось перерубить. Но у какого эмигранта не перерублены корни? Однако выживают, живут. Без крупицы материнской земли. Отрождаются и живут. Тем более что за моим «эмигрантом» предполагался уход.

Через три дня сестра пришла из сада, заметно отводя взгляд.

— Ну как наш «датчанин»?

— Да ведь, кажется, ничего. Большой лист, правда, прилег на землю. Я его загородила газетой. Может быть, ему слишком жарко?

— Там рассеянный свет. А под газетой вовсе не будет никакой жизни. Газету надо убрать.

Но, увы, газета была уже как белая простыня, которой накрывают с головой только что отошедшего человека, покойника.

Второй лист пока продолжал держаться, не сникал, не обвисал, как тряпка. Значит, шел снизу, от корней некоторый напор соков, который заставляет стебли трав стоять вертикально и быть упругими, а листья деревьев держаться даже горизонтально, что гораздо труднее.

Перерубленные корни борются там, в земле. Им нужно питание, идущее сверху, чтобы успели зарубцеваться раны, чтобы успели вырасти новые, аварийные корешки.

Изо всех сил они стараются поддержать один лист, ибо с двумя справиться им не под силу.

Но вот и второй лист дрогнул и сдал. Некая слабость, вялость разлилась по нему. Так начинает слабеть волейбольный мяч, когда из него через незаметную дырочку начинается утечка воздуха.

Корни не в силах больше поддерживать лист в напряженном, живом, рабочем состоянии. Лист, в свою очередь, перестает подавать корням то, что им нужно. Растение погибает. Какой выход оно может найти из создавшегося положения? Какие меры принять? По-видимому, на наш человеческий взгляд,— никаких. Положение его безвыходно.

Какое же именно растение загублено мной, я мог только гадать. Судя по ботаническим атласам, это мог быть какой-нибудь из борщевиков. Например, Монтеверде пишет: «Борщевик пушистый. Крупное зонтичное, ветвистый стебель которого достигает 2—3 метров. Листья большие, сверху голые, снизу пушистые, пластины их перисто рассечены на 5—7 крупных перисто-лопастных долей... Дико растет в лесах Крыма и Закавказья; разводится в садах. Цветет летом. Из других наших исполинских борщевиков в садах чаще разводится борщевик волокнистый, встречающийся в гористых лесах Крыма и Кавказа...»

А мог быть и каким-нибудь из наших борщевиков. Например, вырос бы он у меня, выхоженный с таким трудом, привел бы я к нему наших мужиков поглядеть на заморское диво, а мужики бы рассмеялись: «Да вон в Крутовском овраге, в лесу, такого дива сколько угодно!» Для новеллы лучшего конца, пожалуй, и не придумаешь.

Однако пока я лазал по ботаническим атласам, жизнь продолжалась. Там, где сходились около земли два увядших листа, вдруг появился острый, желтоватый, похожий на волчий клык, росток. Через два дня он поднялся до десяти сантиметров, а потом еще через несколько дней, стал длинным, зеленым, сочным и развернулся в новый лист. У основания этого нового листа прокусил землю еще один волчий клык. Растение победило все невзгоды, в том числе и мою глупую безвременную пересадку с места на место. Теперь не будем гадать. Теперь растение само расскажет о себе все, что мы сумеем воспринять, глядя на него и сравнивая с другими растениями.

...Тмин, в связи с которым мне вспомнилась эта история, среди зонтичных считается карликом. Много-много, если он поднимет свои зонтики на полметра от земли, и то где-нибудь среди высокой травы, в кустах, около прясла. Тмин семидесяти сантиметров, ростом надо считать из ряда вон выходящим. На открытом же, притоптанном скотиной месте, вроде нашей горы, он поддерживает ту самую «вуаль» своего цветения на высоте чуть-чуть повыше обыкновенного школьного карандаша.

Должны были приехать друзья, и мне понадобилось три горсти тминных семян, чтобы приготовить настойку. Однако, как и во всяком деле, когда ходишь просто так, кажется — вся земля засеяна тмином, но когда надо насобирать, он куда-то весь исчезает.

Сосед подсказал:

— Ступай на место бывшего вашего залога.

— Почему?

— Как же? Дедушка Алексей Митрич, бывало, идет по дороге, увидит тмин, сощипнет — и в карман. А потом на своем залоге рассеет. Подсевал, значит. От тмина и сено душистее, коровы с аппетитом едят, и молоко полезнее, и так, если понадобится, в огурцы, в капусту, в графинчик. А то и в хлеб добавляли...

Я подумал, что насчет дедушки — фантазия моего соседа, но придя на то место, где раньше был наш залог, я действительно увидел изобилие тмина; оттесненного, правда, тракторными и автомобильными колеями, буграми и ямами, и тотчас насобирал несколько горстей его замечательных душистых и целебных семян.

Хотя и случайно, но так и получилось, что подсевал дедушка для своего внука.

* * *

Берем Махлаюка: «Пижма обыкновенная. Народные названия: полевая рябина (большинство областей РСФСР), трилистник (Сибирь), горлянка (Тульская, Воронежская области), девясильник желтый (Пермская, Кировская обл.), маточник (Воронежская обл.), пижма дикая, горлинка (УССР)...»

Ну, во-первых, если уж говорить о народных названиях, то вряд ли кто именно так и скажет по-книжному: «полевая рябина». Получилось бы очень искусственное

неточное название. Скажут в (большинстве областей РСФСР) не полевая рябина, а рябинник. И в этом есть тонкость. Пусть не садовая, не черноплодная, не невеженская, не лесная, не гранатовая — полевая, но все-таки никаких ягод. Правда, что листья этой травы немного похожи на рябиновые, а кисть цветов похожа на желтую рябиновую кисть. То есть, значит, цветы похожи на ягоды. Ну, значит, и есть — рябинник. Трава, напоминающая рябину.

Что касается названия «пижма», то я за сорок семь лет своего существования на земле ни разу не слышал этого слова из уст других людей, но исключительно, читая в книгах. Вероятно, оно употребляется только на Украине, и в более южных российских областях.

Мое лирическое отношение к этой траве вполне объяснимо. Рябинник для меня почти всегда синоним и как бы олицетворение тревожной грусти. Это позднелетний, предосенний цветок. Когда растут васильки и ромашки, колокольчики, незабудки, купальницы и ночные фиалки, когда небо звенит жаворонками, а ольховые кусты около реки соловьями, когда кажется, что лето длится долго, если не всегда, и что все еще впереди, рябинник тогда только набирает листву, кустится, не бросаясь в глаза пешеходу и не оказывая никакого влияния на его настроение. Когда же рябинник достигает своей метровой высоты и распустит ярко-желтые кисти своих цветов, обозначив собой все тропинки, дороги, межи, края полей, канавы, границы сельских кладбищ, тогда поздно думать о лете, надо считать, что оно прошло. Расцвет рябинника для лета, как приговор, как запоздалый диагноз распространенной теперь болезни, когда уж ничем нельзя помочь, даже и радикальным ножом хирурга.

Нет, вокруг еще много тепла и света, еще нет никаких очевидных признаков осени, холодных ветров, моросящих дождей, черной земли, черной темени. Все сияет, зеленеет, золотеет, дышит зноем, утопает в небесной лазури. Но сердце над расцветшим рябинником знает уже вопреки бездумному летнему полдню, что где-то в очень большой глубине природы дрогнула, надорвалась, надломилась и песенка, как ни грустно, спета. Цветы рябинника на земле, как крик журавлей в небе, как желтый лист, вдруг упавший на речную воду при внезапном и сильном порыве ветра.

А казалось бы — мощное, пышущее здоровьем растение, не томный цветочек, не худой стебелек, сгибаемый ветром и так и сяк.

Зацветает рябинник. Не успели оглянуться, уже зацветает рябинник. Не успеешь оглянуться, как уже торчат из-под снега его сухие темные стебли. Ведь, если торчит из-под снега какая-нибудь трава, то в первую очередь рябинник. И зимний ветер тихонько звенит в его пересохших ломких стеблях, и птички шелушат его почерневшие кисти, роняя на снег мелкий мусор и мелкие, как пыль, семена.

* * *

Сколько бы мы не убеждали широкие массы трудящихся, что они совершают грубую ошибку, называя ромашками цветы, которые на самом деле называются поповником, мы не заставим их отказаться от первичного, освященного веками и даже искусством (песнями, во всяком случае), представления о ромашке, как о крупном цветке с желтой плоской серединкой и с крупными белыми лепестками по краям.

«Давай погадаем на поповнике?» Так, что ли? «И не выросла еще та ромашка, на которой я тебе погадаю». «И не вырос на земле тот поповник...» Нет уж, пусть лучше все мы ошибаемся, но останемся с ромашкой.

А между тем книга пишет о цветке, на котором мы гадаем, обрывая белые лепестки, что у него, у этого цветка, «цветочные корзинки одиночные, крупные, белые, похожие на ромашку». Вот как. Лишь похожие на ромашку.

Но, товарищи и дорогие друзья! В конце концов название цветам даем мы, люди, не зная, как они называются на самом деле. В конце концов мы переименовываем целые города. Так ли уж сложен, даже с точки зрения чистой науки вопрос — считать поповник разновидностью ромашки и наряду с другими разновидностями, с ромашкой аптечной, душистой, далматской, римской, собачьей, непахучей, розовой и мясо-красной, писать еще, скажем, ромашка крупная?

Интересен в связи с ромашкой (простите, с поповником) еще и такой вопрос. Если все в природе целесообраз-

но (а так оно и есть), то мы, встречаясь с каким-нибудь явлением, всегда вправе спросить: а зачем?

— Зачем дереву листья?

— Чтобы улавливать солнечную энергию и углерод, чтобы выделять кислород, чтобы испарять влагу, чтобы осуществлять фотосинтез.

— Зачем растению корень?

— Чтобы устойчиво держаться в почве и усваивать из почвы нужные вещества.

— Зачем тычинки и пестики?

— Тычинки вырабатывают пыльцу, а пестик является женским органом размножения.

— Зачем одуванчику парашютик, клену крылышки, репейнику — колючки-зацепки, ковылю пушистая ость, землянике сладкие сочные плоды?

— Чтобы удобнее распространять по белому свету свои семена.

— Зачем цветам аромат?

— Вопрос неясный и спорный. Последние опыты показывают, что в приманке насекомых он играет третьестепенную роль. Высказывались предположения, что он предохраняет цветы от озябания, но цветы пахнут и в жаркое время. Можно предполагать, что аромат создает вокруг цветка микроклимат, микросферу (нечто вроде скафандра), но многие цветы не пахнут и тем не менее прекрасно себя чувствуют в земных условиях. Если цветы влияют на своих соседей и либо угнетают, либо поощряют их, то, может быть, не последнюю роль в этом играет аромат цветов? А может быть, это средство связи между цветами? Может быть, обычный экземпляр ночной фиалки лучше себя чувствует и лучше растет, если знает, что неподалеку на земле растут другие экземпляры этого же вида? Одним словом, вопрос неясный и спорный.

— А зачем поповнику (то есть ромашке) белые длинные лепестки?

— На этот вопрос ответа нет.

Архитектурное излишество? Чистое искусство? Неизвестная нам необходимость? Не знаем.

Если приманивать насекомых, то одуванчик — весь желтый — делает это лучшим образом. Да и мало ли желтых цветов, к которым прилетают пчелы, шмели, мухи, бабочки. Ромашка вполне могла бы обойтись своей желтой

серединкой. Ведь это и есть ее цветы, а про белые лепестки говорится, что они хотя и пестиковые (по происхождению), но ложные и в процессе размножения никакого участия не принимают.

В природе много разных загадок. Так, например, многие поколения ученых пытаются разгадать, почему кукушка откладывает яйца в чужие гнезда. Зачем птицы совершают перелеты почти через весь земной шар. Не меньшую загадку представляют неожиданные, фантастические миграции некоторых грызунов, когда несметные полчища леммингов устремляются даже в океан, где гибнут.

Секрет, подобный ромашкиному, не столь вопиющ, из ряда вон выходящ и очевиден. Он как бы незаметен на скользящий поверхностный взгляд, но он такой же правомочный секрет, в ряду других секретов, которые природа нам преподносит.

Счастливая случайность для нас, что ромашки цветут яркими белыми лепестками. Представьте себе, сколько бы мы потеряли, если бы это растение спохватилось и решило избавиться от праздного украшательского излишества и цвело бы только желтыми плотными, похожими на пуговицы, лепешечками. Кошмар!

С ромашкой связано и еще одно мое ощущение. Красив и пышен цветок хризантемы, а я его не очень люблю. Я знаю, что хризантема так или иначе, рано или поздно выведена, произошла от ромашки. Поэтому, когда я держу в руках мохнатую шапку, состоящую из сотен перепутавшихся, как мочалки, лепестков, я все равно сквозь эту махровую путаницу вижу первоначальную четкую схему ромашки, и ромашка каждый раз загораживает для меня хризантему, мешает ее воспринять и полюбить.

* * *

«И вот былинку понесла река»,— проходит ритмичным повтором в романе Леонова «Русский лес».

«И в небе каждую звезду, и в поле каждую былинку»,— благословляет А. К. Толстой.

В песне жалуется девица, что она сирота, «как былинка в поле». И никак не могла бы девица в песне сослаться на какой-нибудь другой цветок. Как незабудка

в поле, как ромашка в поле, как колокольчик в поле... Почему-то все эти цветы (а их ряд можно продолжать) не несут дополнительного заряда грусти и тревожной тоски. Такой заряд несет в себе другое слово — былинка.

А в сущности, что такое былинка? Среди двухсот пятидесяти тысяч видов трав и цветов (или сколько их там?), известных человеку и обозначенных названиями, никакой былины нет и не было. Что такое былина? Нечто близкое, обобщенное, вроде «животины», применительно к животным?

Может быть, так оно и есть. Может быть, народ прозвал былинкой всякую одинокую, сиротливую травинку, а тем более засохшую, прошлогоднюю.

И все же одна из самых известных трав так прямо и называется в наших местах — былина. И если сказать кому-нибудь: «Я пойду и нарву былины»,— никто не подумает, что нарву сурепки, дягиля, молочая. Но все так и поймут, что я пошел за былиной. Растение это — обыкновенная горькая полынь.

Не трудно вообразить, какое возражение вызовет последняя фраза у ботаника, потому что она и впрямь ботанически неграмотна. «Какую же полынь,— строго спросит ботаник,— вы имеете в виду: обыкновенную или горькую». Ибо существуют на свете полыни: обыкновенная, австрийская, горькая, метельчатая, цитварная и еще другие полыни.

Ботаник прав. Но если не вдаваться в тонкости, то для народа всякая полынь прежде всего горька, и всякая горькая полынь вполне обыкновенна.

И вот вам пример, как можно завоевать популярность, не будучи ни ландышем, ни васильком, ни фиалкой, не бросаясь в глаза желтыми, белыми и красными цветами, ни даже хотя бы сочной зеленью, как крапива. Как будто нарочно, чтобы исключить всякую внешнюю привлекательность, полынь родится серого цвета, который, как известно, является символом вопиющей бесцветности.

И чем же она завоевала свою популярность? Не сладостью ли плодов, подобно землянике? Не вкусностью ли и свежестью листьев и стеблей, подобно салату, капусте, щавелю, сельдерею? Не сочностью ли кореньев, подобно моркови, петрушке и редиске?

Но на полыни не растет никаких ягод. Но вся полынь, начиная от невзрачных цветочков и кончая деревянисты-

ми корнями, вполне несъедобна не только для человека, но и для животных — ее не ест никакая домашняя скотина. Даже другие растения сторонятся ее и растут всегда на почтительном отдалении.

Чем же завоевала полынь широкую, всеобщую популярность? Своей неповторимой полынной горечью! И еще раз повторю — вот вам пример. Уж если вы хотите быть горьким и несъедобным, будьте образцом горечи и несъедобности, неким идеалом горечи, будьте последовательны в своей горечи, идите по пути горечи твердо и до конца. Лишь в этом случае вы добьетесь признания, даже уважения своего качества, если даже оно не больше, чем полынная горечь.

Ну, правда, помогает полыни и ее неповторимый, незабываемый, если уж кто растер в пальцах и понюхал, запах.

На стихотворение Майкова «Емшит» ссылаться уж как будто и неприлично, оно становится общим местом. Но ведь факт же, что Хана, забывшего свою родину ради чужой стороны, не могли возвратить никакие соблазны, пока не понюхал он лукаво присланный ему пучок сухой полыни.

Путешествуя по казахстанским и киргизским степям, я так надышался полынью, что вполне понимаю Хана, вспомнившего через аромат засохшей травы весь огромный и сложный комплекс родины и тотчас помчавшегося на коне в родные пределы, навстречу широким и светлым, сухим и терпким горьковатым ветрам.

Горечь полыни приносили на своих губах и в складках одежды киевские дружины, воевавшие половцев. Вкус полыни будет долгие годы сопровождать воспоминания тех лет, когда вздымались и опускались конармейские клинки и сквозь степную полынную пыль медленно проступали красные пятна степных закатов.

Пишу сейчас за городским столом, в окружении ничем не пахнущих городских предметов, а слышу запах степи под Акмолинском, Атсабаром, Кустанаем и еще дальше в предгорьях Тянь-Шаня и Алатау. Жесткое киргизское седлецо, тяжелая камча на руке, пиала с кумысом, принятая из рук гостеприимной хозяйки, кизячный дымок костра, уже приправленный ароматом вареной баранины, мягкая кошма в теплой юрте, предчувствие полной луны над разогретой днем, но странно остывающей ночью, сте-

пью и полынь, полынь, полынь... Велика и устойчива власть ее запаха над нашей памятью. Не зря эту траву у нас еще называют — былина.

* * *

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Тимирязев. «Жизнь растений»

«Растение питается для того, чтобы расти, растет для того, чтобы питаться, т. е. увеличивать поверхность принимающих пищу органов. Эти два совместных процесса могут длиться очень долго, у некоторых растений тысячелетиями, но тем не менее, им наступает предел, хотя, собственно говоря, мы не в состоянии объяснить себе необходимость подобного предела, мы не в состоянии понять, почему бы один и тот же растительный организм не мог существовать неопределенно долгое время».

«Для поддержания растительных форм необходимо, чтобы они от времени до времени обновлялись посредством процесса слияния двух отдельных клеточек. Значение, смысл, необходимость этого закона существования двух полов для нас совершенно темны: это только эмпирический закон, основанный на совокупном свидетельстве всех нам известных фактов».

«В кокосовых плодах замечательны следующие особенности: наружная кожа непроницаема для морской воды, а толстый волокнисто-мочалистый слой содержит воздух, что и поддерживает орех на поверхности моря. Далее следует очень твердая скорлупа и большая полость, наполненная водянистой жидкостью — кокосовым молоком. Эта жидкость составляет большой запас пресной воды для потребностей зародыша в течение его далекого морского плавания, совершенно так, как это делают моряки для дальних экспедиций».

«Другой способ... основывается на обоюдной пользе, на привлечении животных известными частями плода, годными в пищу. Таковы сочные и мясистые плоды, например, земляники или косточковые плоды вишни, черемухи, персика, малины и т. д. ...необходимо, чтобы мякоть плода

привлекала животное, как лакомая пища, и бросалась ему в глаза, и в то же время, чтобы семена были защищены так, чтобы могли проходить без вреда через пищевой канал животного. Это осуществляется таким образом: пока семена развиваются и еще не образовали толстой защищающей их оболочки, вкус плодов своим изобилием кислот и разных терпких, вяжущих веществ не привлекает животных, да и к тому же они мало заметны, так как не отличаются цветом от листьев. Но когда семена созрели и получили защищающую их оболочку, в плодах накопляются сахаристые, крахмалистые и другие питательные вещества, и окраска плодов бросается в глаза. Особенно распространен яркий красный или желтый цвет. Этот способ разнесения семян вместе с извержениями животных выгоден для растения еще и тем, что почва в ближайшем соседстве оказывается богато удобренной».

«...вся листовая поверхность клевера в 26 раз превосходит площадь земли, занимаемую этим растением, так что десятина, засеянная клевером, представляет для поглощения лучей солнца зеленую поверхность в 26 десятин. Другие растения дают более высокие цифры. Эспарцет имеет листовую поверхность в 38, а люцерна в 85 раз более занимаемой ими площади. Смешанные травы, по всей вероятности, дали бы еще более высокие цифры».

«Но тут-то именно, на этом кажущемся пределе, физиолог начинает смутно сознавать, что его задача не исчерпана, что из-за всех этих частных вопросов всплывает один общий, всеобъемлющий вопрос: почему все эти органы, все эти существа так совершенны, так изумительно приспособлены к своей среде и отправлению? Чем поразительнее факт, чем совершеннее организм, тем неотвязчивее вопрос: да почему же он так совершенен? Как, каким путем достиг он этого совершенства? Неужели стоило сделать такой длинный путь для того, чтобы в конце его услышать лаконический ответ: не знаю, не понимаю и никогда не пойму. Правда, естествоиспытатель охотно, быть может, охотнее и откровеннее других исследователей, всегда готов сказать: не знаю; зато тем настойчивее хватается он за первую возможность объяснения, тем ревнивее охраняет он те области знания, куда успел уже проникнуть хотя бы слабый луч света».

«Жизнь растения представляет постоянное превращение энергии солнечного луча в химическое напряжение; жизнь животного, наоборот, представляет превращение химического напряжения в теплоту и движение. В одном заводится пружина, которая спускается в другом».

«Дрова горят, животные горят, человек горит, все горит, а между тем не сгорает. Сжигают леса, а растительность не уничтожается; исчезают поколения, а человечество живет. Если бы все только горело, то на поверхности земли давно не было бы ни растений, ни животных, были бы только углекислота да вода.

Очевидно, в природе должно существовать явление, обратное горению, т. е. превращение веществ, вполне сгоревших, в вещества, вновь способные к горению. Рядом с образованием углекислоты должен существовать и обратный процесс разложения этой углекислоты, образованной повсеместным горением».

«В природе должен существовать процесс, который этот испорченный воздух вновь превращает в хороший. Не принадлежит ли эта роль растению?»

«Животные поглощают кислород и выделяют углекислоту; растения поглощают углекислоту и выдыхают кислород... растение и животное представляют химическую антитезу».

«Это роль посредника между солнцем и животным миром. Растение или, вернее, самый типичный его орган — хлорофилловое зерно — представляет то зерно, которое связывает деятельность всего органического мира, все то, что мы называем жизнью, с центральным очагом энергии в нашей планетной системе. Такова космическая роль растения».

«Это превращение простых, неорганических веществ, углекислоты и воды в органическое, в крахмал, есть единственный, существующий на нашей планете, естественный процесс образования органического вещества. Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном

или в человеке, прошли через лист, произошло из веществ, выработанных листом. Вне листа или, вернее, вне хлорофиллового зерна, в природе не существует лаборатории, где бы выделывалось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь из вещества неорганического».

* * *

Привыкли считать, что солнце у всех одно и земля одна. И тут есть две крайности. Так и можно считать едиными и солнце и землю, если приподняться, отвлечься и вести разговор на уровне общих процессов, на уровне, там, поглощения углекислоты, процессов в хлорофилловом зерне, в прорастающем семечке. Но в другой крайней точке, можно сказать, нисколько не преувеличивая, что у каждого отдельного растения (не вида, а именно растения, экземпляра) своя земля и свое солнце. На этот одуванчик падает тень от садовой избушки, а на этот одуванчик — не падает. У этого под корнями оказался обломок кирпича, а у этого в корнях оказалась гнилушка. Мимо этого во время дождя всегда бежит ручей, а мимо этого не бежит. Этот оказался на южном склоне оврага, а этот — на северном. Этот в кустах, а этот на чистом месте. Этого облучает своими жесткими фитонцидами близко стоящая черемуха, а этого осеняет мягкая широкошумная липа. Затем начинается более широкая разница: в кислотности почвы, во влажности воздуха, в количестве годового тепла, в господствующих ветрах, в морозах и паводках, в высоте над уровнем моря, в географической широте...

Что же делать одуванчику, который вынужден расти в тени садовой избушки и которому больше бы нравилось расти на открытой поляне, где и растут его многочисленные соплеменники. Очевидно, ему нужно перебраться, перебежать к ним из тени на солнце. Незабудке, случайно оказавшейся на сухом косогоре, совершенно необходимо сбежать вниз на дно оврага, где постоянно сочится вода. Валерьяне, выросшей на полевой меже, необходимо срочно перебраться в приречные кусты. Пижме, выросшей в приречных кустах, необходимо срочно перебраться на полевую межу.

Убегая из одних микроусловий и задерживаясь в других, постепенно переселяясь, путешествуя по земле, рас-

пределяясь и перераспределяясь, сортируясь и группируясь, растения выбрали себе те места, те условия на земле и под солнцем, где им больше по вкусу, и теперь, обозревая растения в какой-нибудь книге, мы можем точно их разделять и говорить так: «Распределение растений по их месту обитания. Опушки и лесные поляны. Суходольные луга. Заливные или сырые луга. Сорные места, пустыри. Встречающиеся около жилья. Встречающиеся вдоль дорог. Степи и степные склоны. Берега рек, озер, прудов. Лиственные и смешанные леса. Горы, каменистые склоны, скалы...»

Получается, что незабудкам, выросшим на суховатом склоне, с одной стороны, нельзя сбежать на дно оврага и никто до сих пор не видел бегающую незабудку. Но с другой стороны, посмотрите, все они в конце концов сбежали с горы и растут в низине, на влажном месте, там, где им больше нравится. А кошачьи лапки, семена которых занесло в низину, на влажное место, в конце концов сумели выкарабкаться на влажный косогор, туда, где как можно суше.

Всюду растет трава. Всюду она цветет, не одна, так другая. Но все же с понятием «трава» у нас сочетаются, в первую очередь, те места на земле, которые, кроме всего, специальпо предназначены для роста цветущих трав. Здесь травы поднимаются зеленой стеной, разливаются пестрым половодьем. Здесь же они ложатся под острыми косами, во время обильных утренних рос. Росную траву легче режет коса, потому и косят ее во время росы. Но теперь, с изучением чувствительности растений, можно считать установленным фактом одно замечательное совпадение. Во время холодной росы, в ранние часы утра, травы как бы онемевают, становятся как бы анестезированными, менее чувствительными и ложатся на землю с меньшей болью.

Но если рассуждать строже, то почему именно луга надо иметь в виду, когда мы говорим о траве? А поля? Разве на полях не трава? В чем же разница? А в том, что эти травы культурные. Точно так же как мы домашнего поросенка не считаем за зверя (за вепря), и корова для нас — не лосиха, так и овес с горохом и клевер вроде бы не трава. Прирученные, одомашненные растения.

И вот растут себе луговые дикие травы и не знают, что вокруг них развертываются словесные бои, происходят научные конференции и даже международные конгрессы. Случайно включив телевизор, я увидел крупным планом

одного знаменитого председателя колхоза, пресыщенного уж известностью и славой и оттого бросающего свои слова с непреложной директивной брезгливостью:

— С лугами пора покончить. Все разровнять, все распахать, все засеять культурными травами и пустить косилки!

Растут и не знают луговые травы, что, может быть, так вот, в одночасье, и решится их судьба. Понравится эта смелая, как бы дерзкая идея — распахать луга, засеять их какой-нибудь одной культурной травой,— и начнется искоренение десятков и сотен разнообразных прекрасных трав, несущие земле, миру и нам, конечно, людям, что-нибудь драгоценное, индивидуальное, на других непохожее.

Выпишу только некоторые растения, которые растут на наших заливных сырых и суходольных лугах, чтобы напомнить о великом многообразии, о богатстве природы, доставшейся в наше распоряжение.

Атей, белозер, белоус, василек, вероника, гвоздика, горец, девясил, колокольчик, кукушкин цвет, кровохлебка, лапчатка, лютик, марена, мыльнянка, мята, окопник, очиток, подмаренник, подорожник, плакун, сердечник, серпуха, сивец, сурепка, стальник, сусак, таволга, хвощ, частуха, чихотная трава, чемерица, мник, щавель, бедренец, борщевник, герань, горчак, душица, донник, желтушник, зверобой, земляника, разные клевера, козлобородник, коровяк, молочай, нивяник, цикульник, фиалка, цикорий, шалфей, адонис, бессмертник, грудница, грыжник, прострел, цсин, чабрец, воробейник, болиголов, астра, адонис, переступень, манжетка, зубровка, купальница, чистотел, сныть, пустырник, золотысячник, яснотка, ятрышник, любка, ягель, валерьяна и множество, множество разных чудесных трав.

На необъятных, как говорится, просторах нашей Родины, по берегам больших рек, разливающихся весной, подобно морям, по берегам небольших рек и речушек лежат сенокосные луга, сенокосные угодья. Все равно не миновать нам упоминать какие-нибудь цифры, начнем же с этой. В Российской Федерации имеется восемьдесят шесть миллионов сенокосов и пастбищ — по данным за 1971 год. Значит, в эту цифру уже не входят луга, затопленные человеком, в частности не входит волжская пойма, которая ликвидирована вся целиком, за исключением небольшого прогалка от Нижнего Новгорода (Горького) до Чебака.

А всего в эту цифру не входит полтора миллиона гектаров затопленных земель.

Казалось бы, оно и немного по сравнению с восемью-десятью шестью миллионами. Но разве один гектар традиционного, находящегося под руками приволжского луга, не вошедшего теперь в цифру, не стоит десяти и даже ста гектаров (вошедших в цифру) кочковатых лугов где-нибудь на окраине республики Коми или вятской земли, в неудобном комарином углу?

Если взять данные за 1971 год, то увидим, что культурных и улучшенных сенокосных угодий, лугов и пастбищ набирается в Российской Федерации немногим больше четырех миллионов. Ну а четыре миллиона и полтора уже можно сравнивать.

Поскольку ведомость попала нам в руки, поинтересуемся, как подразделяются эти восемьдесят шесть миллионов гектаров лугов и пастбищ. А вот как.

Чистых лугов и пастбищ — шестьдесят восемь миллионов (я опускаю десятые и сотые доли), заросших кустарником и мелколесьем — четырнадцать миллионов; покрытых кочками — сто шестьдесят тысяч; засорено камнями около шести миллионов; заболоченных около пяти миллионов; засоленных — миллион с третью; изобильно увлажненных — более миллиона. А всего требующих мелиорации и улучшения — сорок миллионов гектаров. Для сравнения можно вспомнить, что это приблизительно две «целины».

Восемьдесят шесть миллионов гектаров лугов и пастбищ в одной только, пусть и самой большой республике, а там еще Украина, Белоруссия, Тянь-Шань и Алатау, степные и высокогорные пастбища Казахстана и Киргизии, луговые угодья Прибалтики, молдавские степи...

Считается, что у нас в Российской Федерации двадцать семь миллионов гектаров сенокосной площади (остальные от восьмидесяти шести миллионов — пастбища). В 1940 году выкашивалось тридцать два миллиона гектаров, то есть площадь обширнее контрольной официальной и расчетной. Откуда брались пять миллионов гектаров? Очень просто. Маленькие овражки, полевые межи, лесные опушки и поляны. Всегда можно пройтись косой по дну и склонам небольшого овражка, не причисленного к сенокосным угодьям, глядишь, выросло четыре копны сена, немного

огрубленного осокой или сдобренного душистой таволгой. Там четыре копны, да там четыре копны, да там десять копен, да там пусть хоть одна копна, набирались их по России миллионы, потому что, повторяю,— пять миллионов гектаров обкашивалось сверх расчетных двадцати семи миллионов.

В 1965 году колхозники выкосили уже не тридцать два, а двадцать один миллион гектаров. К 1971 году эта цифра сократилась до шестнадцати миллионов, то есть сократилась, по сравнению с 1940 годом, в два раза.

«Фактически укосная площадь естественных сенокосов в хозяйствах Калининской области за период с 1960 года по 1968 год сократилась на 45, Ленинградской на 38, Вологодской на 20 процентов. В целом по РСФСР эти площади сократились с 23,8 миллиона гектаров в 1960 году до 18,5 миллионов гектаров в 1968 году» (П. Усынин, Кладовые кормов.— «Советская Россия», 28 апреля 1970 года).

Это свидетельство интересно тем, что оно принадлежит начальнику Управления лугов и пастбищ Министерства сельского хозяйства РСФСР П. Усынину (тогда он занимал этот пост), но сам по себе 1968 год уже нам неинтересен, если у нас есть 1971.

Нетрудно догадаться, что если меньше косим, то меньше и сена. Если взять даже самый средний урожай естественных трав, ну, скажем, семь центнеров с гектара, то, помножив, получим недостачу — сто двенадцать миллионов центнеров лугового сена. Этим сеном можно прокормить всю зиму 6 720 000 коров.

Я спросил в министерстве: почему стали меньше выкашивать лугов? Мне ответили: потому что стало меньше кос. Ответ неожиданный и простой. Конечно, их стало меньше не из-за того, что не успевают вырабатывать, не от того, что меньше стало в деревне рук, которые этими косами могли бы махать.

— Все же в прошлом году продано четыре с половиной миллионов кос,— порадовались в министерстве.— Но, знаете, не все ведь эти косы будут активными. Много кос покупают дачники, чтобы содержать в порядке свой дачный участок.

Сокращение сенокосов происходило и по другой причине (кроме убыли косцов), а именно: по запущенности луговых угодий и по их естественной порче. Цитирован-

ный нами П. Усынин пишет в той же статье: «Отчего так получается? Из-за крайней (крайней.— *В. С.*) запущенности, низкой продуктивности природных кормовых угодий. Отсутствия должного внимания и несоблюдения простейших (простейших.— *В. С.*) правил эксплуатации привело к тому, что большие площади естественных сенокосов и пастбищ заросли кустарником и мелколесьем, покрылись кочками и заболотились».

Кандидат сельскохозяйственных наук А. Дударь, со своей стороны, подтверждает это положение на примере лугов Северного Кавказа (статья «Лугу нужен технолог».— «Правда», 25 января 1971 года). «Степное разнотравье год от году редеет. Там, где некогда (когда некогда? — *В. С.*) луг давал до тонны превосходного сена с гектара, теперь получают 2—3 центнера.

Парадоксальное явление — у лугов, этих бесценных кормовых угодий, нет хозяина. Во многих колхозах и совхозах специалисты имеют весьма приблизительное представление о состоянии лугов и пастбищ, не знают (забыли, что ли? — *В. С.*) их потенциальные возможности. За редким исключением в хозяйствах, располагающих большими площадями естественных угодий, нет даже планов использования этих богатств, не разработана простейшая (опять — простейшая! — *В. С.*) технология ухода за ними.

Улучшением лугов надо заниматься грамотно. Иначе это вызовет порчу угодий, которые потом приходится исключать из дальнейшей эксплуатации. Пример такого «улучшения» — распашка легких почв на зимних пастбищах «Черные земли», которая привела к сильной ветровой эрозии. Пески из Прикаспия двинулись в глубь калмыцких степей. Только продолжительный отдых и интенсивное залужение пашни многолетними травами способно возродить пастбища».

В приведенном отрывке А. Дударь коснулся и другого, наверно, все-таки главного вопроса — урожайности луговых угодий.

В министерстве я спросил у специалиста: какой урожай травы на лугу он считал бы если не оптимальным, то желательным? Работник министерства подумал, подумал и сказал: «Семьдесят центнеров зеленой массы с гектара — это было бы хорошо».

Для людей, слышавших о зеленой массе впервые, поясню, что урожай травы исчисляют трояко. Можно све-

шать траву как таковую, и это будет зеленая масса. Можно траву сначала высушить, превратить в сено, и тогда цифра будет другая, а именно: из пяти килограммов травы получается один килограмм сена. А еще иногда исчисляют урожай в условных кормовых единицах. За одну кормовую единицу принята питательность одного килограмма овса. Тогда получается, что трава лесная содержит 0,17 кормовых единиц, то есть 100 граммов такой травы заменяют 17 граммов овса. Килограмм травы заменяет 170 граммов овса. И таким образом, чтобы полностью заменить один килограмм овса, нужно взять травы лесной 5900 граммов, почти 6 килограммов.

Сено, оказывается, питательнее свежей травы. Так, например, одну кормовую единицу содержит: лугового сена 2,4 килограмма, заливного — 2,1 килограмма, степного — 1,9 килограмма.

Один килограмм овса заменяет: картошки 3,3 килограмма, моркови — 7,7 килограмма, свеклы сахарной — 3,8 килограмма, турнепса и кормового арбуза — 11 килограммов, кабачков — 14,2 килограмма.

Изучение подобных таблиц дело не только интересное, но и полезное. Так, дойдя в таблице до разных солом, я понял все значение так называемых средних цифр и условных эквивалентов, которыми очень часто питается статистика. Оказывается, килограмм пшеничной соломы содержит 0,20 кормовой единицы и, таким образом, питательнее и ценней как корм почти всех свежих, только что скошенных и еще обрызганных росой сочных, напичканных всевозможными фитонцитами, витаминами, эфирными маслами, глюкозидами, алкалоидами, хлорофиллами, ферментами и нектарами трав. Питательнее моркови, кормовой свеклы, тыквы, более чем в два раза питательнее кормовой капусты, викоовсяной смеси, люцерны, эспарцета, равноценна клеверу красному и кукурузе. Вот что такое обыкновенная солома с точки зрения кормовой единицы. Правда, можно догадаться, что кормовой арбуз, морковь, красный клевер и свекольную ботву корова будет уплетать с большей охотой, нежели ржаную солому, но зато, если вам надо написать отчет о заготовке кормов, то очень удобно этот счет выразить в условных кормовых единицах. Вот жаль только, что молоко должно быть не условным молоком, а натуральным, питательным и душистым.

О том, что молоко зависит от корма, напоминать, наверное, не надо. Но все же упомяну о двух случаях. Утрачено качество швейцарского сыра на его родине в Швейцарии оттого, что коров стали кормить однообразными, унифицированными кормами, вместо горного швейцарского разнотравья. Ценность особого, знаменитого барабинского масла зависела, оказывается, не от рецепта его приготовления и не от породы скота, но от особого букета трав, обитающих в барабинской степи. О кормовых единицах тогда не имели никакого представления.

Можно кормить человека одним свиным салом (огромное количество калорий!), не давая ему ни ягодки, ни петрушечки, ни гриба, ни огурца, ни молока, ни хлеба, ни рыбы, ни редьки, ни мяса, ни капусты, ни яблока. Четверо наших ребят, оказавшиеся в океане в бедственном положении, как известно, съели гармонь, которая тоже содержала, наверное, подобно соломе, какую-то часть кормовой единицы, а может быть, и целую кормовую единицу.

Я всегда вспоминаю об этих фактах, когда вижу, что луговое разнотравье постепенно подменяется травами сеяными, занимающими пахотные земли, то есть поля, где полагается расти хлебам: ржи, пшенице, ячменю, также гречихе, льну, гороху, а из кормовых культур тому самому овсу, который является кормовой единицей.

Какие же обстоятельства побуждают наших современных земледельцев занимать пахотные земли под травы, под зеленый корм? Несколько обстоятельств. Вот первое из них: укосная площадь сократилась в два раза. С тридцати миллионов гектаров до шестнадцати. Второе обстоятельство — чрезвычайно низкая урожайность наших лугов вследствие их запущенности и отсутствия, как мы недавно цитировали, простейшего ухода, простейших правил пользования.

Но улучшение лугов дело очень хлопотливое и трудоемкое. Надо срезать кочки, надо изводить кустарник, надо подсевать нужные травы, надо заводить дождевальные установки, надо организовывать, где это можно и нужно, лиманное поливание, которое, говорят, широко практиковалось в прежние времена, надо, наконец, удобрять.

Об уходе за лугами пишут немало. Для примера — несколько выписок.

«На XXIV съезде КПСС подчеркивалась необходимость всемерного укрепления кормовой базы, как одной из главных предпосылок дальнейшего ускорения развития животноводства. ...Огромный кормовой резерв — повышение продуктивности естественных лугов. Значительная часть угодий находится пока в запущенном состоянии, но планы залужений сенокосов и пастбищ выполняются далеко не везде».

«Близится пора сенокоса»
(Передовая статья газеты «Правда»,
11 мая 1972 г.)

«Получать дополнительные корма, наращивать их производство только на пашне — нельзя. Это может привести к сокращению посевов зерновых культур... Немедленно создать 1 150 000 гектаров высокопродуктивных лугов и пастбищ. Задача реальная, посильная, но она требует четкой организации дела, расторопности, высокой ответственности. Не все, к сожалению, готовы принять и выполнить эти требования... Во вторую весну пятилетки луговоды, все земледельцы Российской Федерации вступили с твердой решимостью достигнуть более высоких рубежей в кормопроизводстве. В этом помогает им развернувшееся массовое соревнование в честь 50-летия Союза ССР».

«Наши луга и пастбища».
(Передовая статья газеты «Советская
Россия», 28 апреля 1972 г.)

«Не зная, в каком состоянии пастбища, нельзя приниматься за их исцеление... Как за эти годы изменился растительный клевер, каков нынешний состав трав — ясности нет. Было время, когда здесь родили и прорастали такие высокоценные кормовые растения, как житняк, прутняк, грубая люцерна, типчак и другие, и с каждого гектара собирали до сорока центнеров кормовой массы, а теперь выпасы оскудели, урожайности на многих участках снизились... Луга — огромный источник дешевых кормов, большой резерв для увеличения производства молока, мяса, шерсти».

«Лугу нужен технолог». А. Дударь, кандидат сельскохозяйственных наук, Ставропольский край («Правда», 25 января 1972 г.)

Из этих выписок картина, по-моему, проясняется. Урожай трав на обширнейших российских лугах чрезвычайно низок, а повышать его — дело хлопотное. Оно требует «четкой организации, расторопности, высокой ответственности». Но корма нужны, потому что надо выполнять план по мясу и молоку. Где же их взять? Очень просто — сеять траву на пашне, отняв эту пашню у зерновых культур, у хлеба. А где же взять хлеб? Об этом пусть заботится государство. Где-нибудь да возьмет! Оказывается, из-за плохого состояния лугов одна третья части пашни идет под травы.

«И что удивительно,— пишет П. Усынин в газете «Советская Россия»,— даже в хозяйствах лесолуговой зоны, где хороши природные кормовые угодья, посевы кормовых трав стали, по сути дела, основным источником грубого и зеленого корма... В 1969 году под кормовыми культурами было занято в Вологодской области 54,5, Псковской — 48, Калининской — 37, Смоленской — 35 и Рязанской — 34 процента основных площадей. В то же время обеспечение скота кормами в зимовку 1969/70 года по хозяйствам этих областей не превышает 60—80 процентов потребности.»

Теперь назовем еще одну цифру. Всего под кормовые культуры в РСФСР занято 36 миллионов гектаров пашни. Встречные перевозки.

Не будем уж говорить о побочных результатах такой перевозки, как-то: эрозия распаханных почв в местностях с сильными ветрами, нарушение биологического равновесия на грандиозном участке планеты, огромное количество перемолотой техники... Нет, в эти проблемы мы вдаваться не будем. И так уж мы увлеклись и далеко отошли от главного и скромного предмета нашей книги — от травы, которая называется, как видим, то травой-муравой, то верблюжьей колючкой, то ночной фиалкой, то бурьяном, то незабудкой, то крапивой, то колокольчиком, а то ковылем, то — по-обиходному — цветами, а то, по-агрономически — разнотравьем, а то по справедливости — чудом, то по-производственному — зеленой массой.

* * *

Трава — сено, трава — цветы, трава — мурава, трава — красота, трава — пища, трава — одежда, трава — строительный материал, разрыв-трава, плакун-трава, трын-трава, трава — необъемлемая часть природы, трава — загадка природы, трава — жизнь... Какие-нибудь и еще можно назвать грани у такого понятия, как трава. И все же, когда я говорил, что собираюсь написать о траве, то в первую очередь переспрашивали: «Как, собираешься писать о целебных травах? Как интересно! Между прочим, есть в Вологодской области одна старуха...»

Даже ведь и Борахвостов, посылая мне свои записочки, нажимал на лечебные свойства, на пользование травами, на исцеление, на заговоры. Так уж получилось, что с понятием о травах связано у людей понятие о их лекарственности, целебности и едва ли не магической могущественности.

В исследованиях о травомедицине (на современном языке она называется фитотерапией), то и дело наталкиваешься на стремление выяснить или, по крайней мере, задаться вопросом, как далеко, в какую седую древность восходит траволечение, и узнаешь, что еще в древнем Египте, что еще в древней Греции, что еще в Вавилоне и во времена шумерской культуры... Но, по-моему, на этот вопрос есть и другой, более однозначный ответ. Человек, с тех пор как он существует на земле, знает, что трава бывает полезная и вредная, ядовитая и целебная. Человек начинал с того, что питался травой (плодами, листьями, корешками), все вокруг себя он перебрал и перепробовал на зуб, так ему ли не знать, от которой травы живот болит, а от которой проходит.

Впрочем, ничего не хочу упрощать. Травы, то холодея под росами, то разогреваясь на солнце, колеблемые ветром и омываемые дождем, поблескивающие под луной и хрустящие от мороза, травы, вступающие в общение со всеми без исключения химическими элементами, сущими на земле, а сверх того со светом, с космическими излучениями и друг с другом, воспроизводят в своих бесчисленных лабораториях такое количество сложнейших химических соединений, что и до сих пор на уровне современной химии и медицины эти соединения изучены очень мало. То и дело читаешь в современных травниках

про какую-нибудь траву, растущую у нас под ногами: «химический состав не изучен». На что уж сирень, которой полны палисадники, которые — рубль большой букет, которая красуется в кувшинах на каждой дачной веранде, и то читаем о ней в книге Н. Г. Ковалевой «Лечение растениями» (1971): «Растение мало изучено. В цветах найдены эфирное масло, феногликозид, сирингин, сирингопикрин, фарнезол, в коре и листьях — горький гликозид сирингин».

Не думаю, что с самых первых шагов человек, хотя он и был ближе к природе, чем мы с вами, разбирался лучше нас в феногликозидах и фарнезолах. Дело шло, по-видимому, на уровне прикладывания подорожника к нарыву или на уровне черемуховых ягод при расстройстве желудка. Или как олени поедают маралий корень во время гона, дабы вернее и полноценнее исполнить закон продления вида, или как заболевшая кошка ищет и ест нужную ей траву.

Были на земле люди, были и человеческие болезни. Но не было на земном шаре ни одной таблетки, ни одного шприца, ни одной ампулы. Были одни только травы.

Закон состоит в том, что если есть «да», то, значит, есть и «нет». На всякий яд должно быть противоядие, потому что организм природы един. Это еще в древних Ведах записано, что «действительное едино, наши мудрецы дают ему различные названия».

Швейцарец (медик и химик) Парацельс, живший в XV—XVI веках, прямо считал, что если природа произвела болезнь, значит, она произвела и средство против нее, причем искать это средство надо здесь же, поблизости от больного. Парацельс был против иноземных лекарственных трав. Это-то уж, наверное, слишком, но можно согласиться со средневековым швейцарским ученым: от каждой болезни, как бы она ни была страшна, в природе есть верное средство. Надо только его найти или в чистом виде, или путем комбинирования различных средств.

На что агрессивен, вернее неприступен чеснок! Он убивает вокруг себя все возможные и сущие на земле бациллы и бактерии. Ведь что такое эта головка чеснока для бактерий? Неприступная, несокрушимая крепость. Даже и не крепость, а некий излучающий центр, который убивает на расстоянии. Нельзя не только нанести ему урон, но и приблизиться к нему. Летучие вещества — фитон-

циды, как это нам понятно теперь, убивают все живое вокруг, как нас убили бы неведомые лучи, исходящие от неведомой звезды, если бы мы захотели к ней приблизиться, или как нас убило бы солнце при попытке приблизиться к его поверхности.

Но, однако, нашлась одна бактерия, которая все же пожирает чеснок. Это чесночница, превращающая крепкую, сочную смертоносную, неприступную и несокрушимую головку чеснока в мелкую сероватую сухую пыль. Крепость побеждена и рухнула. Она превратилась в порошок. На категорическое «да» нашлось категорическое «нет».

Итак, был человек со своими болезнями и были травы, таинственно заключающие в себе лекарства от этих болезней. И было это равноценно тому, как если бы оказались друг перед другом гениальная книга и существо, не умеющее читать.

Как начиналось освоение книги, как оно шло, мы не знаем в подробностях и в последовательности. Мы не знаем и того, в какой степени освоена нами эта книга теперь. То ли мы еще учимся читать и разбираем по складам некоторые слова, то ли уже проступают для нас из прочитанного некоторые явления и факты. Так дикарь стал бы осваивать письмена Толстого. Написано: дуб, гостиная, Наташа Ростова, орудие, выстрел, смерть, любовь, Наполеон, Москва...

Но ведь должна еще наступить та стадия, когда начнут пониматься не только отдельные слова, не только сами явления вычитанные в тексте, но и связь между этими явлениями. Сначала внешняя сюжетная связь, а потом все более глубокие, сокровенные связи. А потом уж прояснится и философия Льва Толстого.

Как бы там ни было, сначала между человеком и травами, между болезнью и лекарством не стояло никаких посредников. Ни больниц с многочисленным персоналом, ни огромных фармакологических комбинатов. Я не говорю, что это было лучше, я просто говорю, что так было. Человек находил и рвал траву, как собаки и кошки, заболев, убегают и находят для себя какие-то травы. Я много раз видел, как они их едят.

Но правы Ильф и Петров, говоря, что если в стране обращаются какие-либо денежные знаки, значит, непременно есть люди, у которых этих знаков накоплено много.

Точно также и с травами: если появились у людей крупицы знаний, драгоценные, воистину золотые крупицы, значит, постепенно нашлись люди, которые насобирали много этих крупиц. Могло получиться и так, что при стихийном распределении обязанностей (охотник, специалист по каменным топорам, хранитель огня) некоторые люди сделались исключительными носителями этих знаний. Они распоряжались ими при жизни, они могли распорядиться ими и на будущее, то есть передать другому человеку по своему выбору или не передать, а унести с собой, в могилу. Они могли называться жрецами, мудрецами, колдунами, ведунами, ведьмами, чаровницами, знахарями... Но они были у всех народов и во все времена. Более того, официальная медицина всех времен, если, конечно, можно так выразиться, всегда опиралась на опыт, накопленный по крупицам. Несколько фраз из предисловия Н. Г. Ковалевой к ее же книге «Лечение растениями». «Лечение целебными травами всегда привлекало к себе внимание человека...

Знакомство человека с их лечебными свойствами относится к глубокой древности...

Первые записи о лекарственных растениях встретились в наиболее древнем из известных нам письменных памятников, принадлежавших шумерийцам, жившим в Азии на территории нынешнего Ирана за 6 000 лет до н. э. ...

Лекари Шумера из стеблей и корней растений изготавливали порошки и настои...

Вавилоняне, пришедшие на смену шумерийцам в XI веке до н. э., а затем ассирийцы широко использовали растения в лечебных целях...

Вавилоняне применяли сотни лекарственных растений...

Вавилоняне уже тогда заметили, что солнечный свет вредно действует на лечебные свойства собранных растений, поэтому высушивали их в тени, что рекомендуется и современными руководствами по сбору и сушке лекарственных растений...

Источниками сведений о фитотерапии в Египте служат изображения лекарственных растений и иероглифы на стенах храмов, саркофагах и пирамидах. При раскопках захоронений египтян находят остатки сохранившихся до наших дней растений...

Опыт египтян в лечении растениями внимательно изучали врачи древней Греции, в медицине которой часто использовались растения...

Первое дошедшее до нас обстоятельное сочинение о лекарственных растениях, в котором приведено научное обоснование их применения, принадлежит... Гиппократу. В нем он описал 236 лекарственных растений, которые применялись тогда в медицине... (Он) считал, что лекарственные вещества содержатся в природе в оптимальном виде и что лекарственные растения в необработанном виде или в виде соков оказывают лучшее действие на человеческий организм...

В Древнем Риме медицина развивалась под сильным влиянием греческой. В народной медицине римлян... широко использовались дикорастущие, а позднее и сельскохозяйственные растения...

Лечение растениями широко применялось и в странах Восточной Азии: в Китае, Индии, Японии, Корее...

Первая китайская книга о лекарственных растениях, в которой приведены описания 900 видов растений, датирована 2500 г. до н. э. ...

Известный фармаколог, живший в VI веке, Ли Шичжень... в 52-х томах своего произведения описал 1892 лекарственных средства, главным образом растительного происхождения...

Издавна использовались растения для лечения и в Индии...

На Цейлоне большой популярностью пользуются врачи народной медицины...

В Монголии, которая располагает богатой флорой...

Тибетская медицина возникла примерно за 3000 лет до н. э. ...

Данные о народной медицине Африки...

В Болгарии произрастает свыше 3000 видов растений, из которых около 500 применяется...

В аптеках Польши всегда имеется большой ассортимент галеновых препаратов...

Французская народная медицина накопила большой интересный и полезный опыт...

Издавна применялось лечение растениями и в Англии...

В Италии, Австрии, Голландии...

В странах Южной Америки...

В Центральной Америке, Астралии...»

Одна из самых ранних славянских травниц называлась прекрасным именем — Добродея. Речь идет о внучке Владимира Мономаха Евпраксии Мстиславовне. Читаем в заметочке в популярном журнале: «С детских лет Евпраксия проявляла интерес к народной медицине, изучала свойства трав, умела приготовлять лекарства из них. Среди ее пациентов были люди знатные и крестьяне. Очевидно, Евпраксия им успешно помогала, летописи сообщают, что ее прозвали Добродеей».

Но позвольте, что значит: «с детских лет проявляла интерес... изучала...»? Ни с того, ни с сего начала наугад рвать то эту траву, то эту и наугад давать разные травы больным людям? Проще предположить, что в детстве кто-то передал ей те золотые крупицы знаний, о которых мы говорили, а вместе со знаниями заронили интерес, привили любовь. В лесную избушку на берегу Днепра бегала княжеская дочка к какой-нибудь знахарке (от слова «знание», «знать»), на княжеском ли дворе какая-нибудь нянька оказалась носительницей редкостных знаний и выбрала смышленую княгинюшку, как наследницу, монашка ли в киевском монастыре, известный ли официальный врач Руси, грек Моанн Смер, выписанный из Царьграда дедом Добродеи Владимиром Мономахом, успел благословить и напутствовать... Но скорее, лечение травами было тогда более обыкновенным делом, чем нам теперь представляется. Вероятно, существовала определенная медицинская культура и оставалось только вобрать ее, обобщить накопленный опыт. На пустом месте Добродея возникнуть не могла. Читаем в заметке дальнейшие сведения о ней.

«Евпраксию рано просватали за византийского царевича Алексея Комнина, и когда ей исполнилось 15 лет (значит, допятнадцатилетняя девчонка врачевала знатных и крестьян! — *В. С.*), она со свадебным поездом отправилась в Царьград. Здесь по обычаю страны ей дали новое имя Зоя. Овладев греческим языком, она серьезно занимается изучением трудов знаменитых греческих медиков Галена, Гиппократа, беседует с учеными-современниками.

Здесь в Византии Евпраксия и написала свой научный труд — единственный сохранившийся древнерусский лечебник.

Написанный на греческом языке, он в значительной степени основан на опыте народной медицины Древней Руси.

Сочинение Евпраксии состоит из пяти частей. Первая содержит общие сведения о гигиене, рассматривает влияние времен года и разных климатических условий на организм. Отдельные главы повествуют о движении и покое, о сне и пробуждении, о пользе бани, «которая очень предохраняет здоровье и укрепляет тело».

Следующую часть можно было бы назвать гигиеной матери и ребенка. Затем Евпраксия пишет о разумном подходе к питанию. Две последние части посвящены внутренним и наружным болезням.

В конце прошлого столетия русский историк Х. М. Лопарев нашел это сочинение в Италии, во Флорентийской библиотеке Лоренцо Медичи и установил, что автором труда является наша Мстиславна. Он пишет: «Трактат Зои имел для своего времени важное значение, это доказывает факт пользования им со стороны греческих медиков, которые ставили Зою рядом с другими врачебными знаменитостями (Н. Григорьева, Киевская Добродея — «Работница», 1967, № 7).

Можно найти где-нибудь и вычитать, сколько лекарственных трав использовала в прошлом народная медицина Грузии (372 травы), как обстояло дело с народной медициной в Армении, какого мнения был о целебных травах Авиценна, и заодно узнать, что в Риге уже в 1291 году существовало две аптеки, торговавшие травами.

Я думаю, если поинтересоваться уже не из книг, а у живых людей, наверное, мы узнаем, что лечились травами и ненцы-оленеводы, и манси, и эвенки, и тунгусы, и алеуты, и каждый народ, живущий среди трав и деревьев.

Нельзя сказать, что современная, сверкающая хромированной аппаратурой и ослепляющая белизной халатов медицина вовсе отрекается от трав и растений. Да и как бы она отреклась, если бо́льшая часть ее средств идет от растений. Хина — это кора дерева, опий — это мак. Атропин, сердечные средства из наперстянки, анис, мята и ландыш, не говоря уж о валерьяне, даже и пенициллин — плохо было бы без всех этих средств современной медицине.

Не напрасно один очень крупный современный медик воскликнул, что он отказался бы быть врачом, если бы не было наперстянки!

Вытяжки, экстракты, настойки, соки, сиропы, все эти витаминные и лекарственные шарики доступны каждому человеку, стоит ему только зайти в аптеку.

Почти в каждой аптеке существует отдел, где торгуют травами. Тмин, зверобой, мята, анис, полынь, крапива, кустарник, можжевеловая ягода, медвежье ушко (толокнянка), подорожник, березовые почки, липовый цвет, тысячелистник, кукурузные рыльца, шалфей, бессмертник, ромашка, девясил, шиповник, кора крушины, мать-мачеха обыкновенны и повседневны в любой аптеке. Конечно, не всегда могут оказаться там корень валерьяны, аир и калган, золотой корень или салеп, но, скажите, с чем только не может быть временных перебоев! Я хочу сказать, что в целом торговля травами налажена хорошо.

Есть ботанические сады, где изучают и возделывают целебные травы. Есть многочисленные кафедры при крупных университетах, где тоже занимаются травами, есть Академия наук СССР, есть Академия медицинских наук СССР, есть академии наук в союзных республиках, есть фармацевтические институты, есть Центральный аптечный научно-исследовательский институт, есть, наконец, ВИЛАР — Всесоюзный институт лекарственных растений, который только и занимается целебными травами, рассылает экспедиции в разные концы страны, выращивает сотни и тысячи растений, исследует, рекомендует, внедряет. Есть, наконец, многочисленные издания — замечательные книги о лекарственных растениях, доступные каждому человеку в СССР...

И вот, оказывается, вместе со всем этим есть, встречаются, существуют знахари и знахарки. Мне это показалось столь забавным, что я стал искать случая непременно познакомиться хоть с одним, хоть с одной из них.

В самом деле, когда не было книг, выходящих стотысячными тиражами, когда не было в каждом селе медпункта, когда знания могли передаваться только устно от одного человека к другому и копилка знаний вовсе не представляла из себя книги в ширпотребовском картонном переплете или хотя бы рукописного травника, существующего в единственном экземпляре, тогда можно было представить себе эту копилку... У меня лично понятие о знахарях, о травниках и травницах связывалось с замшелой избушкой где-нибудь в дремучем лесу или избой в деревне (обязательно на краю деревни), наполовину ушедшей в землю. И встретит согбенная старушка или старичок-лесовичок и полезет старуха на полку, за бож-

ницу или покопается в старом сундуке, достанет кусочек сухой травы. Поколдует над ним, дунет, плюнет, а потом же даст в руки и расскажет, как пользоваться.

Никогда не приходилось встречаться с знахарями, а литература, кино, вообще искусство создали такое вот идиллическое представление о них.

Вспомним знаменитое полотно Михаила Васильевича Нестерова. Изображен лес. Землянка в лесу. Вокруг цветущие летние травы. Русская женщина, молодая и красивая, присела около землянки на лавочке, а из землянки выползает дед с пронзительно синими глазами. Пан. Дух природы. Колдун, ведун, знахарь. Женщина исполнена решимости, но одновременно сквозят в ней смущение и надежда. Называется картина «За приворотным зельем». Таинственно и красиво. Разве трудно дорисовать теперь внутренность старикова жилища, пучки трав, свисающие там и тут, мешочки с травами? Велика ли может быть такая землянка, просторно ли в ней? Каков размах знахарского дела? Гадать об этом не надо. Старик выходит из своего жилища, пригибаясь. Низкий потолок, и свету в землянке мало. Старик знает свое дело и дает щепотку приворотного зелья (сухой травы, корешков) или пузырек — настойку в готовом виде.

Существует еще и такой литературный образ собирателя трав. Раскрываю том Алексея Константиновича Толстого:

Пантелей-государь ходит по полю,
И цветов и травы ему по пояс.
И все травы пред ним расступаются,
И цветы все ему поклоняются.
И он знает их силы сокрытые,
Все благие и все ядовитые,
И всем добрым он травам, безвредным,
Отвечает поклоном приветным,
А которы растут виноватые,
Тем он палкой грозит суковатою.

По листочку с благих собирает он,
И мешок ими свой наполняет он,
И на хворую братию бедную
Из них зелие варит целебное.
Государь Пантелей!
Ты и нас пожалей,
Свой чудесный елей
В наши раны излей.

В наши многие раны сердечные;
Есть меж нами душою увечные,
Есть и разумом тяжко болящие,
Есть глухие, немые, незрящие,
Опоенные злыми отравами,—
Помоги им своими ты травами!..

Вот я и говорю: ну какой можно было представить себе размах знахарского дела, если он ходит по полю, срывает по листочку и кладет в мешок? Пусть хоть и осьминный мешок (что мало вероятно, исходя из нарисованного поэтом образа, легче вообразить небольшую суму через плечо), все равно, много ли натолкаешь травы в мешок?

Я никак не мог освободиться от этих масштабов, когда один молодой журналист (не буду говорить где, около какого большого города) повез меня к настоящей — будто бы знахарке, с которой будто бы он, Сергей, хорошо знаком. Воображались мне избушка, землянка, сума через плечо, старуха с клюкой, с носом, врастающим в подбородок, и седыми космами, но не вязалось с воображаемыми картинками уже одно то, что ехали к знахарке на такси.

— Отшельница? Хижина? — пытался расспрашивать я. Но чем больше Сергей рассказывал о Митрофанихе (фамилия ее, допустим, что Митрофанова), тем настойчивее внедрялось в мое сознание слово «усадьба».

— Странно, что к знахарке на такси, не так ли?

— Что тут странного? Она и сама в летнее горячее время, когда для сбора трав дорог каждый день, нанимает такси.

— ???

— Ну да. Заключает договор с таксомоторным парком на все лето. Утром ежедневно ей присылают машину.

— Но ведь это же...

— Насчет денег, что ли? Тридцать рублей в день,— и спокойно добавил, как о незаслуживающем внимания: — Деньги у нее есть.

О, нестеровский старичок, вылезающий из темной землянки, о, государь Пантелей, обрывающий по листику и кладущий оные листики в суму: снился ли вам подобный размах? Небось такси не простаивает, ежели тридцатка-то в день. Надо, наверно, эту тридцатку на худой конец оправдать. И еще один мотив: техника двадцатого века на службе у знахарки! И ехали мы отнюдь не в лесные

дебри, а в благоустроенный поселок поблизости большого города.

— Вы-то как с ней познакомились?

— Немного интересуюсь травами. Но, конечно, не на уровне лечения, хотя бы самого себя, а на уровне составления домашних бальзамов.

— Сколько же вы берете трав?

— До сорока. Зверобой, аир, калган, кровохлебка, пустырник, мята, полынь, девясил, тмин, душица... Надо на каждой из сорока трав сделать спиртовой экстракт, а потом смешивать их в нужных пропорциях и разбавлять до желаемой крепости. Или в чай по одной ложке...

— Бог с вами! Такое добро — и в чай? Я тоже составляю себе бальзамы и тоже до сорока составных частей. Впрочем, можно и восемьдесят... Значит, только бальзамы и послужили причиной знакомства с этой, как ее, Митрофанихой?

— Не только. Однажды попробовали ее судить за то, что занимается лечебной практикой, не имея медицинского образования и диплома. Суд привлек внимание прессы, а я — журналист.

— Умер, что ли, кто-нибудь от ее трав?

— От трав, если, конечно, не брать явно ядовитых, умереть невозможно. Пользы может не быть, но и вреда не будет. Пей мяту, крапиву, шалфей, подорожник — ну какой от них вред?

— Осудили?

— Не удалось. Свидетелей человек восемьдесят вызвали в суд. Но поскольку и правда никакого вреда они от бабки не получили, то наговаривать на нее не стали. Однако врачебной деятельностью заниматься ей запретили, и состоялось сожжение трав.

— Вот сюжет для живописного полотна!

— Но травы разве виноваты?

— Я все понимаю, но поймите и закон. Действительно, не имея медицинского образования и диплома, заниматься врачебной практикой... Если каждый начнет...

— Вы можете мне дать какой-нибудь совет? Ну хотя бы по составу бальзамов? Или по диете, если я случайно пожалуюсь вам на печень? Сразу скажете: не ешьте три «ж»: жир, желток, жареное. Не так ли? Может быть, это тоже медицинский совет? И как же не имея диплома...

— Разные вещи. Во-первых, это советование я никогда не сделаю своей профессией, главным делом жизни. Во-вторых, я за этот совет не возьму с вас пятерку.

Между тем мы подъехали. Глухой забор. Тесовые ворота и рядом калитка. Большая кнопка электрического звонка. Усадьба. Эту кнопку и нажимают все, кто захотел бы обратиться к Митрофанихе, к бабе Соне. Но я, пожалуй, буду называть ее просто Софьей Павловной.

Нам открыла другая женщина, молодая, никак не подходящая по возрасту на роль хозяйки такой усадьбы. Видел я потом на усадьбе и еще женщин, можно сказать — целый штат. Будто бы бывшие пациентки из благодарности приходят и помогают. Приходится верить. Но без этих вспомогательных женщин нельзя было бы понять, как одинокая на восьмом десятке Софья Павловна управляется с заготовкой, сушкой и сортировкой трав, упаковкой их в ящики, как она успевает отправлять многочисленные посылки с травой в разные концы страны, как ведет обширную (любой министр позавидует) переписку.

Пройдя в калитку, мы оказались во дворе, который был бы чрезвычайно широким и просторным, если бы справа не стояло двух сараев. Левее — сам дом. Крыльцо. На крыльце Софья Павловна, полноватая, розоволицая, синеглазая старуха — платок на плечах, руки на животе, приветливая улыбка на губах. А в глубине глаз все же и вопрос: кто такие, зачем пожаловали? Но при виде Сережи тревога в глазах погасла.

Свои немногие впечатления (мы провели у Софьи Павловны полдня) я сейчас разгруппирую, чтобы дать понятие о каждой группе.

Сад и огород. Шел дождь, под ногами на тропинках было склизко и грязно. Трава и кусты обдавали водой, поэтому с садом и огородом мы ознакомились очень бегло. Больших деревьев я как-то не запомнил. Но есть там кусты малины, смородины, есть и вишенье. По сторонам тропинок растут разные травы, которые в другом саду можно было бы считать за сорняки, за запущенность огорода, но которые здесь росли со смыслом, были посеяны хозяйкой. На грядках я видел и ландыши, и любку двулистую, и наперстянку, но, конечно, не огород является главным поставщиком сырья для Софьи Павловны.

Сараи. На чердаки обоих сараев мы забирались по обыкновенным приставным крестьянским лестницам. Черда-

ки завешаны и заложены сушащимися травами. Заготовка их поставлена на широкую ногу. Я думаю, если бы сложить все травы вместе, получилось бы несколько центнеров. Много пижмы, тысячелетника, зверобоя, болиголова, пустырника, ромашки, мяты, таволги, тмина, укропа, кровохлебки, крапивы, чистотела, кипрея, дягиля, васильков.

При всем том на чердаках, где развешаны и разложены десятки трав, чистота и порядок. Смешанный аромат трав вдыхаешь жадно, ненасытно, даже крякаешь от удовольствия, словно пьешь очень вкусный и вместе с тем крепкий напиток.

На земле перед лестницей нас заставили разуться, да и правда, было бы кощунством ходить по такому чердаку в уличных башмаках.

Склады. Высушенные травы Софья Павловна хранит в больших картонных коробках, которые берет в продовольственных магазинах. Там они освобождаются из-под разного импортного товара. Картонными коробками заставлены коридоры в доме, терраса, чуланы, сени — все, кроме трех жилых комнат. На каждой коробке сделана четкая надпись: аир, подорожник, одуванчик, валериана.

Комнаты. Чистые, опрятные комнаты: одна — вроде горницы, другая — кухня. И в той и в другой есть иконы. Некоторые в хороших окладах. Подарки. Большую комнату мы обошли и осмотрели, а в маленькой сели за стол. Есть, кажется, еще и спальня, но мы туда не ходили.

Стол. Всевозможная деликатесная рыба. Пелядь (сырок), муксун, стерлядь-сыроежка, сосвинская селедка, осетрина, икра черная и красная, коньяки лучших сортов, разнообразные кагоры и собственные настойки и наливки, которые только и пригубливает из рюмочки сама хозяйка.

— Присылают. Не выбрасывать же! — коротко пояснила нам хозяйка ассортимент стола.

Теперь — главная группа впечатлений. В разговоре я убедился, что у Софьи Павловны есть пусть и своеобразное, но медицинское мышление. Речь зашла о больном с раковой опухолью, который четвертый год уж пьет лекарственные сборы Софьи Павловны.

— Что же, надеетесь?

— Так ведь рак! Не бог же я! Однако четыре года, если не лучше, то и не хуже.

— У моего знакомого в Москве есть подозрение на опухоль, что бы ему помочь, чем укрепить организм?

— Организм! Организм укрепишь, а опухоль куда денешь? Организму лучше и опухоли лучше.

— С какими больными чаще приходится иметь дело?

— Да ведь время-то какое? На месте не посидят. Все куда-то едут, торопятся, суетятся, опаздывают. На все нужны нервы. А где нервы, там и болезнь. Думают, язва от еды, а она от нервов. И сердца никудышные от того же, и желчь и камни...— Софья Павловна задумалась.— Мужчин много обращается. Плачут. В семье ведь как? Всякое может быть, ругань и опять мир после ругани. А уж если этого самого нет, мирись не мирись...

— Отчего такое поветрие?

— Те же нервы, я думаю. И потом — винище. Пьют без памяти, а хотят здоровыми и крепкими быть.

— Помогаете?

— Отчего же не помочь! Вон на днях ящик коньяку один привез. Дочь родилась. А хотел вешаться...

Вообще же складывалась следующая картина ее деятельности. Первый бесспорный факт. Люди обращаются к ней уже с готовым диагнозом, находившись по сельским, районным, а то и городским поликлиникам. Обращаются, прослышав о ней и рассуждая очень просто: вреда не будет, а может быть... Так что определять болезнь, исследовать организм, делать многочисленные и сложные анализы (кровь, моча, кислотность желудочного сока, бронхоскопия, рентген, электрокардиограмма, реакция «аперке» или «манту») — все это уже сделала за нее официальная медицина с ее современным оборудованием. В некотором смысле можно сказать, что современная знахарка невольно паразитирует на теле официальной медицины.

Во-первых, повторим: диагноз известен заранее. Но, во-вторых, известны заранее из многих книг и целебные свойства трав. В этих книгах все травы разложены по полочкам. Вот они, эти полочки.

1. Тонизирующие, возбуждающие и общеукрепляющие (перечислено 80 трав).
2. Успокаивающие — 105 трав.
3. Применяемые при бессоннице — 47 трав.
4. Болеутоляющие — 218 трав.
5. Применяемые при головной боли — 63 травы.

6. Противосудорожные и противоспазматические — 88 трав.

7. Отвлекающие (средства рефлекторного действия) — 12 трав.

8. Применяемые при нервных и психических заболеваниях — 142 травы.

9. Сердечно-сосудистые — 94 травы.

10. Применяемые при атеросклерозе — 82 травы.

11. Применяемые при гипертонии — 49 трав.

12. Повышающие кровяное давление — 117 трав.

13. Применяемые при удушье и одышке — 45 трав.

14. Желудочно-кишечные. Возбуждающие аппетит и улучшающие пищеварение — 80 трав.

15. Слабительные — 146 трав.

16. Рвотные — 16 трав.

17. Противорвотные — 24 травы.

18. Применяемые при язвенной болезни — 41 трава.

19. Применяемые при различных желудочно-кишечных заболеваниях — 153 травы.

20. Вяжущие — 149 трав.

21. Мочегонные — 242 травы.

22. Потогонные — 100 трав.

23. Уменьшающие выделение пота — 11 трав.

В таком же духе перечисляются еще многие и многие травы, как-то: применяемые при водянке и отеках, желчегонные, действующие на обмен веществ, кроветворные, кровоостанавливающие, жаропонижающие, молокогонные, противоглистные, применяемые при ревматизме и подагре, укрепляющие волосы... вплоть до отпугивающих насекомых, мышей и крыс.

В каждом разделе мы видим десятки и даже сотни рекомендуемых трав. Вопрос с травами настолько ясен, что обычно в южных городах (например, в Кисловодске) на базаре есть целые ряды травниц. Красиво засушенные, не перемолотые в труху, а цельными снопиками лежат тут тысячелистник, душица, чабрец, земляника, бессмертник. Грудками (на рубль) наложены калганный корень, девясил, аир. Клубеньки ятрышника, высушенные на ниточке, идут по 3 рубля 50 копеек за десяток. Облепиховые ягоды — 40 копеек стакан. Но главное, на бумажках карандашом накорябано: «от давления», «от головной боли», «от геморроя», «от язвы желудка». Начинаешь спрашивать, как пользоваться, ответ один:

— Купите, тогда и расскажу.

Стоит истратить рубль, чтобы услышать наставления травниц. Но вклинившись раза два в ее частоговорку и переспросив и поставив ее в тупик (а это сделать нетрудно), заставляешь ее протянуть руку под прилавок. Тебе протягивают все ту же книгу о лекарственных травах: Носаля, Махлаюка, Серегина с Соколовым...

Итак, известен диагноз, известно и действие трав. Что остается на долю знахарки? Выбрать несколько трав соответствующих болезни, скомбинировать их, то есть составить то, что в государственных аптеках называется сборами (почечный сбор, желудочный сбор, желчегонный сбор и т. д.), вручить этот сбор больному и... получить деньги. Софья Павловна так и делает. Больше того, во многих случаях она действует заочно, не видя пациента в глаза. И даже не во многих, а в большинстве случаев. Больной присылает письмо, в котором подробно описывает свою болезнь. Так, как в поликлинике ему сказали. Баба Соня собирает травы и посылает их посылкой. Наложенным платежом. Просто и хорошо. Сергей говорит, что очень часто баба Соня не берет денег заранее:

— Вот погоди,— говорит она,— если поможет моя трава, тогда и заплатишь. И будто бы идут потом от благодарных пациентов ящики итальянского вермута, дорогие коньяки, красная рыба, икра, наличные деньги.

Думаю, что альтруизм (человеколюбие) не исключается из побуждающих мотивов Софьи Павловны. Действительно, ей за семьдесят, два века не проживешь, на ее век, наверное, ей уже хватит. Можно было бы и приостановить бурную деятельность. Значит, помимо денег есть и другое — любовь к травам, быть может, а то и к людям. Но с другой стороны, на чистом альтруизме нельзя было бы арендовать на летние месяцы ежедневно такси (тридцать рублей в день, девятьсот рублей в месяц, да еще содержать штат помощниц).

Тут к Софье Павловне пришел молодой мужчина за очередной, как выяснилось, порцией лекарства. Софья Павловна взяла из его рук большой мешок, который называется картофельным, и пошла ходить между своих картонных коробок. Остановившись, она взглядывала испытующе то на одну коробку, то на другую, словно прицеливалась или дожидалась наития, потом запускала руку, вынимала большую горсть травы и клала ее в мешок. При-

горшня (две—три пригоршни) служила ей мерой, вместо наивных аптекарских весов, миллиграммов и кубических миллиметров. Отсюда горсть и отсюда горсть. Отсюда. Теперь отсюда. Теперь этой добавить. И этой тоже... Парень ушел, унося на плечах мешок, набитый сушеными травами. Хватило бы корове два раза наесться.

Я посмотрел на Софью Павловну с новым любопытством. «Вреда не будет,— как бы сказал мне ее взгляд,— все травы проверены, вредных среди них нет!»

Еще раз пройдя по комнатам Софьи Павловны и осмотрев их, я увидел то, что непременно надеялся увидеть: стопу книг о лекарственных растениях.

Конечно, каждый врач, каждый, там, нейрохирург должен читать и читает книги по своей специальности, и в этом нет ничего странного, а тем более предосудительного. Напротив, было бы странно видеть современного врача, не читающего книг по своей специальности.

Но, с другой стороны, если своя болезнь человеку заранее известна и если свойства трав изложены в книгах, то на чем же зиждется потребность людей обращаться к Софье Павловне и ей подобным? Платить втридорога не известно за что. И это при бесплатной-то медицине, при всем ее могуществе и всеобщем уважении к ней! Не действует ли здесь врожденное, инстинктивное или из поколения в поколение дошедшее до нас доверие к травам, подсознательная надежда на то, что природа не подведет, выручит и спасет, особенно, когда говорят «нет, нет и нет». Доверие это обосновано. На природу, действительно, можно положиться. В ней есть все, что нужно человеку для здоровья и жизни: и целебные вещества, и пример жизнестойкости, и красота.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Тимирязев. «Жизнь растений»

«Значит, лист, в котором мы признали уже единственную естественную лабораторию, где заготовляется вещество на оба царства природы, тот же лист и в том же самом процессе усвоения углерода запасает на них энергию солнечного луча, становится, таким образом, источником силы, проводником тепла и света для всего органического мира».

«Ни один растительный организм не испытывал на себе человеческой несправедливости в такой степени, как лист...

Эта вековая несправедливость, эта черная неблагодарность освещена даже поэзией. Каждый из нас, конечно, еще с детства знает басню Крылова «Листы и корни», и, однако, эта басня основана на совершенно ошибочном понимании естественного значения листа. Крылов оклеветал в ней листья, и потому в качестве ботаника, значит, адвоката растения, я возьму на себя их защиту и попытаюсь предложить взамен крыловской другую басню, конечно, менее поэтичную, но зато более согласную с природой и заключающую более строгую мораль. Смысл крыловской басни всякому известен. Корни — это те,

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, в науки,
Предаваться страстям и мечтам.

Листья — это мы, «погружающиеся в искусства, в науки», мы, пользующиеся воздухом и светом и на досуге «предающиеся страстям и мечтам». Признавая только за корнями трудовую, производительную деятельность, Крылов видит в листьях один блестящий, но бесполезный наряд и, выставляя им на вид всю пустоту их существования, требует от них, чтобы они хоть были благодарны своим корням.

Но справедливо ли такое мнение? Точно ли листья, настоящие зеленые листья, существуют для того только, чтобы шептаться с зефирами, чтобы давать приют пастушкам и пастушка́м? Точно ли листья одной благодарностью в состоянии платить корням за их услуги? Мы знаем, что это — неверно. Мы знаем теперь, что лист не менее корня питает растение. В прошедшей беседе мы видели, что сталось с листьями и всем растением, которым корни отказали в том железе, которое они с таким трудом добывают из земли. В следующем мы увидим, что сталось бы и с корнем, если бы ему листья отказали в той воздушной, неосязаемой пище, которую они добывают при помощи света.

Итак, листья Крылова совсем не похожи на настоящие листья, если сравнение с его бесполезными листьями

может быть только позорно и оскорбительно, то сравнение с настоящими листьями вполне лестно.

Но если изменяется содержание басни, изменяется и ее мораль. Какую же мораль выведем мы из нашей басни? Мораль эта может быть одна. Если мы желаем принять на свой счет сравнение с листом, то мы должны принять его со всеми его последствиями. Как листья, мы должны служить для наших корней источниками силы — силы знания, той силы, без которой порой беспомощно опускаются самые могучие руки. Как листья, мы должны служить для наших корней проводниками света — света науки, того света, без которого нередко погибают во мраке самые честные усилия.

Если же мы отклоним от себя это назначение, если свет наш будет тьма или если, подобно вымышленным листьям баснописца, мы не будем платить нашим корням за их услуги услугами же, если, получая, мы не будем ничего давать взамен, тогда мы будем не листья, тогда мы не вправе будем величать себя листьями, тогда в словаре природы найдутся для нас другие, менее лестные сравнения. Гриб, плесень, паразит — вот те сравнения, которые в таком случае ожидают нас в этом словаре. Такова мораль, которую мы можем извлечь из знакомства с листьями, не теми, которые создало воображение поэта, а настоящими, живыми листьями,— мораль, быть может, более суровая, но зато согласная с законами природы».

«Мы с удивлением открываем, что явления движения не только не отсутствуют, но даже очень распространены в растительном мире».

«Но если растение способно двигаться, то не может ли оно и чувствовать? Если под чувствительностью разуметь отзывчивость к раздражению, то есть раздражительность, возбудимость, то мы должны признать эту способность и за растением».

«Заставляя растение вдыхать пары эфира или хлороформа, мы можем анестезировать его точно так же, как анестезируем человека во время тяжкой хирургической операции. Для этого стоит только горшок с мимозой покрыть стеклянным колпаком и под этот колпак положить губку, смоченную эфиром или хлороформом. Пробыв не-

которое время под колпаком, мимоза утратит способность к движению: как бы мы ее ни раздражали, она не станет складывать своих листочков, но, простояв несколько времени на воздухе, не зараженном вредными парами, оно вновь приобретает свою чувствительность. Чтобы опыт удался, нужно только не оставлять растения слишком долго под влиянием анестезирующего вещества, иначе оно более уже не поправится, а погибнет безвозвратно. Но то же оправдывается и над человеческим организмом...»

«Еще один последний вопрос: обладает ли растение сознанием? Но на этот вопрос мы ответим вопросом же: обладают ли им все животные? Если мы не откажем в нем всем животным, то почему же откажем в нем растению? А если мы откажем в нем простейшему животному, то скажите, где же, на какой ступени органической лестницы лежит этот порог сознания? Где та грань, за которой объект становится субъектом? Как выбраться из этой дилеммы? Не допустить ли, что сознание разлито в природе, что оно глухо тлеет в низших существах и только яркой искрой вспыхивает в разуме человека? Или, лучше, не остановиться ли там, где порывается руководящая нить положительного знания, на том рубеже, за которым расстилается вечно влекущий в свою заманчивую даль, вечно убегающий от пытливого взора беспредельный простор умозрения?»

В детской книге «Увлекательная астрономия», написанной В. Н. Комаровым, есть одно замечательное место. Речь идет о возможных встречах разных цивилизаций, отстоящих друг от дружки на миллиарды световых лет, и о том, смогут ли эти цивилизации, встретившись, понять друг друга. Автор рассуждает логично:

«Представьте себе, что разумные обитатели какой-либо планеты на своем корабле прилетают в нашу солнечную систему и совершают посадку на поверхности естественного спутника Земли — Луны. Медленно шагают они в своих причудливых скафандрах среди лунных гор и долин, внимательно разглядывая незнакомую местность. Но что это там впереди? Какая-то странная конструкция, напоминающая раскрывающийся лепесток. Внутри лепестка контейнер непонятного назначения. В его верхней части

прозрачный глазок. К небу торчат какие-то гибкие прутики. Что это? Причудливая игра природы? Один из ее удивительных капризов!

— Вы, конечно, догадываетесь,— продолжает В. Н. Комаров,— что речь идет о Советской космической станции «Луна-9». Но и космонавты с другой планеты не верят в чудеса. А случайное объединение атомов и молекул в подобный аппарат было бы самым настоящим чудом. Вывод один: здесь побывал разум. Этот аппарат — посланец разумных существ. Он сделан их руками...»

«Точно так же, если бы мы с вами,— заканчивает автор «Увлекательной астрономии»,— высадившись на поверхность незнакомого небесного тела, увидели там, скажем, автомобиль, мы, без всякого сомнения, могли бы сказать, что это — проявление разума».

Можно предположить и такую ситуацию. Пришельцы из других миров высадились на Землю. Космонавты видят, стоит конструкция — аппарат. Прямой стержень, достаточно прочный, чтобы поддерживать всю конструкцию, и достаточно гибкий, чтобы не ломаться при ветре и при других внешних случайных воздействиях. На стержне укреплены горизонтальные плоскости, обращенные к солнцу, к свету. Нетрудно догадаться о назначении плоскостей: они улавливают солнечную энергию. Разумные космонавты тотчас обнаруживают, что солнечная энергия, уловленная хитроумными приспособлениями (плоскости способны менять свое положение в пространстве, дабы всегда быть обращенными к свету), тотчас начинает путем фотосинтеза перерабатываться в сложнейшие органические вещества, которые распределяются по нужным местам. Внутри аппарата циркулирует жидкость. В определенный момент аппаратом производится небольшой, совсем уж чудесный аппаратик, которому задается точная программа на воспроизведение будущего нового аппарата.

Космонавты видят, что вся конструкция и все действия незнакомого аппарата основаны на точных законах математики, геометрии, механики, химии, физики, что аппарат умеет взаимодействовать с космосом (собственно, на этом взаимодействии и основана его деятельность), с Землей, с окружающей средой, с другими, похожими на него аппаратами: что он не только взаимодействует со средой, но и организует ее в своих интересах.

Какой же вывод сделают разумные обитатели космоса, увидев наше земное растение?

Нахожусь во власти странного ощущения. Идя по луговой тропинке, по меже, по лесной опушке, по всякой земной дороге, временами воображаю себя пришельцем из какой-нибудь далекой галактики и с первозданным удивлением разглядываю конструкции и модели, называемые здесь то деревом, то травой, то лютиком, то ромашкой, то подсолнухом, то березой. В каждой из этих моделей я готов увидеть великое чудо. Но в чудеса я не верю, и тогда мне остается только одно: согласиться с воображаемыми космонавтами из книги В. Н. Комарова и предположить, что здесь, в этих сложных и во многом еще не понятных мне, не изученных мною, таинственных для меня зеленых сооружениях, а вернее, в зеленых живых существах, действительно «побывал разум», а если по науке — природа, эволюция, жизнь.

Возвращаясь к первым строкам этой книги, приходится признать еще раз, что отсутствие полезных, конкретных знаний не полностью восполняется наивным удивлением и романтическим восторгом. Но без способности удивляться и задумываться иногда невозможно и узнать.

Мы остановились на минуту перед великим чудом земного растения, мы любуемся им, мы вспоминаем слова одного философа, кажется, Джона Рёскина: «Ньютон доказал (по крайней мере, так считают), почему яблоко упало на землю. Но он не задумался над другим, бесконечно более важным вопросом: а как оно туда поднялось!»

Содержание

В. Солоухин

«ОЛЕПИНСКИЕ ПРУДЫ»

Редактор **В. Дробышев**

Художник **Ю. Лишко**

Художественный редактор **Б. Мокин**

Технический редактор **И. Подшебякин**

Корректоры **Н. Попикова, Н. Саммур**

Сдано в набор 6/II 1973 г.
Подписано к печати 1/VI 1973 г.
А08142.
Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$.
Бумага тип. № 1.
Печ. л. 11. Усл. печ. л. 18,48.
Уч.-изд. л. 18,71.
Тираж 150 000 экз.
Заказ № 3-41. Цена 84 коп.

Издательство «Современник»
Государственного комитета
Совета Министров РСФСР
по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
и Союза писателей РСФСР
121351, Г-351, Ярцевская, 4

Книжная фабрика
им. М. В. Фрунзе
Республиканского объединения
«Полиграфкнига» Госкомиздата УССР,
Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.